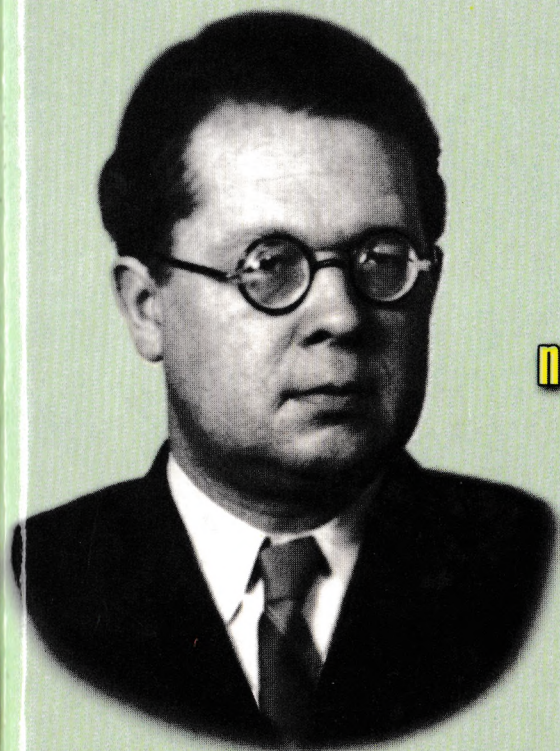


**Павел Васильев Не сломлены крылья мои...**

**Павел Васильев**

# Не сломлены крылья мои...



**Годы учения**

**Капкан  
политических  
репрессий**

**Хождение  
по тюрьмам**

**Записки  
ополченца**

**Эскизы прозы**

**XX ВЕК:**  
Лики  
Лица  
Личины



Москва

---

Издательский дом «Звонница»  
2000



*Isabel Kneuman*

**Павел Васильев**

---

**Не сломлены  
крылья мои**

**Годы учения  
Капкан политических репрессий  
Хождение по тюрьмам  
Записки ополченца  
Эскизы прозы**

---

Москва

---

Издательский дом «Звонница»

2000

УДК [947+957] “19”  
ББК 63,3(2)6-8  
В 19

Составитель  
**Нина Филиппова**  
Художественное оформление  
**Елена Ененко**

Васильев П. Г.  
**В 19** П. Г. Васильев. Не сломлены крылья мои. —  
М.: Издательский дом «Звонница», 2000. — 352 с. —  
ил. (XX век: история. Лики, лица и личины).

**ISBN 5-88524-041-8**

**Павел Григорьевич Васильев (1914 — 1995) — не-  
утомимый труженик, удостоенный множества наград, ис-  
следователь-экономист, талантливый педагог, наделенный  
и незаурядным литературным дарованием — с юных лет  
имел обыкновение записывать свои наблюдения и мысли,  
вырывавшиеся из души стихотворные строки. Лишь на  
склоне лет он стал думать о публикации некоторых из них,  
писал и свои вдохновенные мемуары о былом. А былое —  
это и годы учебы, и трагедии в жизни семьи и общества,  
это и Народное ополчение Ростокинского района Моск-  
вы, куда аспирант Кредитно-экономического института доб-  
ровольцем вступил в самом начале Великой Отечествен-  
ной войны.**

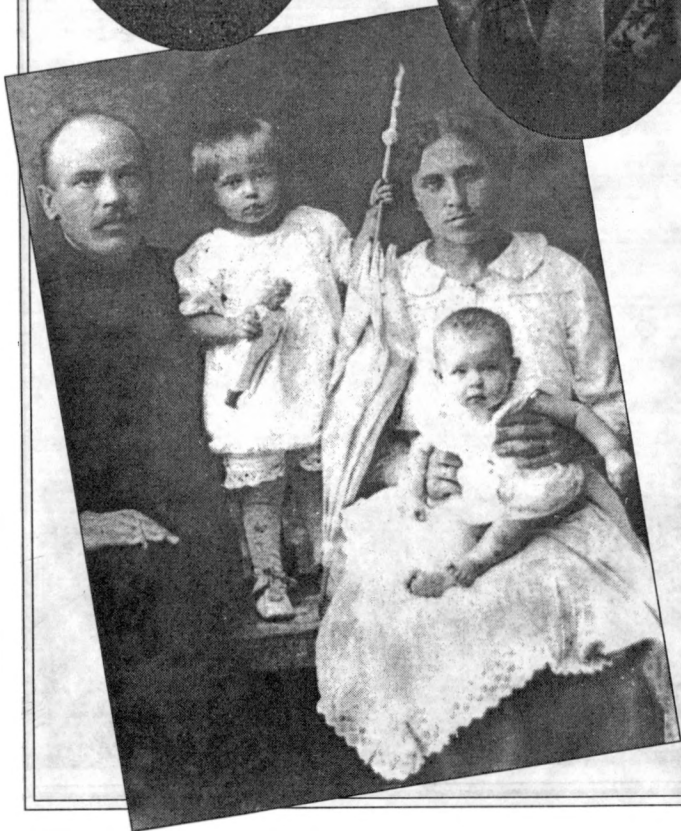
УДК [947+957] “19”  
ББК 63,3(2)6-8

**ISBN 5-88524-041-8**

© Филиппова Н.Ф. Составление, 2000.  
© Оформление. Издательский  
дом «Звонница», 2000.

## НЕЧТО ИЗ ИСТОРИИ





---

---

Живописна и огромна Среднерусская возвышенность, покрытая холмами и изрезанная бесчисленными руслами рек и речушек. Там, где речка Протва принимает воды притоков Истермы, Оборенки и маленького ручейка с желтоватой болотной водой Текижи, раскинувшиеся по берегам душистые сосновые боры издавна привлекали внимание и были приютом поселений людей. Археологические раскопки позволили установить, что на берегу Протвы у селения Рябушки люди жили еще десять тысяч лет тому назад.

Названия большинства этих рассеянных по берегам поселений ни в устной речи, ни в легендах, а позднее — в летописях не сохранились. Но название Боровск, возникшее от обрамляющих городок прекрасных сосновых боров, живет и теперь. Небольшое поселение с годами превратилось в неповторимый по своей красоте старинный городок России. Защищаемый полукружием Протвы, деревянными стенами, а затем и каменной крепостью Пафнутьева монастыря, спасенный мужеством и упорством жителей, он выстоял в тяжелых испытаниях. Великие переселения народов, нашествие Батыевых орд, призыв воинов на Куликовскую битву, брошенный князем Владимиром Андреевичем Храбрым, защита монастыря ратью под командованием М.К. Волконского в годы русско-польско-шведской войны, нашествие Наполеона и, наконец, зверской немецко-фашистской армии — все это не уничтожило здесь жизни.

За храбрость и мужество защитников монастыря под командованием М.К. Волконского, когда все воины погибли, царским указом Боровску был пожалован герб. В центре герба — красное сердце: знак любви к родине. На сердце —



золотой крест, означавший: любовь была сильнее смерти. И две лавровые ветви: храбрецы заслужили вечную славу.

Существует легенда, что последний тяжело раненный воин, стоя на телах погибших, оперся окровавленной рукой о свод монастырского храма. По летописи, эта рука на своде храма как знак героизма должна быть до тех пор, пока стоит Государство Московское.

В ответ на царский запрос о времени возникновения Боровска воевода писал, что город существовал еще до нашествия «царя Батыя», а когда именно возник — неизвестно. Судя по сохранившемуся документальному источнику — завещанию Великого князя Московского, в восьмидесятые годы XX века городу перевалило за шесть с половиной веков. Если же исходить из даты возникновения поселения на Рябушках, которое слилось по территории с городком, то может возникнуть сомнение, какое поселение — Московское или Боровское — появилось раньше.

Вся семья моей мамы из рода Капыриных принадлежит к боровчанам. По сохранившимся воспоминаниям, женщины семьи отца были из Боровска и Калуги.

---

---

## I. РОДОСЛОВНАЯ ОТЦА

По словам дяди Николая Григорьевича, который был немало поэт и фантазер, наш род в России ведет начало от кавказца — соратника Шамиля, но документально это не подтверждено. Сосланному в Калугу Шамилю будто бы было разрешено взять одного человека из своего окружения. Выбранный им молодой мюрид (ученик мусульманского духовного лица) влюбился в Калуге в русскую молоденькую девушку, принял христианскую религию и по имени крестного отца стал Василием Васильевичем Васильевым. Затем женился на своей избраннице.

О его сыне, моем прадеде Афанасии Васильевиче, документов не сохранилось. Он был обычным служивым человеком.

В послужном списке деда Григория Афанасьевича указывается, что он вышел из кантонистов (солдатских сыновей, обучавшихся в специальных военных школах царской России и обязанных проходить длительную военную службу). После окончания военной службы дед дослужился в Боровском казначействе до чина титулярного советника. Умер в 51 год и похоронен на старом Текиженском кладбище. Огромный валун, положенный на его могилу, в годы «культы личности» был сброшен в реку Протву, а могильный холмик уничтожен тогда же при превращении старого кладбища в детскую игровую площадку.

Дед женился на молодой бездетной вдовой попадье, родившей ему четырнадцать детей. Жили бедно в маленьком деревянном трехконном домике, принадлежавшем бабушке Пелагее Семеновне. На большом усадебном участке был хороший сад, спускавшийся к речке Текиже, а огород доходил почти до боровских городских боен.

Название речки будто бы произошло от эпизода в жизни преподобного Пафнутия Боровского Чудотворца. Проходя в этих местах, он заметил большое скопление воды в озерах и болотах у села Комлева выше города, угрожавшей жителям затоплением во время весеннего таяния снега. Взмахнул жезлом по направлению к реке Протве и сказал: «Теки же!»

Желтоватая болотная вода пробила себе русло, и образовалась маленькая речушка Текижа. Застроенная по ее берегам домиками, бедная часть города получила то же название, а небогатые жители стали именоваться боровскими купцами с некоторой долей иронии «текиженцами».

Все мои дяди, оставшиеся в живых, учились и окончили Боровское уездное училище. Старшие тетушки оканчивали начальную школу или Боровскую женскую прогимназию (неполное среднее учебное заведение), а младшие — Антонина, Сусанна — Калужскую женскую гимназию. Некоторые из членов нашей семьи учились у Константина Эдуардовича Циолковского, который не только преподавал в уездном училище, но и собирал способных ребят, показывал им опыты с применением электричества. Он дружески относился к моему отцу Григорию Григорьевичу и подарил ему свою первую опубликованную работу с надписью «Доброму знакомому Григорию Григорьевичу Васильеву».

Из старших родственников у отца сохранились особенно дружеские воспоминания о его дядюшке Василии Семеновиче (брате моей бабушки Пелагеи Семеновны). Прекрасный мастер-сапожник был бездетен, жил там же, на Текиже. Обладал хорошим баритоном. Любил петь на клиросе в приходской церкви Спаса Преображения-на-Взгорье, украшать эту церковь фонариками в пасхальную ночь и со своим другом — бывшим солдатом-артиллеристом — палить из пушки на колокольне во время крестного хода.

Пушку выпрашивали из музея у богатого купца, краеведа Николая Поликарповича Глухарева. На пасхальную ночь втаскивали на колокольню, заряжали и трижды палили из нее. Под Новый год добывали старую сухую бочку, смолили и поджигали. Мальчик Гриша был в восторге от всего этого. Так продолжалось несколько лет. Оба — дядюшка Василий Семенович и артиллерист — были «не дураки выпить». Однажды в пушку переложили пороху, и ее разорвало. Солдату оторвало два пальца.

Жена дядюшки Василия Семеновича была большая хлопотунья, опаздывала с обедом, и по усадьбе часто разносился голос:

— Акулина, Акулина, время пришло, обедать давай!

— Сейчас, старый, успеешь!

Но «сейчас» было весьма растяжимым. Дядюшка через некоторое время опять кричал:

— Копотуха, копотуха, обедать давай!

— Сейчас, старый, успеешь!

— Вот дьявол баба, сколько раз повторять надо.

В семье Григория Афанасьевича появлялись новые дети.

Бабушка Пелагея все меньше уделяла внимания старшему Григорию, и он больше времени проводил у дядюшки Василия Семеновича. Охотно ходил с ним за грибами, пел на клиросе. Хорошо учился в уездном училище.

Дети Васильевых имели довольно большую свободу, хотя очень побаивались суковатой палки отца, — блестящей, отполированной. Но использовал он ее для наказания редко — только мальчиков и за большие провинности.

Весь домашний уклад держался на бабушке Пелагее Семеновне, включая и «внешние сношения» ее мужа с начальством, с соседями и в определении жизненного пути детей. Она ходила просить начальство о зачислении на службу, хлопотала о замужестве и образовании девочек.

Материальные заботы о содержании огромной семьи после смерти деда легли, прежде всего, на плечи моего отца Григория Григорьевича, который обогнал своего отца в продвижении по службе, а после его преждевременной кончины от инфаркта миокарда большую часть жалованья отдавал матери на содержание своих братьев и сестер. Он давал ей самые верные, как она говорила, «серебряные крючки» — деньги, на которые они скудно жили.

Когда папа хорошо окончил уездное училище, бабушка Пелагея отвезла его в Калугу для зачисления на службу. В воскресенье, накануне недели явки к штатскому генералу, возглавлявшему губернскую финансовую службу, они отстояли обедню в церкви с молением о здравии его превосходительства, взяли просфору. В день приема бабушка Пелагея обратилась к генералу с просьбой о зачислении своего сына на службу в Боровское казначейство, где открылась вакансия, сказав, что и отец его служил в финансовом ведомстве. Генерал все выслушал, внимательно посмотрел на юношу Гришу и спросил:

— Служить желаете?

— Очень желаю.

Зачисление на службу состоялось.

Следующим был брат Василий, отличавшийся исключительной наблюдательностью, шаловливостью и предприимчивостью. Однажды на Святках вместе с дружкой своим, сыном булочника Ломакиным, они вывернули вверх шерстью овчинные тулупы, надели их, вымазали физиономии сажей и принялись изображать медведей. Пугали прохожих, ловили девушек, стараясь поцеловать их.

Пришел к деду почтенный старик с жалобой, что Васька опять безобразничает и надо унять его. Обозленный дед с суковатой палкой пошел наводить порядок. Из-за угла переулка к нему выскочил ряженный медведем парень и выкинул коленце. Дед схватил его за шиворот и со всего размаха огрел дубинкой, крича:

— Я тебе покажу, Васька, как безобразничать!

Вырывающийся парень заверещал:

— Григорь Афанасьич, я не Васька!

— А, так ты еще и не Васька? А я тебе не отец, а Григорь Афанасьич? Тогда получай, получай, получай!

Избитый парень с плачем прибежал к отцу-булочнику, показывая синяки. Богатый булочник не стерпел и наутро явился к исправнику с жалобой на обидчика — чиновника казначейства.

Результат оказался неожиданным.

— Слыхал, слыхал, как вчера парни на Текиже безобразничали. Так и твой там был? Сейчас пошлю городского, чтобы отвел его в холодную. А ты возьми назад свою жалобу, подумай и завтра приходи ко мне сына выручать. К тому времени я и других безобразников прикажу в холодную посадить.

Дежурному исправник приказал спуститься в казначейство, которое находилось на нижнем этаже здания Присутственных мест (верхний этаж занимали исправник и его канцелярия), и пригласить чиновника Васильева зайти объясниться.

Деду было приказано унять Ваську. Впредь быть осторожнее и не избивать чужих парней до синяков. «Можно нарваться на неприятность. Особенно, если поколотишь отпрыска какой-нибудь «знаменитости» или богатого купчика, которые много о себе понимать стали. До суда может дело дойти», — говорил исправник.

По окончании уездного училища Васька, единственный из всех Васильевых, самостоятельно отправился в Москву. Поступил там на службу в уголовную полицию, дослужился до офицерского чина, участвовал в раскрытии преступлений крупных уголовников. Приезжая в Боровск, продолжал «выкидывать коленца». Однажды на торговой площади зимой на куче навоза, покрытой снегом, сидел мужчина в овчинном тулупе и башлыке, с бутылкой водки в одной руке и стаканом — в другой и задирали прохожих. Позвали будочника-полицейского. Когда он подбежал с угрозами, что безобразничать нельзя, Василий распахнул тулуп, под которым оказался полицейский офицерский мундир, налил стакан водки, поднес его будочнику, который его выпил. Выпил и Василий, и оба, веселые, довольные, направились в разные стороны.

Василий умер сравнительно молодым неженатым человеком и похоронен на новом Текиженском кладбище у церкви святого Владимира, построенной доктором Ададуровым и сломанной в годы «культы личности».

Если все дети Васильевы были небольшого роста, кареглазые, черноволосые, то сын Дмитрий вырос высоким, широкоплечим, русым, с красивыми синими глазами, статной фигурой, очень сильным парнем. Дядюшка Николай Григорьевич любил мне с добродушной иронией говаривать, что не согрешила ли моя мать, а твоя бабушка Пелагея, раз Дмитрий «не в нашу породу уродился».

Средне окончил он Боровское уездное училище. В Калужской губернии в то время не было вакансий по финансовой службе, и знавший уже семью Васильевых генерал рекомендовал его своему однокашнику — начальнику финансовой службы Симбирской губернии. Дмитрий стал чиновником Карсунского казначейства Симбирской губернии. Затем он был мобилизован в лейб-гвардии Кексгольмский полк, получил идеальную военную выправку, которую совершенствовали балетмейстеры Петербургского оперного театра. Я восхищался, когда он с палкой из-под метлы или другой деревяшкой, под собственные выкрики-команды маршировал или показывал ружейные приемы. Никогда и ни у кого в течение своей жизни я не видел такой артистической военной выправки и муштры, которые, по своей сущности, были искусством. Много раз стоял дядя на карауле в Зимнем дворце, присутствовал при крещении дочери Николая II.

В составе полка он принимал участие в Первой мировой войне, был ранен пулей в голову.

Неизгладимое впечатление произвело на него участие в военных действиях в Восточной Пруссии. Ни немецкие солдаты, ни страх пуль, ранения, смерти, а дети, женщины, старики, гонимые войной, — страдающие, испуганные, плачущие, кричащие, — потрясли его душу.

В Красной Армии стал он на короткое время военным инструктором, а затем вернулся в Карсунский финансовый отдел и прослужил всю оставшуюся жизнь на счетной работе. Дядя Митя был Человеком Большого и Доброго сердца, принимал к себе в семью других родственников — Васильевых, особенно эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Говорил:

— Всех вас прижал бы к груди своей, накормил, напоил, но ты видишь сам — я беден и могу поделиться лишь тем немногим, что у меня есть.

Если старшие мальчики Васильевы были самолюбивы и честолюбивы, то дядя Николай Григорьевич был человеком без ярко выраженных увлечений и страстей. Плыл по течению, подмечая и твердо запоминая характерные картинки жизни. Любил поговорить и пофилософствовать, присочинив иногда к действительно происшедшему некоторые красочные черты, которых не было. Учился ниже среднего, не отличался особым трудолюбием и усидчивостью. Накануне экзаменов мог увлечься прогулкой или какой-нибудь игрой. В обыденной жизни был способен здраво и точно оценить обстановку, получить то, что ему причитается, не кривя душой.

\* \* \*

Девочки семьи Васильевых были прилежны, учились, как правило, хорошо, но страдали от своей бедности. Одетые в скромненькие, старенькие, но опрятные платья, худенькие, с грустью смотрели они, как на переменах кушали деликатесы купеческие дочери.

Старшая Маша после окончания прогимназии стала библиотекарем. Аня — учительницей в родовом имении знаменитых дворян Сенявиных. Заразилась там в 1918 году сыпным тифом, умерла и похоронена на новом Текиженском кладбище.

Глафира вышла замуж за замечательного мастера, механика Смиренского — запойного пьяницу. Жили они

многочисленной семьей «со всячинкой». Смиренский, хотя и был артистом, мастером своего дела, не задерживался на фабриках. Запивал и начинал выяснять отношения с очередным хозяином, говоря ему, что он «эксплуататор-кровопиец», «рабочую кровь пьет не маленькими глотками, не стаканами, а если взять всю фабрику — ведрами, а у кого большие фабрики — бочками, чанами». Хозяин топал ногами, кричал:

— Вон отсюда! Чтобы ноги больше твоей не было. Гнать его взащей!

Кончался запой. Приходил механик с повинной головой, низко кланялся, просил «простить». Просила и тетя Глаша, уверяя, что «все сдуру, по пьяному делу, ведь дети без еды останутся». Если к тому же начинались перебои в работе машин, то хозяин «так и быть, прощал на сей раз». Но при повторении пощады не было. Так замечательный механик обошел почти все крупные фабрики Боровского, а затем Брянского уездов. Потеряв передние зубы, после запоя просил у жены:

— Глашишка! Кружишку пива!

— Жрал, жрал, никак не нажрешься.

— Глашишка! Кружишку пива! «Глашишка» не выдерживала и давала опохмелиться.

Так и протекала эта жизнь «со всячинкой».

Дети в семье тети Глаши были очень разные. Выделялся среди них Михаил. Хорошо учился, статный, сильный парень. Поступил в военное авиационное училище. Прекрасно окончил его и стал летчиком-истребителем, «асом», затем — командиром авиации Кронштадта. В один из труднейших дней начала Великой Отечественной войны, получив от ушедших на бомбардировку летчиков сообщение: «Гибнем за Родину, благодарим Смиренского за прикрытие», он бросился с командного пункта к своему личному истребителю, поднялся, сбил одного, другого немца. Но злые вражеские пули прошили его самолет, и вдруг он, потеряв управление, стремительно полетел вниз. Воды Финского залива сомкнулись над ним.

Тетя Глаша всю большую пенсию сына отдала его жене и детям.

Тетя Саша молодой вышла замуж за хорошего врача, вдовца Голубкова, имевшего много детей от первого брака. Он заведовал больницей большой фабрики богача — деятельного, предприимчивого. В наследование от отца, разда-



вавшего сырье крестьянам-кустарям, занимавшимся текстильным промыслом и сдававшим ему сделанную продукцию, он получил тысячу рублей с наказом:

— Хошь — пропей. А ведь я всю жисть копил их. Всю жисть! Понимаешь? А хошь, ежели смекалка есть, пусти в дело с умом. Человеком будешь.

Сын «с умом» продолжил дело отца. Вместе с богатым компаньоном построил текстильную фабрику, быстро расширил ее и теснил конкурентов. Заинтересовывал рабочих в успехах своего дела. Построил больницу, во главе которой поставил хорошего врача, завоевавшего уважение рабочих и местных жителей. Большая семья доктора жила безбедно, но он переутомлялся огромной практикой и напряженной работой в стационаре больницы. Надорвался и умер. Когда его тело пронесли мимо фабричных корпусов, работа остановилась. Рабочие вышли проводить своего доктора в последний путь. Но после смерти доктора его семью из большой удобной квартиры фабрикант выселил. Две дочери тети Саши — Таня и Надя — стали учительницами (Таня награждена орденом Ленина), а сын-студент в годы «культы личности» был необоснованно обвинен по 58-й статье и расстрелян.

---

---

## II. РОДОСЛОВНАЯ МАМЫ

Моя мама — дочь Павла Захаровича, предприимчивого и богатого купца старинного рода Капыриных. На старообрядческом боровском кладбище еще до 1991 года были целы памятники черного мрамора, в их числе купцу Алексею Никитичу Капырину, единственному из боровских купцов награжденному по указу императора Александра Первого медалью за особые заслуги купечества в Отечественной войне 1812 года. Бездарно и преступно проводившаяся так называемая «перестройка» породила массу хищных предпринимателей, мародеров, группа которых украла этот памятник. Но еще сохранились черные мраморные памятники Захару Алексеевичу, моему деду Павлу Захаровичу, другим Капыриным.

Сухопарый, высокий, широкоплечий, с правильными чертами типично русского лица, обрамленного волнистыми волосами шатена на голове и неяркими прядями рыжеватых волос в усах и бороде, дед Павел отличался стремительностью движений, энергичностью действий, трудолюбием и вспыльчивостью, за что и получил ироническое прозвище «Паша-щелочек». Был отходчив и постоянно избирался гласным Боровской Городской думы.

Старинная торговля Капыриных ячменем и хмелем с владельцами германских пивоваренных заводов, частые и систематические поездки молодого купца-старообрядца в Ригу для заключения сделок привели к умению выгодно и быстро проводить торговые операции, одеваться на европейский манер, свободно держаться в коммерческом обществе.

Узнав, что в городе Верее у купца Тамилина есть красивая дочь «на выданье», он приказал заложить пару рысаков в сани и поскакал знакомиться.



*Павел Захарович  
Капурин.*

Петр Петрович Тамилин был горд и упрям, полагал, что и домочадцы и большинство знакомых купцов «ниже его». В последнее воскресенье перед Великим постом (Прощеное воскресенье) он считал ниже своего достоинства просить прощения у домашних за причиненные обиды и огорчения, а говорил, собрав их вечером перед отходом ко сну: «Бог вас простит и меня простит. Идите с Богом»

И этот гордец и упрямец был очарован красивым, умным и предприимчивым боровским молодым купцом и после смотрин и сватовства согласился на свадьбу. Выдав дочь, «прозрел», считал ее несчастенькой и всю оставшуюся жизнь корил себя за ошибочный шаг, провинность перед старшей дочерью.

Младшие были вывезены на смотрины в Москву и вышли замуж за миллионеров, одна — за богача Морозова. Но были ли они счастливы?

В годы бурного развития промышленности в конце XIX — начале XX веков боровские купцы быстро богатели, развевывали свои дела далеко за пределами Калужской губернии в России и за границей, но многие не покидали родного боровского гнезда. Миллионеры Ждановы, первоначально богатевшие на ростовщичестве, развернули торговлю ячменем, хмелем, зерном с Германией. Шутовы поместили свои капиталы во Франции, Провоторовы — в Англии. Рябушинские же перебрались из Боровска в Москву, монополизировали некоторые отрасли российской промышленности, развернули банковские операции. Поместили капиталы во Франции.

В Боровске появился значительный купеческий банк братьев Протоповых. Для развития городского хозяйства управа губернского города Калуги, получив в этом банке ссуду, заложила в ее обеспечение великолепный Калужский сосновый бор.

Боровские искусные огородники распахивали землю в Московской, Тверской и других ближайших губерниях. Учредили Боровскую ссудную кассу (типа банка для огородников), помещали в нее свои капиталы и получали ссуды на развитие огородного дела. Был даже выведен сорт боровских огурцов.

Строились текстильные фабрики и в самом городе, и в уезде. В Боровске — Полежаевыми, Ежиковыми. В Русинове — Александровым. В Ермолине — Исаевым. Возникло несколько кожевенных заводиков, из них довольно крупный — Провоторовых. Богатели предприимчивые огородники и ремесленники. Против родового дома Капыриных на Борисоглебской улице три семейства огородников построили три двухэтажных дома. За ними вырос двухэтажный каменный дом умелых кустарей-слесарей Зотовых, дальше — двухэтажный кирпичный дом искусного кузнеца Пухова. На той же улице жили в беденьких домиках, расположенных вместе с мастерскими, бондарь, портной, в двух трехконных домиках — два старообрядческих дьячка.

Росли доходы и у старообрядческого духовенства. Раздумывал о том, куда девать свои доходы, и протоирей отец Иван старый (кроме него, был еще священник отец Иван молодой). Но старообрядческим священникам было запрещено — по моральным устоям этого направления христианской религии — иметь значительную личную собственность. Поэтому отец Иван старый начал строить двухэтаж-

ный каменный дом на имя своего сына Иллариона. Но когда дом был окончен, отец стал мешать семье сына, и тот выселил отца и мать из построенного ими дома. Капырины, узнав об этом, поместили батюшку и матушку, глубоких старичков, в одном из своих маленьких, недавно купленных ими домиков.

Павел Захарович первоначально успешно развертывал торговлю ячменем и хмелем с владельцами немецких пивоваренных заводов. Уезжая в конце каждого лета для этого в Ригу, заказывал молебен об успехе в проведении дел, прощался с домочадцами, целовал жену и детей. Александра Петровна плакала и просила:

— Пишите, Павел Захарович, почаще. Пишите!

— Нет, писать не буду, не ждите. Нечего время и деньги тратить на бесполезное дело. Вот ежели что-нибудь особенное случится — тогда напишу.

Но «особенного» обычно не происходило, и хозяин возвращался по окончании дел к весне в Боровск.

Между тем в семье Ждановых подрастали дети — наследники ростовщика отца Николая Жданова — пятеро мальчиков. Один из них, Дмитрий, свалился с яблони и попал животом на заостренный кол забора, прошедший ему почти до горла. Только хриплый нечленораздельный призыв предшествовал его быстрой кончине.

Другие четыре брата — Петр, Василий, Пафнутий и Николай — росли предприимчивыми и способными мальчуганами. Возмужав, старший Петр уехал в Петербург. Пользуясь рекомендациями купцов и значительными суммами, выделенными отцом, вошел в дело с банком, финансирующим экспорт зерна, заслужил доверие, стал обещающим счастливое будущее крупным капиталистом-экспортером.

К операциям с зерном в средней России был привлечен Василий, а на юг в Одессу направлен совсем молоденький Николай. Организовалось коммерческое товарищество братьев Ждановых с неограниченной ответственностью каждого его члена (брата Жданова) всем своим имуществом за долги и обязательства любого из товарищей. Такая организация общества давала большую оперативность в деятельности, быстром перемещении капитала из одной местности в другую, заключении крупных сделок, получении банковских кредитов и большой прибыли. Но в случае просчета и потерь одного товарища возмещать убыток должны были все.

Получив крупную сумму прибыли, сурово тесня конкурентов, товарищество понесло, однако, значительные потери. Младший увлекающийся брат Николай загулял в Одессе, проиграл значительную сумму, заключил ряд сомнительных сделок и, не видя выхода из создавшегося положения, пытался застрелиться. Из Петербурга в Одессу немедленно явился Петр, быстро погасил долги и с некоторыми потерями уладил сомнительные операции. Брат Николай был направлен на лечение и исправление в Боровск.

Успехи Ждановых и других экспортеров больно ударили по интересам Павла Захаровича. Быстро сообразив, что ему не выстоять в неравной борьбе, он ликвидировал свои дела в Риге и с кругленькой суммой высвободившегося капитала вернулся в Боровск.

У разорившегося генерал-майора была куплена пустошь земли, заросшая лесом, размером около тысячи десятин. После князя Волконского Павел Захарович Капырин стал вторым землевладельцем Боровского уезда и начал энергично разворачивать лесопромышленное дело, в котором скоро стал крупным специалистом. Обойдя и внимательно осмотрев делянку леса, мог почти безошибочно определить, какую именно и в каком количестве можно с нее получить древесину, продаваемую по наиболее высоким ценам.

На пустоши были вырыты три пруда для разведения карпов. Зимой пруды продувались насосами, чтобы не было рыбных «заморов». На берегу самого большого из них построили светлый деревянный дом, предназначенный для приезда хозяина и гостей. С террасы широкая лестница вела к самой воде, чтобы с нижних ступенек ее можно было ловить на удочку карпов. Второй небольшой домик с надворными постройками был предназначен для постоянного проживания приказчика. Рос сад в 1200 корней ценных сортов яблонь, включая «апорт», хотя этот сорт и подмерзал зимой от жестоких морозов. Развернулась заготовка и качественное отваривание грибов, которые зимой продавались в бочонках в московские рестораны по высоким ценам. Построили в боровском доме «медовую баню», приготовляя там и выдерживая в подвалах «мед» (напиток).

Хозяин был расчетлив и прижимист. Однажды он не заплатил рабочим, выжигавшим уголь, оговоренную сумму денег.

— Ну, купец, попомнишь ты нас, — проговорили между собой угольщики и привезли вечером во двор боровско-

го двухэтажного семиоконного капыринского дома с большой деревянной «галдареей», украшенной разноцветными стеклами и надворными постройками, кули незатушенного угля. Поздней ночью вспыхнул пожар. Сгорели дом и большая часть имущества.

Страховая сумма покрыла почти все потери, но надо было строить все заново и в большем объеме. Требовалась сразу крупная сумма денег, и Павел Захарович стал требовать уплатить ему старые долги. Поехал ненадолго в Москву, сказав, что скоро вернется домой, получив долги и купив нужные материалы. Пришел он к своей должнице, обедневшей барыне Загрязской, жившей тогда в Москве.

— Сгорел я, барыня, должок Вам надо заплатить.

— Любезный, подождите, нет у меня теперь денег.

— Говорю вам, сгорел. Ждать не могу. Надо платить.

— Но я же сказала, любезный, что не могу Вам заплатить теперь. Как Вы этого не можете понять? Не беспокойте меня вашими претензиями и не надоедайте мне.

И тут произошла вспышка гнева. Кредитор вскочил и крикнул:

— С...я вы, барыня, вот что я Вам скажу!

— Как Вы смеете оскорблять меня, потомственную дворянку? Вон отсюда! Я подам на Вас в суд за оскорбление.

Судебное решение было: заплатить барыне значительную сумму денег за оскорбление или отсидеть определенный срок в тюрьме. Подсудимый категорически отказался платить и предпочел тюремное заключение. Боровские домочадцы долго понять не могли, куда девался хозяин, ничего не написавший в Боровск ни об оскорблении барыни, ни о суде, ни о своем заключении.

Причислив барыню к числу своих злейших врагов, купец отомстил. Скупил ее векселя, дождался срока платежей по закладной на ее землю, сразу предъявил претензии на крупную сумму, добился продажи залога и купил часть ее имения.

В семейной жизни дед придерживался принципов домостроя. Вставал с петухами, задолго до того, как просыпались жена и дети. Выпивал серебряный стаканчик водки, закусывал и шел по хозяйству, чтобы работа начиналась рано и велась интенсивно. Близ отстроенного нового большого девятиоконного дома выросли коровник для чистокровных ангелинок, конюшня для рысаков и рабочих лошадей, несколько каменных палаток и кладовых, подвал,

набиваемый к лету льдом, и два огромных подвала для хранения овощей, широкие длинные навесы для лесной продукции. Восстановлена «медовая баня». Вся система двора и дома была огорожена высокой сплошной каменной стеной с тремя воротами. У построек были брандмауэры (каменные надстройки к стенам, защищавшие от огня деревянные карнизы, балки и стропила железных крыш). Создавая все это, дед говорил: «Больше я гореть не буду».

За домом была построена теплица; выкопаны, обустроены и застеклены парники; обновлен рассаженный по спуску с горки сад; проведены водопроводные трубы, между которыми установлены большие чаны, где подогревалась выкачанная насосом из глубоких двух колодцев вода для поливки яблонь и плодоносящих кустарников. С северной стороны сада посажена аллея тополей для защиты от холодных ветров.

Домочадцев и работников дед наказывал за провинности немедленно и жестоко. Мог отстегать работника кнутом. Если считал, что погорячился, не извинялся, а призывал утром в воскресенье и дарил нечто: пояс, рубаху. Некоторых старых заслуженных и уважаемых работников оставлял до глубокой старости. Такой, например, была его нянька Софья (он называл ее Совушка). Считал, что хороший хозяин не должен прогонять со двора старую собаку. Строго требовал соблюдения своих распоряжений и выполнения порученной работы.

Старушка Совушка вышла однажды и, видя проходящего кучера Михайлу, кричала:

— Михайла! Вынеси с кухни большую лохань. Переполнилась она. Бабы вынести не могут.

— Совушка! Не мешай мужикам свое дело выполнять. Я сам лохань вынесу.

— Что ты, батюшка, Павел Захарович! Твое ли дело с кухни поганые лохани на мойку таскать!

— Мое — не мое. Мужиков без толку от работы не отрывайте. Сам вынесу.

И выносил.

Воспитание и общий надзор за детьми держал в своих руках. Заступничество матери строго прерывал. Камнем преткновения оказался сын Петр, обожаемый матерью, которая называла его «дитятко», а он ее — «родимая». Болезненный (тяжелый порок сердца), увлекающийся, вспыльчивый, голубятник, равнодушный к учению и кипучей ком-



мерческой деятельности отца, он не был надеждой и опорой в успешном продолжении его деятельности. Увлечения и порывы мальчика иной раз приводили к сердечным приступам и потере сознания. После того как однажды Петра оставили в школе без обеда и узнавший об этом отец жестоко наказал его, у мальчика началась нервная болезнь — пляска Святого Витта, конвульсивные подергивания. Неся ко рту ложку супа, он выливал ее на грудь или на плечо. Тогда дед, можно сказать, отступился от своих методов воспитания и передал это маменьке, которая при возникших осложнениях старалась прятать сына от отца. Лечение и смягчение режима привели к выздоровлению.

Девочкам было дано лишь начальное образование.

— Мало ли ученых с протянутой рукой стоят. Купеческие дочери должны быть хорошими матерями и хозяйками. В школе этому не учат.

Наиболее прилежная и способная Мария окончила школу с похвальным листом.

Легкие заболевания дочерей дед лечил сам, и если хоть одна закашляла, то всех поил на ночь по столовой ложке гарного (лампадного) масла. После того, как масло попало в рот, надо было его проглотить и обязательно громко произнести: «Проглотила». В серьезных случаях посылали рысака за доктором. Однажды любимая дочь, которую он за вьющуюся прядь волос звал «чубчиком», Александра вывихнула ногу. Боясь грозы, ее прятали два дня. Наконец, дед обнаружил пропажу, увидел большую опухоль на ноге, приказал скакать за доктором и разразился такой грозой, что ее помнили несколько лет.

Решал главный шаг в жизни дочерей — замужество — сам, зорко присматриваясь к купеческим сынкам из богатых семей. Старшую Веру выдал, не скупясь на приданое, за тароватого купеческого сына Василия Яковлевича Санина. Составили подробный список приданого (указав в нем выданные пять тысяч золотых рублей наличными). Жених написал, что он остался приданным доволен.

Однако зять оказался, хотя и предприимчивым, но авантюристичным и своевольным. Покатил в Самару, развернул там выгодную торговлю и вскоре вернулся, говоря тестю:

— Что вы держите деньги в малоодоходном деле и даже в облигациях займа, живете, совсем не пользуясь банковским кредитом. Вот я: купил в рассрочку в Самаре землю на одной из главных улиц. Заложил фундамент большого дома,

где будут магазин, ресторан и гостиница «Бристоль». Получил кредит в банке. Но нужны еще деньги. В считанные годы утрою, учетверю капитал. Вступайте со мной в долю. Дайте свой капитал, возьмите кредит для меня в банке.

— Сколько же ты вложил собственных денег? Занял сколько? Когда закончишь строительство дома, начнешь большую торговлю?

Взвесив все, сказал: «Ты прожектор и авантюрист, резервов у тебя нет никаких. Даже на текущее развертывание дела денег у тебя нет. И небольшие твои и мои деньги вылетят в трубу. Ни рубля тебе не дам. Пока не поздно, сократи размах задуманного. Привлеки мощного компаньона».

Недовольные друг другом, разъехались, почти разругались.

Через некоторое время грянул экономический кризис. Как ошпаренный, прилетел зять из Самары. Банкротство грозит! Сидели, думали, как исправить, как вывернуться? Землю, ресторан и недостроенную гостиницу пришлось продать, удержав лишь магазин. Крупной суммы денег тесть так и не дал, хоть старший сын зятя и был назван в честь него Павлом. Взаимная обида и отчужденность прошли через всю остальную жизнь.

Его жена Вера Павловна неуклонно старалась сохранять добрые отношения с семьей отца, ездила к нему в гости, возила внучат. Надеялась, что хоть малая часть крупных капиталов деда или часть его имущества и поддержка в трудные минуты жизни перепадут и ей.

Вторая дочь, Мария (моя мама), была просватана за богатого купеческого сына Шутова Леонтия Васильевича, который ей нравился. Скоротечная чахотка в две недели унесла его в могилу. Маму даже с ним живым не допустили проститься. На старообрядческом кладбище в Боровске над его могилой еще стоит огромный памятник черного мрамора.

Обычно за обедом и ужином в праздничные дни во главе стола сидел «сам». Делал резкие замечания, особенно доставалось жене, которая полнела.

— Опять положила себе жирный кусок? Тебе запретил доктор есть жирное.

— Разве это жир? Это прорось.

— Говорят — нельзя. Положи назад.

Послушавшись, бабушка плакала:

— У меня в жизни осталось одно удовольствие — вкусненький кусочек, а ты и этого меня лишаешь.

Дед был непреклонен, но кусочек все-таки съедался — в его отсутствие. Бабушка толстела. После смерти деда ее вес достиг восьми пудов.

Но деспот любил свою Александру Петровну. На противоположной стороне улицы сгорел дом. Опустевший участок земли был куплен и определен под огород, чтобы постройкой не был испорчен вид на реку Протву, особенно когда на ней ледоход. Бабушка любила смотреть на него.

Коммерческое дело росло. В соседнем Малоярославецком уезде было присмотрено и по дешевке куплено запущенное имение разорившегося барина. И стал Павел Захарович скакать на рысаке из одного имения в другое, как правило, на ночевку возвращаясь в дом с обширным хозяйством в Боровске.

Внезапно, казалось, как птица, подстреленная на лету, полный сил и охваченный кипучей деятельностью, дедушка умер от разрыва сердца, как тогда говорили.

Торжественно и богато были организованы его похороны. Три дня и три ночи читались над его гробом священные книги. Читала почти непрерывно молодая послушница из старообрядческих монашеских келий Богомолова Ольга Федоровна. Она происходила из знатной семьи купцов Богомоловых, которые постепенно беднели. Знала хорошо славянский язык, четко, громко и выразительно читала славянские книги, участвовала в богослужениях, была религиозна и хорошо воспитана. Бабушка, которая очень любила своего тирана-мужа, горевала и просила, чтобы Оля не возвращалась в келии после выполнения религиозных обрядов, а осталась в доме в качестве ее компаньонки — члена семьи. Ни в семье Богомоловых, ни в келиях Оля не видела такого доброго отношения к себе, как в семье Капыриных. И она согласилась у них остаться на постоянное жительство, хотя этому очень противилась настоятельница келий. Оля стала уважаемым и любимым членом семьи. Недоброжелатели говорили про нее, что это «глаза и уши Капыриных».

Через некоторое время бабушка Александра собрала всех членов семьи во главе с сыном и главным наследником Петром и сказала:

— Я скоро умру. Может быть, Оля станет для вас лишней и ненужной. Тогда вы срубите ей отдельную избушку и обеспечьте скромное, безбедное существование. (Ведь она думала, что Капырины всегда будут богатыми.)

На помин души Павла Захаровича были сделаны щедрые вклады, а на могиле поставлен большой памятник черного мрамора.

В наследство вступил Петр Павлович. Прежде всего, малоярославецкое имение показалось ему тяжелым грузом: и подзапущено, и «за глазами», и вместо прибыли дело пошло чуть ли не в убыток. Продать! Но богатого покупателя не находилось. Продал в рассрочку за сумму, едва покрывавшую затраты отца на покупку и обустройство имения, и получил задаток, не оформив это юридически. И тут выяснилось, что по земле проданного имения пройдет Киево-Воронежская железная дорога. Цена на землю резко подскочила. Миллионеры — новые покупатели — советовали отказаться от не оформленной еще, словесной торговой сделки, вернуть задаток в двойном размере и получить крупную сумму прибыли. Но Петр Павлович сказал, что его купеческое слово твердо и недополучил крупную сумму денег.

Увлечение Петра конным спортом привело к уничтожению парников и отводу этого места для прогуливания и тренировки рысаков. По договоренности с городской управой в бору был сделан примитивный ипподром, на котором Петр Павлович выступал посредственным наездником. Его рысаки обычно проигрывали на бегах. Были случаи, что в увлечении и при большом напряжении он, управляя лошастью, терял сознание, падал. Рысак на возжах волочил его по земле, нанося серьезные ушибы.

Увлечение Петра голубями усилилось. Главным соперником-голубятником стал сосед — очень жадный купец, получивший за это прозвище «Кубышка». Две стаи голубей перепутывались и старались сесть на голубятню то того, то другого соседа. Если они хотели сесть на голубятню «Кубышки», Петр Павлович стрелял из ружья холостыми. Если стая намеревалась сесть к Петру, «Кубышка» изо всей силы колотил палкой по большой железной бочке и пронзительно свистел. В конце концов, голуби садились к одному из них или, перемешавшись, попадали к обоим. Дело оканчивалось выкупом перелетевших к сопернику голубей.

Петр любил собак. Подаренная Морозовыми сенбернарская сука Гера была надежным и умным сторожем. Ее сын — Пират был любимцем Петра, ходил за ним на прогулки, носил в зубах корзинку грибов и другие переданные ему вещи. Встречал и провожал до крыльца дома пришедших, а у дам брал шлейфы, нес их до крыльца. Случались и

недоразумения, когда не знакомая с его повадками гостя пыталась отнять шлейф. Пират крепко держал его в зубах, рычал и тянул даму к крыльцу. Ни Пират, ни Гера не разрешали посторонним без присутствия хозяев выйти со двора.

Однажды вечером летнего дня дядя сидел в бору над речушкой Оборенкой над самым обрывом, на корне подмытой водой сосны и любовался закатом. Это увидел его хороший приятель Николай Жданов. Решив напугать Петра, тихо, согнувшись, крался он к нему, но за ним крался и не замеченный им Пират. Быстрое выпрямление Николая сопровождалось мгновенным прыжком Пирата, стремившегося вцепиться в горло опасного, как ему казалось, врага. По счастью, Пират промахнулся, и его огромные зубы глубоко вонзились в плечо Николая. Дядя поднял палку, чтобы ударить Пирата, но Николай крикнул:

— Я виноват сам. За верность нельзя наказывать.

Около месяца болела рана на его плече.

После смерти Павла Захаровича дом Капыриных стал более гостеприимен. Миллионеры Морозовы, Евстафий и Валентина, двоюродные брат и сестра мамы, сын Веры Павловны Василий, миллионеры Барышниковы, московские почетные потомственные граждане Залогини, богачи-фабриканты Сапожковы из Клинцов неделями гостили здесь, но должны были соблюдать принятую в доме дисциплину.

Властная и избалованная девица Марианила сама стала ходить в погреб снимать сливки себе для чая. Хозяйева стерпели это и не сделали никакого замечания. Вдруг хозяйину сказали, что Марианила избилла по щекам горничную Дашу, убиравшую ее постель. В тот же день, в начале обеда, когда все сели за стол, Петр позвал кучера Михайлу и горничную Дашу и сказал:

— Михайла, отвези Марианилу Евтихievну на вечерний московский поезд. А ты, Даша, помоги ей сложить вещи.

Так навсегда была изгнана она из боровского дома.

Иногда Петр зло насмеялся и над своими знакомыми купцами. Зная невероятную жадность хозяина трактира, где собиралось именитое купечество, в присутствии многих гостей сказал ему:

— Хочешь получить золотую монету в десять рублей? Снимай штаны и иди через всю площадь из трактира к себе домой.

О «бесштанном» походе трактирщика несколько лет злословили боровчане.

У Веры Павловны в Самаре было два сына, весьма не похожих друг на друга. Рыжеволосый Павел, напоминавший Капыриных, был довольно миролюбивый, трудолюбивый. Черноволосый Васька внешне был похож на отца, забияка и постоянно задирает Павла. Дразнил его:

— Рыжий, паленый, черту подаренный!

— Рыжего-то Бог украсил, а на черном черт уголь возил, — был ответ.

Скарлатина быстро унесла Павла. Над его открытой могилой Васька кричал: «Закапывайте его скорей. Его игрушки мне достанутся».

Сорванца, лентяя и упряма Ваську Санина отец посылал в боровский дом к папаше крестному Петру Павловичу на исправление. На Ваську по временам находили приступы — безобразничать и своевольничать. Вымытый в бане и получивший чистое белье, он начинал кричать:

— Хааачу старую рубашку! Хааачу старую рубашку!

Появлялся папаша крестный и тихо говорил:

— Васьк! Пойдем!

— Папаша крестный, прости, больше не буду!

— Нет, друг любезный, пойдем.

— Папаша крестный, прости, Христа ради, больше никогда не буду!

— Нет, я сказал, пойдем.

Васька пятился, но мощная рука дяди хватала и тащила его в дубовую уборную и запирала там до позднего вечера. Крики и удары в дверь руками и ногами ни к чему не приводили. А иногда появлялся и ремень в руках дяди.

Днем Васька орал:

— Чаю хааачу! Хааачу чаю!

Экзекуция повторялась.

Страшный папаша крестный не мог перевоспитать Ваську, которому в Самаре постоянно потакала мать, пряча его от гнева отца.

Когда Васька подрос, отец, видя, что в Самаре с его воспитанием ничего не получается, отправил его на обучение коммерческому делу в Америку. Протерпев там два года, учителя-американцы его выпроводили с весьма «скромной» характеристикой домой в Россию.

С американскими визитными карточками Вилли Саннин (так он стал называть себя на американский манер для шика) немедленно явился в Боровск в цилиндре и во фраке. Он ошеломил боровчан рассказами об Америке.

— Думаете, что американцы живут так, как мы? Ничуть не бывало. Вот даже похороны. Гроб умершего ставят в автомобиль и мчат на кладбище. А провожающие за ним несутся на машинах сломя голову.

Боровские слушатели удивленно качали головами и говорили:

— Вы подумайте только! В автомобилях на кладбище везут. Ах, ах, ах! Что они там, американцы, все с ума посходили?

Боровские девы млели, глядя на полуамериканское чудо и всячески пытались обратить на себя его внимание. Гоголем и с немалой долей высокомерия появился он в городском саду. Но боровские пареньки решили проучить «американское чудо» уму-разуму российским манером. Встретив его поздно вечером на мосту Протвы, первым делом превратили его цилиндр в гармошку. Затем с треском оторвали фалду у фрака и поставили большущий синяк под глазом. Если бы не полицейский, будка которого стояла у самого края моста и который быстро прибежал на крик, пришлось бы Ваське принять холодную ванну в Протвевеке. Научившись быстро «уму-разуму», он ретировался в Самару, сообразив, что отцовские уроки менее тяжелы, чем «уроки» боровских парней.

Событием для семьи Капыриных было известие о том, что Николай Второй разрешил старообрядцам строить церкви. На Борисоглебской улице, недалеко от их дома, общиной будущего Покровского собора был куплен большой участок земли. Весь лес для постройки церкви Капырины решили поставлять бесплатно и, кроме того, внесли большую сумму денег. Другие богатые старообрядцы делали крупные вклады. Ждановы заказали второй по величине именной колокол. Глухаревы — третий. Когда большой белокаменный собор был построен, освящен, боровчане стали утверждать, что колокола выговаривают:

— Ка-пы-ри-ны, Жда-но-вы! Ка-пы-ри-ны, Жда-но-вы! Ка-пы-ри-ны, Жда-но-вы!

Старостой вновь отстроенного собора стал дядя моей двоюродной бабушки купец Мартемьянов (Мартьянов) Николай Илларионович. Когда-то он парнем пострадал за присутствие на старообрядческом богослужении. Был арестован по распоряжению исправника (начальника полиции Боровского уезда) и сдан вне очереди на двадцать пять лет службы в армии. За высокий рост, прекрасное телосложение, краси-

вое лицо его направили в гвардию. В Севастопольскую кампанию участвовал в боях. Получил несколько медалей. После возвращения из армии не женился, стал купцом и церковным старостой Покровского старообрядческого собора. Всю жизнь собирал картины и открытки о жизни армии, предоставил свой двухэтажный каменный дом под лазарет для солдат, а сам жил в деревянной пристройке.

Хозяйство семьи Капыриных из активного, предпринимательского все больше становилось рантьеерским. Торгово-промышленная деятельность свертывалась, а снижающаяся по темпу и даже объему прибыль вкладывали в устойчивые ценные бумаги (прежде всего, облигации государственного займа).

В Боровске появилось новое семейство Смирновых — небогатое, веселое. Красивая и кокетливая дочь «на выданье» Клавдия пленила сердце Петра, которому, по решению матери, предназначалась в жены старообрядка — дочь богатого купца Глухарева Мария Поликарповна. Ей он нравился, взаимности не было.

Началась жестокая борьба матери с увлечением сына. На ее сторону встали все незамужние сестры. Пользуясь своими чарами и зная о неприязни семьи будущего мужа к ней, Клавдия требовала от Петра, чтобы он катал ее на своих рысках под окнами матери. С Александрой Петровной случались обмороки, между «дитятком» и «родимой» возникали жестокие, безобразные сцены. Здоровье и матери, и сына резко ухудшалось.

Все чаще к сыну применялись кислородные подушки. Кучер на рысак летел за знаменитым врачом Ададуровым, призываемым то к матери, то к сыну.

Потомок знаменитого обнищавшего дворянского рода Ададуров в прошлом блестяще учился на медицинском факультете Московского университета. Ему предсказывали оставление в университете для подготовки к профессорскому званию. На предпоследнем и последнем курсах он приезжал в Боровскую больницу для практики. Повстречал обаятельную красавицу-боровчанку, замужнюю женщину, и это решило его судьбу. Блестяще окончив университет и оставив перспективу на профессорскую деятельность, он переехал на жительство в Боровск, получил место уездного земского врача и заведующего больницей. Семейная жизнь его сложилась как «брак втроем», так как любимая им женщина не получила развода.



Росла его слава знаменитого не только в уезде, но и за его пределами врача. Боровские купцы не скупались на гонорары, и он стал сравнительно богатым человеком и активным общественным деятелем. До сих пор сохранилось распланированное и обустроенное на его средства новое Текиженское кладбище с фундаментом от построенной церкви, уничтоженной во времена произвола. Стоят посаженные на его деньги ветлы на берегах Протвы. Со своими родными он был сдержан и холоден, главным образом потому, что они осуждали его за связь с замужней женщиной.

Как только он, громко смеясь, поднимался по лестницам капыринского дома, Александре Петровне без лекарств становилось лучше. Визит начинался часто с комичных рассказов о текущей врачебной практике и новостях боровской жизни.

— Вы понимаете, вчера приехал к вашей знакомой купчихе. Лежит, распластавшись на постели. Лицо страдающее. «Что такое?» — спрашиваю. «Ох, доктор, умираю». — «Да что случилось?» — «Семжинки поела, да, видно, лишнее. Уж очень вкусна была». Приняли меры, и умирающая воскресла.

В семье Капыриных нервное напряжение кончилось трагически. Петр Павлович тридцати девяти лет скончался от сердечного приступа. Клавдия Смирнова, бросив в его гроб букет сирени, кричала: «Уморили... уморили... уморили».

За ним умерла и мать, моя бабушка.

Остались три сестры, которые повели свое дело под названием «Лесной склад сестер Капыриных». Функции каждой были строго определены. Мария ведала провизией, питанием семьи и работников, проведением праздников, всем домашним обиходом. Александра — транспортом, садом, огородом, животными и работающими в боровском доме мужиками. Клавдия — имением, лесопромышленным делом. Сложные вопросы решались на совете трех сестер, говоривших: «Идемте советоваться».

Однако некоторые стороны имущественного положения менялись и в дальнейшем стали играть важнейшую роль в жизни нашей семьи. По левую сторону большого дома стояли два маленьких дома. Один — трехконный, а другой — двухконный, старинный, уцелевший со времен нашествия Наполеона. Дома принадлежали родным братьям, мелким торговцам. Дела их шли плохо, да и семейное хозяйство и жизнь протекали со сложностями и трениями

из-за неприязни жен друг к другу. Они то объединялись и вели общее дело, то разделялись. Наконец, владелец трехоконного домика ликвидировал дела и решил его продать. И сестры Капырины купили его, несмотря на скрытую сложность положения, которой не придали значения. Общий большой подвал обоих братьев находился частично под кухней второго брата на участке принадлежащей ему земли. В купчей крепости на дом, перешедший Капыриным, упоминался и подвал, вырытый, обустроенный на чужой земле, над которым помещались кухня и лавка, без четкого описания всего этого. Между соседями не возникало недоумений долгое время, вплоть до смерти второго брата — владельца соседнего двухоконного домика.

Тогда его вдова решила присвоить весь подвал себе, поскольку он находился на ее земле и под частью построек ее дома. Подала об этом в суд заявление, написанное сутяжным писарем. Капырины решили принадлежащую им часть подвала не отдавать. Но как защищать свои интересы в суде? Обратились с просьбой к единственному проживающему в Боровске и состоящему на государственной службе генералу по ведомству юстиции, хорошему знакомому семьи Николаю Карловичу Феттеру, непременно члену Окружного суда и мировому судье Боровского уезда. Он внимательно прочитал дело и сказал, что оно неразрешимо.

— Его выиграет тот, у кого больше терпения и денег. Подайте встречный иск к вдове о присвоении вам земли, на которой находится подвал, и части дома над подвалом, поскольку подвал ваш, что указано в вашей купчей крепости. Дело дойдет до Сената, но и там его вряд ли решат. Оно будет длиться годами, потребуются деньги на судебные издержки, на адвокатов, разъезды из одного судебного органа в другой. Надо лишь не пропустить сроков обжалования решений нижестоящих судебных инстанций в вышестоящие. У вашей ответчицы нет денег на это. Поняв бесполезность сутяжничества, она сама предложит вам покончить дело миром.

Он тут же написал встречное исковое заявление.

Все вышло так, как сказал генерал. Через год вдова пришла мириться. Ей предложили продать и весь ее дом, и земельный участок соседям. Так три дома — Большой и два маленьких — стали собственностью Капыриных. Купчие крепости на каждый из двух маленьких домов были составлены в пользу трех сестер в равных долях на каждую. Это привело

к тяжелым последствиям для семьи в годы Советской власти (об этом будет рассказано в следующих главах).

После смерти Павла Захаровича, Александры Петровны и Петра Павловича сестры Капырины — Мария, Александра и Клавдия — стали вести более открытый образ жизни. Часто ездили гостить в Москву к родственникам и знакомым: к Морозовым, Хандриковым, почетным московским гражданам Залоговым, Колгановым, Барышниковым. Хлебосольно принимали их у себя. Вместе с Валентиной Васильевной Морозовой и Юлией Федоровной Хандриковой тетушки Александра и Клавдия путешествовали по Европе и Африке. Были в Египте.

Валентина Васильевна вышла замуж за петербургского купца Лебедева из семьи тех самых купцов первой гильдии, которые сделали свалку мусора у дома А.Ф. Кони — прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. На требование прокурора убрать мусор они и ухом не повели. Кони обратился с жалобой к петербургскому градоначальнику. Последовало предписание: «Убрать в двадцать четыре часа. Повторять не стану. Взыскать сумею. Трепов». Свалка была убрана в срок.

После брака Валентины Васильевны Морозовой и купца Лебедева Капырины стали ездить в Петербург и Лугу, где было имение Лебедевых.

---

---

### III. СЛУЖБА ОТЦА В КАЗНАЧЕЙСТВЕ И ЖИТЬЕ В БОЛЬШОМ ДОМЕ

Отец служил усердно. Счетоводство, а затем бухгалтерию содержал в образцовом порядке. Когда в процессе продвижения по службе потребовалась значительная величина залога, обеспечивающая, по режиму того времени, надежность, добросовестность и усердие служащего (а денег у отца не было), необходимую сумму внес за него из собственных средств казначей А.А.Нагибин, дворянин старинного рода. Про отца говорили, что в бухгалтерии казначейства «муха не пролетит».

Большие окна нижнего этажа, где было казначейство, отец украсил редкостными комнатными цветами. Здесь был и араукарий, и различные виды цикламенов, и цветущие зимой кактусы, и комнатные фиалки, а в середине зала — пальмы. Все это он покупал из денег своего жалования, а ухаживать ему помогал тоже любитель-цветовод — присяжный (присяжными были вооруженные охранники, дававшие в церкви присягу-клятву на честность и верность несения службы. В большинстве это были заслуженные отставные солдаты). В Боровском казначействе служба и охрана проходили размеренно и четко. Ничто не предвещало осложнений.

В это время ушли на пенсию два старых присяжных. На их место — после принесения присяги в Соборе — были взяты шустрые отслужившие солдаты с рекомендациями воинского начальства. Все присяжные, заступая на дежурство по охране вечером, после окончания кассой работы казначейства принимали опечатанную сургучными именными печатями казначея и моего отца и запертую железную дверь кладовой и должны были на следующее утро сдать казначею и старшему бухгалтеру в целости сургучные печати. В кладовую перед ее закрытием из банка братьев Прото-

поповых привозили кассовый запертый сундук с деньгами, векселями и ценными бумагами, сдавали его под расписку казначею и старшему бухгалтеру без проверки содержимого и оставив у себя от него ключ, а наутро забирали его обратно так же, без проверки.

Казначей был стар. Обычно он доставал из кармана ключ от кладовой, передавал его присяжному и говорил:

— Запри, братец.

Братец запирает. Отец продевал сквозь две петли двери и ее обсады веревочку, подкладывает снизу дощечку, передавал ее присяжному, который покрывал ее и веревочку жидким, расплавленным сургучом. Казначей и отец ставили на сургуче печати и внимательно смотрели, чтобы их оттиски были четкими и ясными и покрывали оба конца веревочки.

Однажды шустрому присяжному пришла в голову мысль: «А что, если только сунуть ключ в замочную скважину двери и, не запирая замка, вытащить его и передать казначею?» Он это однажды сделал. Ни казначей, ни отец не заметили подвоха. Дверь кладовой осталась незапертой, и только тоненькая веревочка с двумя сургучными печатями мешала ее открыть. И тогда у присяжного появилось твердое намерение: ограбить. Но что? Казначейство — нельзя. Наутро пропажа при открытии кладовой сразу же будет обнаружена и тогда — арест, суд и каторжные работы. Нет, казначейские ценности трогать нельзя. А если сундук банка братьев Протопоповых? Ведь содержимого его ни казначей, ни бухгалтер не проверяют, и пропажа обнаружится лишь в самом банке, за пределами казначейства. Дело верное.

О задумке было рассказано второму шустрому присяжному, который согласился участвовать в деле. Прежде всего надо было научиться так искусно расплетать и заплетать веревочки выше печатей, чтобы этого не заметили казначей и старший бухгалтер. Через месяц операция была освоена идеально на макете дощечки и веревочки с присургученными печатями, сделанными обычными денежными монетами, таким же точно способом, как на двери кладовой. Успешно прошла и проба на печатях двери кладовой. Ни один из начальников ничего не заметил. Нужно было успешно отпереть замок на сундуке банка братьев Протопоповых. Несколько раз кладовая казначейства не запиралась, и знакомый умелец-слесарь, не посвященный в дело ограбления, по слепкам присяжных сделал ключ, которым можно было отпереть и запереть заветный сундук.

Более пятидесяти тысяч в одну из ночей вытащили тароватые охранники-присяжные из банковского сундука.

Привезя сундук из казначейства в банк утром следующего дня, члены правления ахнули: он был пуст. Известили сейчас же всех членов правления, собрали по лавкам остатки выручки, чтобы начать операции, и побежали к исправнику с сообщением, что в казначействе из сундука банка украли деньги.

Исправник выслушал, подумал и сказал: «В казначействе деньги украсть не могли. Украли деньги вы. Даю вам неделю сроку, чтобы вы из выручки членов правления погасили пропажу. Если через неделю не погасите — сделаю ревизию с привлечением специалистов и начну следствие».

Расстроженные члены правления, в большинстве своем крупные купцы-старообрядцы, отправились к православному соборному протоиерею, заказали и отстояли молебен святителю Николаю (его придел и часовня были в соборном помещении) о нахождении пропажи. Затем позвали священника из православной церкви Пятницы, заказали, отстояли и там молебен Ивану-воину (его придел и часовня были в этой церкви). Боровские жители понять не могли, почему старообрядцы служат молебны в православных церквях.

В конце дня долго думали, что делать; тогда один из умных купцов — членов Правления — посоветовал: «А что, господа? Ведь украдено же несколько облигаций займов на крупные суммы. Список их у нас есть. Переписать его, раздать копии верным купцам и сказать: как только дадут в уплату записанный купон или облигацию — бежать в полицию, сообщать исправнику и задерживать предъявителя».

Так решили и сделали.

Между тем подвыпившие присяжные-воры пришли в ближнюю к городу деревеньку, где жила семья одного из них, и развеселый муж крикнул жене:

— Ну, баба, заживем мы теперь с тобой!

— Ишь, нажрался! Городит неизвестно что. С твоего жалованья не разживешься.

— Не твоего бабьего ума дело! Сказал, заживем, значит, заживем. Верно, Петруха?

Петруха кивнул головой.

— В следующий базарный день, в воскресенье запрягай, баба, лошадь, поедем в город товар куплять. И по хозяйству чего надо, да и тебе обновки. Нарядишься на зависть всем в деревне.

Баба верила и не верила. С чего бы все это?

— Ну и что ж, поедем, — недоверчиво сказала она.

Захватив облигацию на крупную сумму, присяжный в городе облюбовал для покупок одну из лучших лавок (она принадлежала члену правления банка). Купец сразу заметил номер украденной облигации и послал молодца-приказчика бежать со всех ног к исправнику. Сам же купец всячески старался задержать покупателя и показом товаров, и любезнейшими разговорами, и, наконец, тем, что у него не набралось еще выручки на сдачу со столь крупной суммы.

Молодец-приказчик, хоть то было и воскресенье, быстро нашел исправника. По его приказу двое полицейских рысью побежали в лавку купца. Покупателя схватили и водворили в кутузку. Исправнику тут же донесли, что на базаре ждет пойманного его баба с лошадьё. Ее сейчас же привели к исправнику, но она много показать не могла. Сообщила лишь, что «сам» сказал, теперь, мол, хорошо заживем и что с ним был у нее в деревенской избе и еще один мужик — их знакомый, который также служил присяжным в казначействе и поддакивал ее мужу. Немедленно арестовали и другого присяжного-соучастника. После непрерывных допросов оба признались и показали, где спрятаны украденные и разделенные ими деньги и другие ценности.

По суду оба присяжных получили «бубнового туза» на спину — знак приговоренного к каторжным работам. Дело же о халатности казначея и старшего бухгалтера казначейства — моего отца — после длительных хлопот удалось замять, и они не были привлечены к суду и не получили взысканий.

\* \* \*

Дети многочисленной семьи Васильевых подрастали, обустроивались, создавали свои семьи, поступали на службу, самостоятельно обеспечивали себе существование. Лишь младшие сестры-гимназистки в Калуге Антонина и Сусанна требовали постоянных расходов. Из маленького текиженского домика отец мог перейти в отдельную квартиру, заняв весь нижний этаж дома рядом с казначейством. Усердно занимался самообразованием, приобрел небольшую серьезную библиотеку, стал одним из наиболее образованных боровчан.

Завязалось прочное знакомство его с семейством колориста Александровской фабрики Бюляром — мастером своего дела, придававшим платкам высокое художественное качество, обеспечивавшее им конкурентоспособность

не только в России, но и за границей. Успеху дела способствовали исключительно чистые, мощные ключи в Русинове, около фабрики, содержащие отбеливающие соли, придававшие материи приятные свойства.

Бюляр получал от Александрова в год двенадцать тысяч рублей, а его жена — твердый годовой доход от ценных французских бумаг: около пятидесяти тысяч франков. Александров предоставлял Бюлярам огромную резиденцию в бору, на берегу Протвы, около Боровска. Каждое утро экипаж, запряженный рысаками, мчал Бюляра на фабрику, а вечером привозил обратно.

Егор Александров, предприимчивый и даже талантливый организатор текстильного дела, был умным, но безалаберным человеком. Прекрасно понимая значение Бюляра в его производстве, он не скупился на его содержание. Сам он мог бы стать крупным миллионером, если бы не некоторые пороки, обуревавшие его страстную и порывистую натуру.

Женат он был на бранчливой, невероятно растолстевшей женщине, которая, прежде всего, любила вкусно поесть, а затем проявлять свой характер над рабочими фабрики. На «художественные» поступки мужа не обращала особого внимания, да и побаивалась его крутого нрава. В его отсутствие она добиралась и до самого Бюляра, чему способствовали некоторые ехидные работники, главным образом конторщики.

Встретив ее во дворе фабрики, низко поклонившись, конторщик говорил ей:

— И куда Вы только смотрите, особенно когда хозяин в отъезде? Ведь Бюляр-то разорит Вас, по миру пойдете. Сколько он лишней краски в чаны валил, ведь несудом, валил и валил. А краска-то дорогая. Нет бы ее сэкономить, а он валил без всякого расчета. Вы бы пошли, усовестили его.

А своим махал ручкой: «Идите, мол, ребята, спектакль смотреть».

Разозленная Александриха направлялась к Бюляру в лабораторию, которая была на самом верхнем, надстроенном этаже фабрики. Пыхтела, вытирала пот. От ее большого веса поскрипывали ступени лестницы, но она упорно шла вверх, преодолевая одышку, и добивалась своего. Передохнув на верхней ступеньке, входила в лабораторию.

— Нехорошо Вы делаете, Ахилл Егорыч! Сколько краски, дорогой краски, говорят, переводите без толку. А ведь Егорушка-то мой шибко прост. Верит Вам.



— Кто говорит?

— Да все говорят.

И конторщики и рабочие. стыдно Вам, Ахилл Егорыч, так поступать!

— Русски баба, дура, вон пошоль! Вон отсюда, вон! — топал ногами Бюляр.

Решил хозяин фабрики «Егорка», как его иронически называли боровские купцы, перейти в «хлысты». Сагитировал некоторых озорных, молоденьких купеческих сынков, соблазнил молоденьких, хорошеньких работниц, и пошли хлыстовские радения: кружения в полурядетом состоянии в полутемной горнице с истошными криками: «Хлыщу, свищу, Христа ищу» — с

падениями от головокружений и голубиной любовью. Некоторые молоденькие работницы забеременели.

Доносы быстро пошли в консисторию, управлявшую Русской православной церковью, в Святейший синод. В Боровск и на егоркину Русиновскую фабрику нагрянула комиссия, и пришлось бы Егорушке отправиться в Соловки на вечное покаяние, не передай он добрую половину своего капитала членам комиссии. Дело замяли.

Доходы Бюляра не уменьшались. Семья его скучала. Хотелось общения с умными, интеллигентными собеседниками. Одним из них стал мой отец. Он зачастил к Бюлярам, особенно летом, когда шла игра в крокет. Вечером угощали прекрасным ужином.

Так протекала жизнь, однообразная и по-своему счастливая. И вдруг грянул гром. Внезапно приехал пожилой ревизор из самого Министерства финансов. Внимательно вникая в работу казначейства, проверял документы. И так



*Григорий Григорьевич Васильев.*



*Мария Павловна  
Капырина-Васильева.*

подготовленном акте. Я буду просить Министра финансов ходатайствовать перед Государем о награждении Вас орденом Станислава третьей степени. Благодарю Вас и желаю служить так же в дальнейшем.

Отец не ожидал столь высокой оценки, растерялся и пролепетал слова благодарности. Расставаясь, ревизор крепко пожал руку отца.

Через несколько месяцев пришло извещение Капитула орденов о награждении.

Это произошло незадолго до начала Первой мировой войны, когда отцу было 42 года. К этому времени отец уже несколько лет был влюблен. Считал, что его заботы о братьях и сестрах в основном окончены. Сделал предложение и женился на моей маме Марии Павловне.

Ее сестры категорически возражали против брака с бедным чиновником, «текиженцем», «двадцатником» (получавшим жалование двадцатого числа каждого месяца) и огово-

день за днем, целых три недели. Перед написанием акта ревизии он сказал:

— Пойдемте, Григорий Григорьевич, погуляем в бору.

Вечерело. Они вышли далеко, на обрыв речушки Оборенки, любовались закатом. Молчаливая днем речка вечером, когда постепенно затихала жизнь бора, стала отчетливо журчать, напевая свою вечную мелодию. Повернули обратно, и тогда ревизор сказал:

— Здесь у Вас я увидел вторую по качеству работу казначейства из всех, проревизованных за мою жизнь. Об этом я напишу завтра в продуманном и

рили, что муж не будет вмешиваться в торговые дела сестер Капыриных, а моя мама будет иметь третью часть объема всего дела и право советоваться по проводимым сделкам.

Сестра Вера Павловна была тоже против этого брака, считала себя обиженной, не получив доли из капитала богатых сестер.

Много слез пролила мама. Но решение ее было твердо, и они обвенчались с отцом в православной церкви в Москве. Свадьба была скромной, хотелось избежать пересудов боровчан. Свидетелями в брачном документе были указаны простые крестьяне, приехавшие в Москву на сезонные заработки.

В первый раз в жизни отец получил отпуск, и после свадьбы молодые уехали в Крым провести там медовый месяц. На снимках того времени отец сделал надпись: «Самое счастливое время моей жизни».

После возвращения из Крыма отец переехал в Большой дом, заняв в нем вместе с мамой две комнаты на втором этаже. Раньше там жили дед Павел и Александра Петровна. Отношение сестер Александры и Клавдии и прислуги к отцу было недоброжелательным.

Отец вставал раньше мамы и сестер. Пил чай. Затем на рысаке летел в казначейство и так же возвращался.

Не обходилось и без казусов. Спущенные с цепи огромные злющие кобели Марс и Баян, дети сенбернара Геры и неизвестной породы кобеля, накинулись в саду на Григория Григорьевича, и лишь его проворство позволило спастись от страшных укусов: забрался на яблоню.

В коммерческие и хозяйственные дела отец не вмешивался и лишь изредка, когда его спрашивали, давал советы.

Маму, когда подошло время родов, из-за болезненности и сравнительно большого возраста (около сорока лет) увезли в Москву и поместили в дорогую частную больницу. Роды проходили трудно. Когда в решающий момент у присутствовавшего в больнице отца спросили, кому надо сохранить жизнь — матери или ребенку — отец сказал, что должен жить ребенок, и тем самым еще больше усилил неприязнь маминых сестер, которые считали, что надо было дать противоположный ответ.

Наложили шипцы, и остались живы оба: мама и сын. Но от болезни у мамы пропало молоко. Стали искать кормилицу. Нашли — здоровую женщину, только что родившую ребенка. Одновременно ей сделали предложение быть

кормилицей в семье скромного офицера. Но крупная сумма, предложенная нашей семьей, оказалась решающей. Кормилица стала моей няней, очень любила меня и прожила долгие годы в нашей семье. Она говорила, что «если бы не Капырины, то погибла бы в омуте, куда попала».

Меня крестили в Московской православной церкви, назвав в честь деда Павлом. Крестной матерью была московская почетная потомственная гражданка Вера Алексеевна Залогина, подарившая мне крестильный золотой крест, цепочка которого оборвалась во время купания в Протве. Мутная вода реки безвозвратно скрыла все на дне. Крестным отцом стал любимый брат отца — служащий Карсунского казначейства Симбирской губернии Дмитрий Григорьевич Васильев.

Вскоре перевезли меня в Боровск и по соответствующему обряду сделали старообрядцем. Мы теперь уже втроем продолжали жить в Большом доме. В комнате с окнами на восток и юг была спальня отца и мамы. Здесь же стоял письменный стол отца, в верхнем ящике которого были папиросы, а в остальных — его бумаги, письма, сургуч, личная печать от кладовой казначейства. На столе лежало несколько любимых книг, прежде всего И.С. Тургенева.

Стол отца, и в особенности папиросы, которые он мне позволял делать, набивая гильзы табаком, очень интересовали меня. Мне так хотелось быть большим, таким, как папа. А для этого надо было курить, как он. Примерно четырех лет от роду, когда никого не было, я попробовал курить. Меня стошнило. Тогда я решил, что больше курить не буду.

Рядом с большой комнатой в спальне с окном, выходящим прямо на восток, были моя кровать и кровать няни.

В воспоминаниях о раннем детстве вырисовываются прежде всего комнаты Большого дома, мебель, расставленная там, и вся обстановка жизни в нем: и большие образа икон в блестящих окладах в каждой комнате, и хорошо натертый паркетный пол белого дуба, по которому я любил кататься; и блестящие, начищенные медные ручки дверей, и белые, теплые зимой изразцы печей, и пианино, концертный граммофон, люстры и многое, многое другое.

Я был болезненным мальчиком, любимцем всех взрослых обитателей: мамы, отца и няни, тетюшек, прислуг-женщин, у которых не было своих детей, дворовых мужиков и даже пленных австрийцев, которые имели далеко где-то там семьи и своих детей.



*Дмитрий Григорьевич Васильев в кругу семьи:  
супруга Мария Павловна и дочери Галина и Ия*

Разрешалось мне делать почти все, и за шалости и провинности особенных наказаний не было. Забравшись со стула на граммофонную подставку, я уронил трубу, и мембрана, ударившись об пол, разбилась. Уронил со стола концертный баян покойного дяди Пети, и он разбился. Кроме замечаний, что «нехорошо» я сделал и чтобы таких «провинностей» больше не было, никаких выводов не последовало. Обычно на замечания я отвечал, что уронил нечаянно и постараюсь так больше не делать. Такое воспитание привело в дальнейшем к признанию своей вины в проделках и проказах, которых было немало, как у каждого мальчика.

Создали мне и детское общество, пригласив смирную девочку Капиталину из небогатой семьи. Девочка очень сильно картавила, крича мне, например: «Павлута, Павлута, гяди, котка бедыт...»

Но воспитывали меня не только родители. Однажды принесли орехи, которые, конечно, были лакомством. Я щедро угощал орехами подругу, и мы много их съели. Когда Капа ушла, нянюшка сказала мне: «Зачем ты так много орехов давал Капе? Ведь их осталось совсем мало. Завтра все сам съешь». Я так и сделал.

Когда пришла Капа, она потянулась ручонкой прежде всего к банке, где были вчера орехи, и обнаружила ее пустой. «Где-то олеки-то?» — прокартавила она, а я ответил: «Не знаю...» Мне было очень стыдно.

В другой раз тетушка Александра принесла напиленные из хорошо оструганных деревянных брусков некрашенные кубики. Высыпав их на пол, она сказала: «Вот вам новые игрушки. Паня, ты хочешь играть в эти кубики?» Вспомнив, что у меня есть раскрашенные кубики, а эти мне показались некрасивыми, я ответил: «Да нет, они некрашенные». А Капа попросила: «Дайте эти кубики мне». И я вдруг сказал: «Нет, Соня (так я звал тетушку), я хочу кубики». Тетушка Александра собрала кубики и отдала их мне. Всю жизнь мне стыдно за этот поступок мальчика Пани.

Я рано начал говорить и даже рассказывать.

Стали покупать детские книжки с ярко раскрашенными картинками. Обладая прекрасной памятью, не зная ни одной буквы, я наизусть запоминал текст и, быстро переворачивая страницы, создавал у взрослых впечатление беглого чтения. Слушатели ахали и восхищались. Однако забава кончилась плачевно. Я стал заикаться и... прятаться под стол. Позвали доктора. Мнение его было определенное и

жесткое. Прекратить игру с книжками, отобрать их и на год спрятать. Примерно через год заикание прошло.

Совсем маленьким я любил лазать на деревья, на стулья, на лестницы. Однажды это чуть не окончилось трагедией. По лестнице я забрался на крышу Большого двухэтажного дома и стал бегать по ее краю. Было и высоко и интересно. Увидев это, мама очень испугалась и начала со мной разговаривать, стараясь меня отвлечь. Нянюшка тихонько забралась на крышу и схватила меня в охапку.

Однажды в холодный зимний день меня повезли на салазках в гости к «бабе Сусе» (так я называл двоюродную бабушку Мартемьянову). Нянюшка со своей подругой увлеклись разговором и не заметили, что саночки, где я сидел, стали легонькими. А когда уже в конце поездки оглянулись, то ни меня в салазках, ни огромной Геры, которая бежала рядом, не оказалось. Они бросились обратно и на половине пути увидели меня, молча лежащего на середине дороги, и стоящую надо мной Геру, зорко и напряженно оглядывающуюся вокруг.

\* \* \*

Шла Первая мировая война. Лучшие лошади Капыриных были мобилизованы на фронт. В результате обесценения исчезли из обращения золотые, затем серебряные монеты и даже часть медных. Вместо них выпускались обесценивающиеся бумажные деньги, а на мелкие суммы — бумажные марки в копейках. Капыринская торговая выручка в рублях быстро росла, и на нее приобретались облигации государственного займа, которые так же резко обесценивались. Обесценивалось и жалование отца. Изменились и хозяйственные дела. Вместо части наемных русских рабочих, мобилизованных в армию, появились австрийские пленные (после Брусиловского прорыва). Приехало много эвакуированных, прежде всего из Брест-Литовска.

Резко ухудшалось продовольственное положение бедного населения. Появились требования о национализации земли, фабрик и заводов. Возникли партии, в которых было много шума и беспорядочной деятельности интеллигенции, купечества, но появилась и очень немногочисленная вначале, но грозная Коммунистическая партия большевиков, в которой ведущее место занимали пришедшие с фронта солдаты, рабочие и бедные крестьяне.

Осенью 1917 года до Боровска докатились раскаты Великой Октябрьской социалистической революции. Предста-

вители вновь созданных органов власти, в числе которых был Председатель Боровской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Егор Васильевич Уточкин, пригласили и информировали отца: «Вы назначаетесь комиссаром по национализации банка братьев Протопоповых и ссудной кассы огородников. Как Вы к этому относитесь?»

— Выполню Ваши приказы.

— Немедленно национализируйте. На случай какого-нибудь сопротивления или саботажа товарищ Уточкин выделил Вам своих работников. Все обнаруженные ценности точно опишите, занесите в ведомости и поместите в кладовую бывшего казначейства. Все операции банка и ссудной кассы с момента национализации прекращаются. Понятно? Исполняйте немедленно.

— Все будет исполнено.

Когда все было сделано, и отец вернулся домой, к нему в слезах бросилась мама. Обнимая и целуя его, она говорила:

— Гришенька, милый, зачем ты это сделал? Говорят наши, всех нас могут убить. Откажись! Скажи, что ты не можешь больше быть комиссаром. Может быть, тогда, если переменится власть, тебя простят. Христом Богом молю тебя, откажись!

Лицо отца посуровело. Бережно разняв обнимавшие его руки, он сказал:

— Нельзя, Машенька, нельзя! Это приказ по службе. Я всю жизнь служил и служить буду. Не проси. Со службы я не уйду. Кончим этот бесполезный разговор.

Вскоре встретилась маме знакомая купчиха — бывшая подруга — и сказала: «Ну, здравствуй, комиссарша. Попомни, горькими слезами тебе обольется комиссарство Гришеньки. Белые наступают. Не помилуют его, хоть он и золотой крест от царя Николая имеет. А Павлушеньку твоего прикончат».

С истерическими рыданиями прибежала мама домой. Опять бросилась к отцу. И опять он был непреклонен. Только старался выведать, какая же это «подруга» с мамой разговаривала. Но мама не выдала ему свою тайну.

Большой дом и семья в нем стали жить напряженной жизнью. Вскоре стали говорить о том, что в соседнем уездном городе Медыни вспыхнуло восстание, которое было подготовлено затаившейся там группой белых офицеров. Там расстреляли коммунистов, руководящих работников и часть служащих советских учреждений. В следующие дни восстав-



шие решили занять Боровск и подготовить там контрреволюционную группу, которая, так же подняв восстание, могла бы наступаем.

Но Боровская чрезвычайка во главе с Уточкинским не дремала. Часть людей, готовивших восстание, была арестована, посажена в острог и расстреляна. На Медынской дороге, недалеко от глухого места в Челховом Враге, на горке, была устроена засада с пулеметами, и наступавшие, не разведав обстановку и надеясь на беззаботность Советской власти в Боровске, попали под перекрестный жестокий огонь. В беспорядке и панике бежали, преследуемые идущими за ними по пятам красными. Без серьезного боя Медынь была взята, и там восстановлена Советская власть.

Ранним утром, когда еле светилась розовая полоска зари и в детской было полутемно, я был разбужен каким-то шумом и увидел над собой встревоженное лицо няни.

— Хочешь встанюшки? — сказала она.

— Зачем? Я хочу спать! А кто там шумит, няня?

— Большевики пришли.

В соседней комнате слышались шаги. Совершенно одетый отец ходил из угла в угол. Мамы не было.

Накануне поздно вечером, когда уже все легли спать, в ворота стали дубасить несколько вооруженных мужчин и потребовали хозяек. К ним вышел полуодетый отец, но ему сказали:

— Григорий Григорьевич! Мы не к Вам, а к сестрам Капыриным.

— Да в чем дело? Я служащий казначейства комиссар Васильев.

— Мы Вас хорошо знаем. Мы не к Вам, а с обыском к сестрам Капыриным. Вот ордер на обыск. А Вы идите в свою комнату и не выходите из нее. Скажите Вашей жене, Марии Павловне, чтобы она оделась и вышла к нам. Ее присутствие при обыске обязательно.

— Так что же, меня вы разъединяете с женой?

— Да.

— Вы понимаете, что делаете?

— Мы ищем оружие. Мы так проинструктированы. Вам необходимо подчиниться. Ничего не поделаешь. Служба.

На беду при обыске нашли пистолет покойного Петра Павловича и две коробки боевых патронов к нему. Никто из сестер арестован не был, хотя угроз и требований о выдаче будто бы спрятанного оружия было предостаточно.

Сурово и беспощадно по всей стране стали разворачиваться операции Гражданской войны. Свертывалось хозяйство, сокращалось производство товаров. Рабочим и служащим стали выдавать небольшие пайки, прежде всего — хлебные. Я помню, что почему-то с удовольствием ел принесенные отцом кусочки хлеба из овсяной муки, тщательно выбирая и выбрасывая жесткие полоски кожуры из овсяных зерен. А их было так много в этом плохо пропеченном хлебе. Ел мел. Поел все мелки мамы, которые она использовала при шитье для разметки материи.

Конфисковали всех лошадей и коров, оставили только двух.

Состоялся совет семьи о делах имения: группа спекулянтов предложила продать им дрова и древесину, но по очень низким ценам. Отец сказал: «Продавать немедленно все по ценам пареной репы!» Но тетушки не согласились: «Надо выждать. Григорий Григорьевич — некоммерческий человек. Его советам не надо следовать».

Скоро привели двух совершенно исхудалых, ранее мобилизованных лошадей, ставших теперь одрами. Отец потребовал: «Вернуть! И кормить нечем, и наверняка их отберут, если они поправятся». И опять его не послушались.

Вскоре конфисковали имение. Пользуясь его «ничейностью», крестьяне окрестных деревень начали в массовом порядке вырубать деревья, выбирая лучшие и используя их на починку старых и строительство новых изб. Спилывая дерево, часто оставляли пни высотой в пояс человека (лень было наклониться и пилить под самый корень). В имении светлый дом, что стоял над средним большим прудом, сломал и увез к себе в деревню сын бывшего капыринского приказчика по имению. Во всех трех прудах неизвестные хищники прорыли перемычки, спустили воду и забрали трепыхавшихся на дне карпов.

Постепенно свертывалось хозяйство. Были рассчитаны приказчик по имению, рабочие, прислуга. Остались только моя нянюшка и Ольга Федоровна, ставшая к тому времени членом нашей семьи.

Растаскивалось имущество Большого дома. Конфисковали пианино и перевезли его в здание бывшей городской управы. Во время обысков отбирались куски текстильной материи и другие товары.

Наконец, решила и судьба Большого дома. Его муниципализовали, передав в ведение Боровского Городс-

кого Совета, который большую часть верхнего этажа отдал артели крестьян, занимавшихся производством веревок. Председатель артели, оставив одну комнату для канцелярии, в остальной части дома поместил свою семью, переезжая ее из деревни. Начались массовые хищения книг из библиотеки, посуды из столовой. Жаловаться было некому, да и безрезультатно.

Наконец, было объявлено, что оставшуюся часть дома хозяева должны покинуть в трехдневный срок. В том числе и семья бывшего комиссара Васильева, который продолжал служить в качестве заместителя заведующего Боровским уездным финансовым отделом и заведующего его Сметно-кассовым подотделом. Все должны были переселиться в два оставшихся в их собственности маленьких домика. Но в домиках жили. В самом маленьком двухоконном — старообрядческий протоирей Иван с попадьей. В трехоконном — трикотажник-кустарь Манегин с семьей и небольшой трикотажной мастерской.

Отец Иван выехал. В маленький дом въехали тетушки и Ольга Федоровна. Манегин же заявил пришедшему к нему отцу:

— Чтобы я, рабочий человек, освободил дом для бывших буржуев, когда существует рабоче-крестьянская власть? Не бывать этому. Уходи, Григорий Григорьевич, по-хорошему, пока я тебя в шею не выставил.

На следующий день отец был у председателя Городского Совета и рассказал ему о своем вчерашнем посещении Манегина.

— Это какой же Манегин? — спросил председатель. — Сейчас наведу справки.

Оказалось, что у Манегина были две наемные работницы-трикотажницы, а сам он замечен в спекуляции трикотажными и текстильными изделиями.

— Сегодня же будет решение Городского Совета об освобождении дома в двадцать четыре часа.

Одновременно председатель снял телефонную трубку:

— ЧК? Егор Васильевич? Тут начал Манегин умничать и наши постановления не выполняет о выселении его из дома, куда должен въехать Васильев, тот самый, из Райфо. Пошли туда одного или двух своих работников, чтобы они его хорошенько трянули, разузнали, продолжает ли он заниматься своими спекулятивными делами. Позвони мне, чем дело кончится.

И обратился к отцу: «Завтра или послезавтра Манеги-на в Вашем доме не будет».

Действительно, через день домик был пуст, и мы его заняли, перенеся отданную нам мебель. Часть имущества, муниципализированную решением Городского Совета, оставили в Большом доме. Ночевали мы уже в маленьком домике.

Утром следующего дня мама сказала мне: «Вот тебе ящик. Собери в него в бывшей детской свои игрушки. Пойдем, простимся с Большим домом».

Пришли в почти опустевший от вынесенной мебели и ушедших других членов нашей семьи Большой дом, где лишь на половине у Мухиных было радостное оживление. Я оглядел свою бывшую детскую, собрал игрушки (они поместились в большом деревянном ящике) и сказал:

— Мама, я совсем готов.

— Тогда помолись Богу!

Мы помолились вместе, глядя из окна детской на кресты церкви Бориса и Глеба. И пошли молча, неся остатки нашего скарба, в свой трехконный дом, в котором начался новый этап нашей семейной жизни.

Недолго наслаждались Мухины житьем в Большом доме. Были раскрыты злоупотребления главы семьи, и вся она была переселена обратно в деревенскую избу. Большой же дом был отдан полностью детям, у которых погибли, пропали без вести родители или отказались от своего потомства. Полуголодные, но спасенные от смерти ребятишки стали смотреть из единственного окна, выходящего на наш двор, на благополучное по тем временам существование нашей семьи, звали наших животных, клички которых запомнили. Летом ребятишки подкармливались в огромном саду яблоками, не дожидаясь их созревания, и плодами кустарников, делая иногда набеги (но сравнительно редко) на наш сад и огород.

---

## IV. ЖИЗНЬ СЕМЬИ В МАЛЕНЬКОМ ДОМЕ

Мы стали жить вчетвером: отец, мама, я и нянюшка. В комнате о двух окнах, выходящих на юг бывшей Борисоглебской улицы, в переднем углу, поместились родовые капыринские иконы без окладов и маленький образ Христа Спасителя, принадлежавший отцу. В середине комнаты поставили обеденный стол с ящиками, наполненными предметами домашнего обихода. У стены с окном во двор расположился письменный стол отца и рядом с ним — зеркало в раме черного дерева. У задней стены, разъединявшей переднюю комнату с прихожей, стоял комод и висели старинные часы из приданого бабушки Александры Петровны. Часть восточной стены занимали стенка белой изразцовой печки-голландки и второе зеркало в ореховой раме. Вокруг стола и по стенам стояли черные венские таннстовские стулья с соломенными сиденьями, часть из которых была прорвана.

В прихожей помещались буфет с посудой, шкаф для одежды, в котором висел очень интересный для меня отцовский парадный мундир, шпага и некоторые другие выходные вещи. В узкой длинной комнате с одним окном на улицу стояли мамина и моя кровати, мой письменный столик и железная печка, которую топили на ночь в морозные дни. Железная вытяжная труба проходила под потолком через две комнаты и попадала в трубу голландской печи. Между нашей с мамой комнатой и прихожей была совершенно темная маленькая комнатка с топкой для голландки, где стояли папина постель и умывальник с мраморной плитой.

Все окна были уставлены привезенными в холодный зимний день из казначейства сильно обмороженными цветами. Казначейство, где служил отец, было ликвидировано. В нашем доме на полу у одного из окон стоял араукарий,

верхушка которого занимала почти все окно, а нижние обмороженные ветки были обрезаны. «Араукарий страдает и гибнет так же, как я и моя семья. Дай Бог, мил, чтобы ты вырос большим и сильным и в зрелые годы не испытывал наших страданий», — говорил отец.

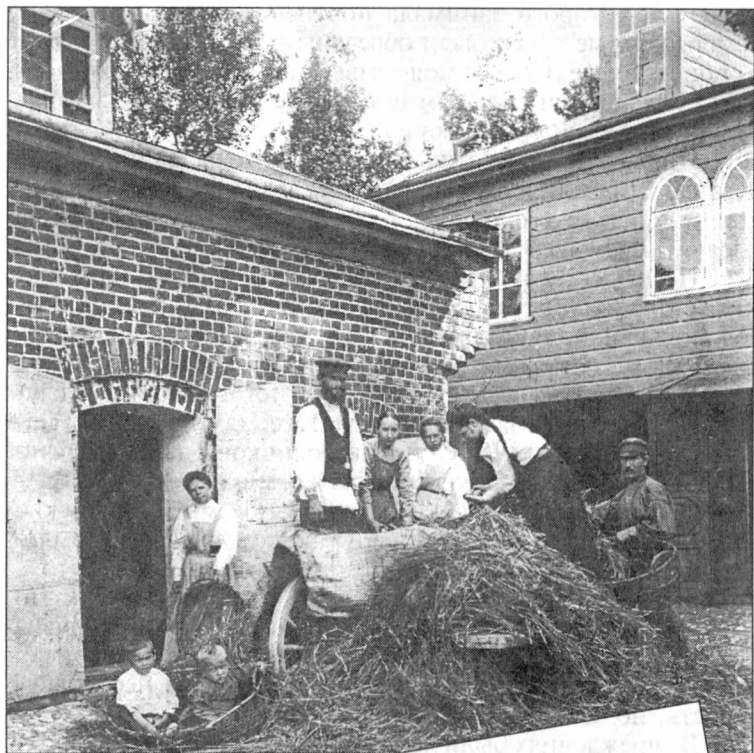
Инфляция превратила жалование отца в никому не нужные бумажки, а паек не мог обеспечить голодное существование даже его одного. Счет денег велся вначале на тысячи, затем на миллионы.

Но существовать как-то надо было. Источником выжить стало натуральное хозяйство семьи. Прежде всего огород. Большой приусадебный участок, засаженный молоденьким садом, оставлял довольно много свободной земли, позволял сделать здесь гряды. Кроме того, рабочим и служащим выделяли участки пустующей земли из угодий, национализированных у крупных огородников и землевладельцев. Отцу выделили два таких участка, и на семейном совете они были разделены поровну между семьей тетушек и нашей. Так же были разделены и участки усадебной земли. Тетушки считали это несправедливым и настаивали на том, что наша доля должна быть в размере одной трети, как это было раньше в хозяйстве Капыриных. Но теперь вопросы взаимоотношений решал отец, и его слово стало законом. Маму называли «половинщицей», упрекали за несправедливость, но это дела не меняло.

В учреждениях были лошади, кой-какой сельскохозяйственный инвентарь. И лошадь, и плуг, и борону давали вспахать огород. Но на маленьких участках приходилось пользоваться главным образом железными лопатами. Ухаживать за посадками должна была вся семья. Отец большую часть дня проводил на службе.

Надо было накосить и сена для коровы и овец. Главным образом в лесу, за несколько километров от города, учреждению или несколькими учреждениям отводились сенокосные участки. Объединялись обычно две-три семьи и отправлялись на несколько дней на сенокос (в большинстве случаев — женщины). Наша семья кооперировалась с семьей ветеринарного врача Михаила Матвеевича Пятницкого. Дома с ребятами, едой и служебными обязанностями управлялись мужчины. Конечно, домашнее хозяйство шло в это время кувырком.

Но жизнь натурального хозяйства так или иначе шла. Семьи интеллигенции кормились. Даже чай ухитрились пить.



У двора в палатку М. П. Васильева,  
на возу - С. Ф. Богомолова, А. П. Ка-  
мырина, М. Е. Буртаникова

*После сенокоса. Запись рукою П. Г. Васильева.*

Для этого на заварку собирали осенью на огородах морковку, мелко строгали ее, сушили в русской печи в большом количестве, чтобы хватило примерно на год. Сеяли сахарную свеклу, нарезали ее тоненькими ломтиками, высушивали в печке и использовали вместо сахара.

Большим подспорьем нашей семье был сад: яблоки, груши, плоды кустарников. Не было хлеба. Крестьянам нашей губернии его самим не хватало. Приходилось ехать на Юг в товарных вагонах и выменивать его там у местных крестьян на мануфактуру, носильные вещи, которыми обматывали тело или надевали их на себя, чтобы не отобрали при обысках на станциях заградительные отряды.

Для пастьбы коров нанимался пастух. Наше зареченское стадо насчитывало около двухсот коров. Каждый день пастух переходил с подпасками из одного дома в другой, где ему готовили еду. В большинстве хозяйств были куры, кролики, а у нас было даже три улья пчел. Ульи тогда можно было ставить в саду под защитой привязанных собак. Соты с медом еще не выламывали воры, ульи не опрокидывали хулиганы. Но все члены семьи боялись пчелиных укусов. Особенно было страшно при роении, когда из улья вылетала масса пчел и, кружась в воздухе, выбирала место для посадки — «привой», как говорят пчеловоды. Когда пчелы прививались, образуя компактную гроздь, и отправляли ходоков для поисков нового гнезда, пчеловод-хозяин должен был снять их в роевню — своеобразное решето, затянутое с обеих сторон или металлической сеткой или редкой материей. Пчелы раздражаются, злятся, кусаются. Зачастую рой прививается высоко на дереве или охватывает его ствол. Тогда приходится спиливать часть дерева с висящим над ним роем или сгребать пчел деревянным черпаком или ложкой и сбрасывать их в роевню.

Если рой вовремя не будет снят, а пчелы-разведчицы сообщат, что найдено новое подходящее жилье, рой поднимется и слетит, переберется в новое гнездо.

Для защиты от укусов пчеловод надевает на голову сетку, завязывает рукава рубахи и низ штанин веревочками (женщины сменяют иногда юбки на брюки). На руки надевают перчатки. Но все это при общем шуме роя и спешке трудно сделать сразу. Животные на усадебном участке начинают волноваться. Собака лает, кот забирается на самый конек крыши, куры кудахчут. Отец ругается: не может найти перчатки, да и «черт их найдет» летом, когда они давно



мамой спрятаны в отдаленный уголок комода. Приходится на руки надевать чулки. Нянюшка кричит и спорит с отцом, кому пилить высоченный сук тополя, на который, в конце концов, привился рой. Самым рассудительным человеком в такой обстановке оказывается мама.

Я все это наблюдаю, сидя на крыше, надев на голову сетку.

Забравшись на садовую лестницу, няня энергично пилит сук. Пчелы, недовольные тем, что их тревожат, стараются укусить кого-нибудь из нас. Наконец, одна из них кусает кота в нос — он стремительно шаркает с крыши, фыркает и усиленно трется мордой о влажную землю. Я слезаю с крыши и все дальнейшее наблюдаю из-за кустов малины.

Наконец, подпиленный сук стремительно падает вместе с роем на землю. Туча пчел поднимается вверх и набрасывается на нянюшку. Та кричит: «Ой, ой, ой! Зажрали совсем! Караул!» — и почти скатывается с лестницы. «Что орешь без толку!» — кричит отец. «Да, хорошо тебе, ты в портках!» — слышится ее ответ.

Плохо было с дровами. Надо было их самим пилить в лесу и привозить домой на больших салазках (дровешках). После того как спиливали несколько деревьев, очищали их от сучьев и клали на салазки, отец и мама впрягались как лошадки и тащили за веревки салазки. Я сзади подталкивал их колом и помогал таким образом родителям. Потом во дворе деревья распиливали на поленья, и толстые из них отец раскалывал колуном на части. Иногда ездили в более близкое место, на болото, и заготовливали там ольховые дрова. Дров всегда не хватало. Непосильно было заготовить их загодя, чтобы они просохли. Топили поэтому сырыми, принося их накануне в дом. Они шипели, дымили, с некоторых поленьев падали капли воды.

Зимой трудным делом была доставка воды для коровы. Речка Протва была сравнительно далеко от дома. Надо было ехать на дровешках, куда ставили бочонок, и черпать из ближнего глубокого колодца воду, которая проливалась и замерзала большими ледяными глыбами на стенках его сруба. По временам кто-нибудь из мужчин скалывал, ругаясь, лед, который падал вниз в колодезь и вычерпывался ведрами вместе с водой. Набрав в бочонок воды, отец, мама или оба вместе впрягались коренниками в веревки дровешек, а я понемногу подталкивал сзади, помогая этим коренникам и пытаясь придать бочонку большую устойчивость.

Праздником для отца были редкие приезды его хорошего знакомого, зажиточного крестьянина из Тишинки Гавриила Исаевича Волкова. Обычно он привозил бутылку самогонки и оставался ночевать до следующего утра. Закончив свои коммерческие дела на базаре и в других местах, в воскресенье он приходил к нам к обеду, передавал отцу бутылочку с мутноватой жидкостью. Отец, улыбаясь, потирал руки, не раз рассматривал бутылочку на свет и медленно разливал содержимое в чашки. Затем, смотря на маму, подняв свою чашку, произносил:

— Рабы Божии Гавриил и Григорий приобщаются святых таинств. Чайными чашками, Машенька, приобщаются, чайными чашками.

— Ах ты, кощунник ты старый, вот что я тебе скажу!

Гавриил Исаевич, держа свою чашку в одной руке, другой нетерпеливо теребил бородку и кричал, недовольно поглядывая на отца. И весь его вид говорил: «Ну что ты тянешь? Надо выпить, закусить и приняться за хлебо».

Но он был гость, и подсказывать хозяину считал не тактичным. Наконец, оба проглатывали слюну, с удовольствием выпивали и заводили задушевный разговор, браня и власть и местных руководителей: «До чего они все довели...»

Пообедав, Гавриил Исаевич говорил отцу, что он бы с удовольствием растопил голландку. Садился к ее топке и, аккуратно укладывая дрова, произносил:

— Дрова-то у тебя неважные, Григорь Григорич! Особенно вот эти ольховые. Ольха ведь распоследнее дерево, на болоте растет, им только полушубки овчинные в желтый цвет красить. Да и сыроваты дрова-то.

— Не скажи, Гаврил Исаич! Ольховые, когда прогорят, хороший жар дают.

Через некоторое время, когда ольховые дрова разгорались, Гавриил Исаевич говорил:

— А ведь дрова-то ольховые стоящие, а ежели еще накинуть, то куды годисси!

— Пап, ах, правда, давай накинем!

— Ну что ты, мил! Ведь мы с тобой не Гавриил Исаичи. Дрова надо экономить.

Положение в подсобных домашних хозяйствах рабочих и особенно служащих, непривычных к напряженному сельскохозяйственному труду, не умевших, например, хорошо косить траву, было сложным. У крестьянина, как правило, была лошадь, которая выполняла наиболее трудоем-

кие работы, пахоту, боронование, перевозку грузов. Ни у рабочих, ни у служащих лошадей не было. Их давали предприятия и учреждения на очень короткий срок, особенно во время сезонных работ, и далеко не всем.

К этому времени отец выглядел уже старым — с сенькой бородкой клинышком, небольшими усами и лысиной. Носил золотые очки. Невысокого роста (в молодости, чтобы это было не так заметно, носил обувь на каблучке), с небольшой физической силой, он обладал огромной силой воли, смелостью, отличался правдивостью.

Некоторые наши соседи были вороватыми. И воровали, думая, что, если они обидят прежних буржуев и их зятя, то им ничего не будет. Однажды соседи варварски выкопали в нашем саду пионы, взяв лишь верхушки их, а клубни оставили в земле. Погибли и корни и верхушки пионов полностью. Отец не придавал этому значения. Но когда здоровенный мужик стал косить в нашем саду траву, отец смело вышел к нему, потребовал уйти и оставить на месте скошенное. Отбросив в сторону косу, подойдя почти вплотную, сосед замахнулся для удара и встретил жесткий взгляд прямо на него смотрящих глаз отца. Отпрыгнув назад, отбежав, он опять пошел с поднятыми кулаками, крича: «Расшибу очки...»

— Посидишь в остроге, одумаешься! — сказал отец, не двигаясь с места.

Ворюга взял косу и, ругаясь, ушел.

Капыринский сад был огорожен высоким, плотным дощатым забором на дубовых столбах. Постепенно доски стали выламывать, столбы пилить, и только сторона забора, выходящая на наш участок, оставалась нетронутой. Наконец, очередь дошла и до нее. Ночью громко залаяла собака около задних ворот. Отец встал, поднял маму и теток, пошел в сад и увидел знакомых со Слободской улицы, выламывающих доски их забора. Вначале воры заявили, что ведь забор теперь «не ваш», уходите от греха. Но топор и лом бросили. Отец поднял то и другое и сказал: «Завтра объясняться будем в милиции».

Утром, еще задолго до ухода отца на службу, воры явились с повинной, чтобы не заявляли в милицию и отдали бы топор и лом. Отец обещал в милицию не заявлять, но инструменты оставил в качестве трофеев.

Отец был глубоко верующим человеком, честным служакой, старавшимся соблюдать принципы беспорочной

службы, которым он присягал еще при царе Александре Третьем. Уважал его и чтит. Ежегодно исповедовался и общался, всегда надевая при этом парадный мундир, а на него овчинный полушубок (чтобы не обращать на себя внимания). Долго при Советской власти носил форменную фуражку, но без кокарды, а зимой поверх нее — башлык. Но однажды ответственный работник сказал ему:

— Григорий Григорьевич, давно бы пора Вам форменную фуражку снять. Сколько лет уже Советская власть, а Вы одеты как при царе Горохе.

Придя вечером домой, отец снял фуражку, положил ее с сожалением на вешалку и сказал:

— Ну, Машенька, больше уж я форменную фуражку не надену. Замечание мне сегодня сделали.

Особенно переживал отец, когда по службе приходилось действовать вопреки его совести и убеждениям. Так, во время голода в Поволжье было приказано изъять церковные ценности, средства правительством хотело использовать для помощи голодающим. Изымать ценности из церквей и монастыря отец категорически отказался. Да на этом особенно и не настаивали. Учесть же все изымаемые ценности и сдать вышестоящей организации было поручено отцу.

Изъятие церковных ценностей проходило напряженно. Когда в монастырь явился вооруженный отряд, ударил набатный колокол. Сбежались Рошинские и Рябушинские мужики и другие жители. Отряду пришлось уйти, не выполнив задания. Ценности удалось взять лишь со второго захода. Изъятие ценностей в центре города также было встречено набатом. По бьющему в набат был открыт огонь, но попасть в него не удалось. А мать бьющего в набат скончалась под колокольней от разрыва сердца (так тогда говорили).

Поздним вечером одного морозного зимнего дня около нашего домишки остановилось 22 саней, нагруженных огромным богатством. Я еще не спал. Отец и военный — начальник конвоя — вошли в наш дом. В руках у отца был мешок. И он, и начальник конвоя сняли полушубки и сели к столу. Отец расстегнул пиджак и, вынув большой сверток бумаг, сказал: «Здесь все описи имущества, которое мы везем. Запомните это на всякий случай. Все самое ценное перечислено в верхней ведомости, а сами ценности вот в этом мешке, что у меня в руках».

— Григорий Григорьевич! Вы напрасно отказались взять оружие. Вот у меня второй револьвер. Возьмите его.

— Нет! Оружие — Ваше дело, включая всех членов конвоя. Мое дело — описи и вот эти самые ценные вещи, — он показал рукой на мешок. — Они погибнут вместе со мной. — И спросил:

— Разрешите?

— Да, конечно.

Отец развязал веревку горловины мешка и стал вынимать и ставить на стол золотые и серебряные вещи: чашу, дарохранильницу, большой золотой крест, другие предметы религиозного культа.

— Мил, смотри внимательно и запоминай. Быть может, во всю жизнь тебе никогда не придется увидеть ничего подобного.

На столе при свете маленькой трехлинейной лампочки сияли огромные богатства. Отец осторожно переложил их обратно в мешок, перевязал его горловину, застегнул пиджак, надел полушубок и сказал:

— Теперь без остановки поедем до станции Балабано-во. Еще раз напоминаю вам, чтобы была обеспечена полная, без торопливости, погрузка всего в отведенный нам отдельный вагон. Предупредите начальника станции, машиниста и главного кондуктора, что время стоянки поезда не ограничено, и без нашего сигнала он не должен двигаться ни вперед, ни назад по путям станции.

— Теперь до свидания. Возможно, я задержусь на несколько дней. Не беспокойтесь. — Обнял и поцеловал маму и меня. Они с начальником конвоя вышли в холодную, зимнюю ночь.

Как ни трудна и голодна была жизнь, но у меня, ребенка, были и радости. Летом любил ходить с отцом по Петровской горе на ключ за водой для самовара. Идя за сосенками по верхушке горы, кричал: «Ау!» Снизу из-за сосенок отец отвечал мне. Зимой я катался с горки на лыжах. Наблюдая это, отец кричал: «Упал! Упал! Упал!» Если я не падал, качал головой и говорил:

— Какой молодец! Хорошо катаешься...

Однажды я налетел вниз на огромный тополь. Удар был так силен, что нижняя челюсть оказалась в крови, два верхних передних зуба я с кровью выплюнул. Меня в полубессознательном состоянии посадили на салазки. Я плакал и немовато говорил:

— Буду теперь криворотенький...

Хороший хирург удачно вправил челюсть.

В холодные звездные зимние ночи совсем недалеко от нашего сада, по опушке леса, бродили и выли волки. Мы с отцом выходили за задние ворота и в ламповые стекла подывали им. Собаки во дворе поджимали хвосты, скулили.

Летом мне строго было запрещено ходить на речку. Но в жаркий летний день так хотелось искупаться, половить рыбу, особенно бутылкой, у которой выбита часть донышка. Ее ставили на мелководе с заткнутой пробкой посередине протока. Рядом с бутылкой нагребали продолговатые холмики песка, которые доходили до берегов протока. Получалось сооружение, напоминающее подводную плотину из песка, к которой, бултыхая ногами, гнали из более глубоких мест маленьких рыбешек. Они плыли обычно по наиболее глубокому месту как раз к поставленной бутылке, проходили через пробитое отверстие и оказывались в руках у мальчишек-рыболовов. Искушение было непреодолимым, а тут еще соседский паренек Васька настойчиво звал идти с ним. Часов в двенадцать мы вдвоем тихонько улизнули на речку и застряли там.

Настало время обеда. Напрасно мама искала меня и во дворе и в саду. Громко звала. Ответа не было. Бросив все домашние дела, она легла на постель и горько плакала. Со службы пришел отец. Покачал головой, отказался от обеда.

— Надо идти искать.

— Где же ты будешь его искать?

— Где, где? Откуда я знаю, где? В такую жару, вероятнее всего, ушел на речку. Если так, то я ему задам!

Отец шел к речке наиболее прямым путем по узкой тропинке, по бокам которой росли полевые цветы. Отец набрал их целый букетик. Мы к этому времени наловили почти целую бутылку мелкой рыбешки. Не заметили на берегу появившуюся фигуру отца.

— Ах, вот ты где, голубчик! Мать слезами обливается, а он, видите ли, рыбку бутылочкой ловит.

Быстро спустясь в воду, не снимая сандалий и штанов, схватив меня за руку, отец несколько раз стегнул меня букетиком цветов. Это был единственный раз за всю жизнь. Показывая на бутылку с плавающими в воде маленькими рыбками, приказал:

— Оставь все это Васе. А ты, Вася, больше никогда не бери его с собой на речку.

Дома мама, услышав звук щеколды калитки и слышав наши шаги, бросилась к нам навстречу. Обняла, стала целовать меня, прижимаясь мокрым от слез лицом.

— Где ты так долго был? Я так боялась, ждала тебя.

— Где, где? Известно, на речке. Выходит, почти целый день с Васькой рыбку там ловили. Выдрать его, подлеца, хорошенько надо. Ну да, ладно, для первого раза прощу.

Примерно тогда же появилась у меня еще одна провинность. В каменной стене нашего домика и особенно в прогнившем деревянном подоконнике стала жить довольно большая семья муравьев. Напрасно я ловил их — количество их увеличивалось. Я попросил у мамы разрешение залить жилище муравьев уличной водой после дождя. Последовал категорический запрет.

Под праздник Вознесения Христова вымыли полы. К обеду на следующий день мама одела меня в чистую вышитую рубашечку и белые штанишки, новые сандалии и чистые чулки. После обедни и завтрака мама ушла в гости, оставив меня дома с верным другом, большой гладкошерстной, рыжей и очень злой собакой — Тюльпаном. На лбу его было совершенно белое пятно: звездочка.

Происхождение пса неизвестно. Он прибежал к нам в сад. Видимо, был бездомен. Тетушка Александра давала ему еду. Он не брал ее из рук. Даже когда ее клали, но близко стояли и смотрели на него, он не ел. Но постепенно привыкал к тетушке, стал позволять гладить себя. Наконец, дал ей надеть на себя ошейник. Привели его к нам и посадили на цепь у плотной, хорошо сделанной конуры.

В ворота постучали. В щелочку я увидел женщину, которая просила открыть калитку и впустить ее. Во двор нахально вошли несколько цыганок и спросили, где взрослые. Узнав, что, кроме меня, никого нет, две из них пошли к двери дома, а две — к лестнице в подвал. Сообразив, что это беда, я бросился к злобно лающему Тюльпану и закричал, расстигивая ошейник: «Сейчас спущу собаку». Цыганки убежали.

Несколько успокоившись, я подумал, что теперь, когда ни мамы, ни отца не было, мне можно без помех расправиться с муравьями. Только что кончился сильный дождь, и во дворе образовалась лужа. Я нашел старую консервную банку, стал черпать из лужи грязную воду, носил ее в домик и заливал в подоконнике дыры, где лазали муравьи. По только вчера вымытому полу ясно пролегла дорожка от проливаемой воды и грязных сандалий. Разумеется, рубашонка и беленькие штанишки были вконец испачканы. Грязная вода текла по побеленной стене, но муравьи продолжали деятельно бегать и, вероятно, очень сердились на

меня. Расстроенный своей неудачей, раздумывая о том, чтобы залепить все щели, откуда бегут муравьи, я услышал стук в калитку. Это была мама. Очень рассердившись, она побежала в кухню. Оттуда — с посудным полотенцем в одной руке, схватив меня за ручки, начала стегать. Я вырвался. Возмущенный «несправедливостью», забрался на самый верх крыши и с обидой смотрел на маму.

— Слезай сейчас же!

— Не слезу. Ты меня несправедливо отстегала полотенцем. Я хотел уничтожить муравьев в доме.

— Пора обедать! Слезай сейчас же, паршивый мальчишка, неслуж!

— Не слезу. И обедать не буду.

Дальнейшие переговоры, хотя они переходили и в просьбы, и в обещание пожаловаться отцу, успеха не имели. Я просидел до прихода отца со службы.

Увидев меня на крыше, отец строго распорядился:

— Слезай!

Я немедленно выполнил его требование, хотя обижался:

— Да... Она меня полотенцем стегала.

— А я тебя ремнем отстегую.

Но эту кару отец не применил ко мне ни разу в жизни.

\* \* \*

Изредка появлялся в нашем доме хороший знакомый отца — Семен Андреевич. Смолоду он был очень религиозен, постригся в монахи в Боровском Пафнутьевом монастыре и прожил там несколько лет. Но потом пришел к выводу, что монашеская жизнь, без физического труда, без помощи мирским людям несправедлива. На скопленную сравнительно небольшую сумму денег еще до Первой мировой войны он купил небольшой участок земли, недалеко от одной из деревень, построил на нем домик с надворными постройками, приобрел сельскохозяйственный инвентарь, завел лошадь, корову и огромную собаку — верного друга. Стал жить совершенно один. Через некоторое время к нему стала приходиться из ближайшей деревни старушка стряпать и доить корову, а на ночь уходила обратно к себе домой.

Отгремела Первая мировая война, пришла Советская власть, а Семен Андреевич продолжал жить в своем домишке бобылем. И вот однажды он, встревоженный, приехал на своей лошаденке к нам и сказал, что ему обяза-



тельно надо посоветоваться с моим отцом. Вечером, сидя за морковным чаем, Семен Андреевич рассказал, что вчера нашел своего верного друга — собаку — мертвой.

— Думаю, она отравлена.

— Это очень плохо — одно могу Вам сказать. Немедленно заводите себе другую собаку, и советую Вам подумать о переезде в другое место.

— Да я и сам обеспокоен. Где ее найдешь, хорошую собаку, сразу? У Вас на примете нет?

— К сожалению, нет. А не говорила ли что-нибудь приходящая к Вам старушка?

— Был разговор. Будто бы в деревне парни между собой судачили, что у меня денег много. Не скрою от Вас, скопил я несколько золотых монет и спрятал их в лесу. Буром пробурил отверстие примерно в аршин глубиной. — И он показал нам на пальцах ширину и на руке — глубину захоронения.

Прошло несколько дней. Знакомый милиционер сказал отцу:

— А Вы знаете, Ваш знакомый Семен Андреевич убит.

— Как же это произошло?

— Да вот ведется следствие. Его нашли лежащим во дворе с простреленным сзади картечью черепом. Очевидно, убийца прокрался днем на сеновал, выстрелил вечером оттуда ему в затылок. Старушка показала, что, идя домой в деревню, на половине пути вечером она слышала выстрел, но не придала этому значения. Лишь придя на следующий день доить корову, она увидела во дворе его труп. В доме было все перерыто.

— И никаких следов?

— Да как сказать? Кое-какие косвенные улики вроде бы есть. Арестовали двух парней из соседней деревни, но ни один из них не признался.

Через некоторое время выяснилось, что один из парней — убийца — признался. Был судим и осужден из-за молодости и по принятии во внимание других смягчающих обстоятельств на небольшой срок тюремного заключения.

Пасеку Семена Андреевича в количестве семнадцати рамочных ульев и одной колоды передали детскому дому и поставили в его саду. Но там не было опытного пчеловода. Приходили по приглашению любители-пчеловоды, учителя, но уже осенью оказалось, что в ульях не было меда для прокорма пчел зимой. Пасеку ликвидировали.

Клад же золотых монет до сих пор лежит в лесу.

В семье богатых купцов Меренковых было несколько сыновей-наследников, намеревавшихся продолжить дело родителей. Лишь один захотел учиться и поехал в Москву, несмотря на недовольство семьи. Прошел год, другой. Обособившийся сын неплохо учился. К этому стали привыкать домашние. И вдруг грянул гром. Сын был арестован, обвинен в революционной деятельности, просидел около года в тюрьме, был отправлен в Сибирь, где провел несколько лет. После Октябрьской революции тяжело больной туберкулезом, он вернулся в Боровск и был назначен военным комиссаром Боровского района. Получив вызов в близлежащий Наро-Фоминский район, он приказал заложить лошадь и ночью решил ехать, чтобы наутро прибыть к месту вызова. Товарищи говорили ему:

— Поезжай днем или возьми провожатого.

— Ну что вы! Я вооружен. Да и кто в глухую ночь набросится на одинокого путника без поклажи? Ведь, как мы знаем, это пошаливают грабители, чтобы пожить добром.

— Не советуем одному ехать ночью. Не быть бы беде!

Но военком не послушался разумных советов и поехал глухой осенней ночью один.

Утром в Боровском военкомате раздался телефонный звонок. Недовольный голос в телефонной трубке спрашивал, почему военком не выполнил приказа и не явился на вызов.

— Да он выехал к вам.

— С какой охраной?

— Он поехал один без охраны. Категорически отказался взять кого-нибудь с собой.

— Немедленно организовать розыск! — прохрипела трубка. — Один отряд высылайте вы. Навстречу мы вышлем своих людей.

Вечером того же дня в Боровский военкомат пришла телеграмма: «Лошадь найдена трех верстах Нары. Леонидов на розысках. Следы найдены».

В лесу около дороги было найдено много следов: ведь земля была пропитана дождем. Предположительно было найдено и место нападения. И больше ничего. Стали прощупывать землю палками около следов. И вот в глухом лесу недалеко от деревни Кузьминки на третий день палка погрузилась в мягкую землю. Рядом валялось несколько комьев свежей глинистой почвы. Пригляделись: почва неровная и покрыта слоем свежей дернины. Стали копать и обнару-

жили тело комиссара Меренкова. Ни оружия, ни документов при нем не оказалось.

Через день его тело в гробу, обитом красной материей, несли на Боровское старообрядческое кладбище к семейным захоронениям Меренковых. Сзади шел строй красноармейцев, вооруженных боевыми винтовками с примкнутыми штыками. Лицо военкома было черным: сказалось трехдневное лежание в сырой земле. Среди других за гробом шел и я. На кладбище была произнесена краткая резкая речь. Прозвучали слова команды. Красноармейцы вскинули винтовки. Прозвучал залп, после которого послышался свист.

— Что это свистит? — спросил я.

— Пули. Стреляют боевыми патронами.

Затем — второй залп, третий. Строй красноармейцев двинулся обратно. В такт их шагов долго еще были видны покачивающиеся штыки винтовок.

Через несколько дней банда была поймана, и ее участники расстреляны.

\* \* \*

На ответвлении нашей улицы, которая оканчивалась большаком (широкой, обсаженной старыми березами дороге) в небольшом домике жил Малка. Мужчина высокого роста, стройный, с кудрявыми русыми волосами, серыми глазами, очень сильный. У него была маленькая, очень любившая его жена. Часто он был пьян, шел, пошатываясь, и кричал, размахивая огромными кулаками:

— Я, а ха-ха! Никого не боюсь! Только тронь меня! А ха-ха!

Прохожие, завидя его, от греха старались переходить на другую сторону улицы. Поговаривали, что он бандит. Но ни на своей, ни на близлежащих улицах он никогда ничего не крал и не отнимал ни у кого вещей. Услышав его голос, жена резво выскакивала на улицу, брала его под руку и быстро уводила домой отсыпаться. Неоднократно его арестовывали и сажали в острог, но обосновать, подтвердить фактами или показаниями свидетелей инкриминируемые ему преступления не удавалось. Каждый раз при аресте Малки жена готовила ему передачи, старалась носить какую-нибудь вкусную еду.

Соучастником Малки был Акимка. Невзрачный мужичонка, небольшого роста, черноволосый, кареглазый, со взглядом, который быстро, внимательно будто обшари-

вал собеседника. Однажды, сидя в домике Малки, они сначала мирно пили самогонку. Потом заспорили о том, чья лошадь резвее. Затем Акимка вспомнил о своей обиде, когда он недополучил доли украденного где-то и когда-то в прошлом добра.

— Ты что, сморчок, зря меня попрекаешь, — орал Малка, — да я тебя одним ударом в лепешку расшибу! Да я тебя как паршивую собачонку застрелю! — И вытащил револьвер.

— Не застрелишь. Слабо тебе меня застрелить.

— Застрелю.

— На, стреляй, — кричал Акимка, расстегивая пиджак и подставляя полуобнаженную грудь.

— Застрелю, эдакая задира, зараза паршивая.

Акимка напирал грудью на Малку. Грохнул выстрел. Пуля пробила сердце. Акимка упал на пол бездыханным.

Вечером того же дня Малку арестовали. Его жена побежала к адвокату, плача: «Время серьезное, расстрелять могут моего мужа».

Адвокат подумал и сказал:

— Мы можем повернуть дело так, что твоего мужа даже выпустить могут.

— Да неужели? Как же это?

— Пусть твой муж скажет, что его противник ругал Советскую власть... А он за Советскую власть жизни не пожалеет. Ну и пристрелил, мол, я эту контру, как бешеную собаку...

На суде Малка сказал все, что советовал адвокат, а когда дошел до своей приверженности советской власти, то рванул свою рубаху так, что от ворота отлетели пуговицы.

Суд, было, засомневался. Один из его членов стал выпрашивать, откуда у Малки револьвер? По какому праву он держал его без разрешения? Но, в конце концов, суд ограничился общественным порицанием. Убийце!

Войны — великие общенародные бедствия — приводят к быстрому росту преступности в каждой воюющей стране, в каждом уголке страны. При длительной войне преступность разлагает армию. Появляется мародерство. Дезертирство. Преступники из армии проникают в тыл. Массовая гибель солдат, голод, распад семей — основа роста преступности, беспризорности детей. В Первую мировую войну, а потом и в Гражданскую вооруженные фронтовые столкновения не перешли в Боровский уезд. Но голод, эпиде-

мии, смертность, разбои, грабежи, детская беспризорность получили и здесь широкое распространение.

\* \* \*

Кончилась Гражданская война. Начался период Новой экономической политики. Заработная плата отца (он всегда называл ее жалованием) стала достаточной для проживания семьи, а потом и для сытной, хорошей жизни. Стали обременительными сложности натурального хозяйства. Огород стали пахать нанятые за деньги работники. Дрова сухие уже покупали на базаре. По праздникам готовили сытный и вкусный обед, на котором бывал и жареный гусь. Пили настоящий чай — китайский и индийский — с вареньем, сахаром, медом. Овощи выращивались главным образом на приусадебных огородах. Отца наградили — одного из немногих в уезде — званием Героя Труда.

Однако благополучная жизнь продолжалась недолго. Было проведено укрупнение, и Боровский уезд был ликвидирован. Отцу предложили должность заведующего Сметно-кассовым подотделом соседнего Малоярославецкого уезда. Проанализировав предложение, отец категорически отказался. Надо было проститься с домиком, нарушить хозяйство, порвать старинные хорошие связи с родственниками и знакомыми. Нет. Нельзя ехать в другой район. Надо доживать здесь. Отец стал безработным, ему назначили нищенское пособие. Нянюшка перешла трудиться к богатым нэпманам, а затем на фабрику, получила маленькую комнату в нижнем этаже двухэтажного дома. Остались жить втроем: отец, мама и я. Опять главным источником проживания стало личное подсобное хозяйство. Но физическая работа была очень, даже непосильно тяжела для моих пожилых родителей.

Безработные интеллигенты Боровска пытались и для заработка и вместе с тем развлечения создать небольшую театральную труппу, в которой отец стал незаменимым суфлером. Сбор от продажи билетов был мал, и его хватало только для уборки, отопления, оплаты кассира. «Актерам» почти ничего не оставалось.

Хотя экономическое положение нашей маленькой семьи резко ухудшилось, и мы не помогали средствами другим семьям, отец как старший сын большой семьи Васильевых и как человек твердых моральных принципов и сильной воли пользовался большим авторитетом в семьях братьев и сестер, которые жили уже в других городах. Лишь

немногие оставались в Боровске. Двоюродная сестра отца Ольга Гавриловна вышла замуж за приехавшего в Боровск техника Гамулецкого.

Через некоторое время отцу предложили место счетовода в Боровском остроге, обнесенном каменной стеной. В тюрьме отбывали наказание главным образом уголовные преступники. В это время в одной из общих камер сидел Малка, арестованный по обвинению в очередном преступлении. В ту же камеру поместили задержанного на станции Балабаново незнакомого широкоплечего молчаливого человека среднего роста. Вечером Малка предложил играть в карты. Партнером стал новый молчаливый человек. Везло ли ему или он был первоклассный шулер, но Малка проиграл ему все. «Давай играть на нижнее белье», — предложил он. — «Давай».

Малка проиграл и нижнее белье. «Снимай все!» — зазвучал резкий, повелительный голос новичка. В глазах его вспыхнули искры непреклонного огня:

— Да ты знаешь, кто я? А ха-ха! Да я тебя...

Новичок сделал шаг вперед, обхватил и рывком поднял Малку, повернул его в воздухе и с размаху бросил на цементный пол. Малка потерял сознание.

— Так-то. Узнаете?!

— Московский пахан... — пробежало по камере.

— Значит, познакомились? Учтите, шутить ни с кем не буду.

Почти каждый день долетали до тюремного счетовода и мелочи и очередные трагедии жизни людей в камерах — и тяжелой, и впечатляющей. Все больше отец знакомился с повадками людей из уголовного мира.

— Одно меня немного утешает, — говорил отец, придя домой. — Решетки. Они — в остроге, и они были в Боровском казначействе, где я служил в лучшие годы моей жизни.

Жалование счетовода острога было мизерным — всего одиннадцать рублей в месяц. А проезд из Боровска в Москву туда и обратно (оплата извозчика и железнодорожный билет) стоил около четырех рублей.

Наконец, отцу предложили должность счетовода на текстильной фабрике «Крестьянка» в поселке Ермолино в семи километрах от Боровска. Никакого транспорта туда в то время не было. Приходилось каждый день ходить пешком. Нашлись и попутчики.

Одним из них был главный инженер фабрики Костогаров. Он был прекрасно образован, окончил Московское Высшее Техническое училище. Несколько лет проработал на фабриках Германии и Англии. За границей был хорошо обеспечен, но тоска по родине заставила его вернуться в Россию. Здесь он был назначен главным инженером Тульских патронных заводов. В чем-то проштрафился, едва избежал суда. Переехал в село Роцца, слившееся с Боровском, поселился в верхнем этаже теплого светлого двухэтажного дома. До фабрики ему надо было идти примерно четыре с половиной километра. Правда, в те дни и даже недели, когда Текстильным трестом, находившимся в Боровске, ему поручались проектно-сметные работы, он выполнял их дома в большой комнате, где стояли чертежные доски и стол, на котором он делал расчеты. Он ходил по комнате, делал расчеты, чертил и изредка маленькими глоточками отхлебывал из рюмки водку. Во время этой напряженной работы членам семьи было запрещено входить в его комнату, отвлекать от дела.

Вторым попутчиком отца был главный бухгалтер фабрики Григорий Иванович Кострюков. Он жил на Рябушках, также слившихся с Рощей и, в конечном счете, и с Боровском. От домика Григория Ивановича до фабрики было километра три с половиной.

На службу все трое шли порознь. Возвращались почти всегда вместе. Первая остановка была у Кострюкова, где выпивали по рюмочке. Дальше шли вдвоем до квартиры Костогарова. Там иногда засиживались и посошком не ограничивались. Домой отец возвращался один, уже несколько нагрузившись. Частые выпивки отца приносили в семью горе. Мама плакала. Отец обещал не пить, но обещаний не выполнял, временами терял контроль над собой. Вечерами нередко я шел его встречать, особенно когда он задерживался. Однажды мы встретились недалеко от нашего дома. Отец был совсем трезв. Выглядел он очень усталым, но улыбался и сказал:

— Давай пошутим. Я притворюсь пьяным, а ты веди меня под ручку.

У самой калитки он пьяным голосом закричал: «Отворяй!»

С грохотом я распахнул калитку, так что красавец цепной пес Тюльпан тихонько взвизгнул.

Войдя в кухню, мы увидели на нижней приступке лешенки, по которой лазали на русскую печь, поникшую, с

бессильно опущенными руками, склоненную маму. По ее щекам катились слезы.

Отец бросился к ней. «Машенька, милая, не плачь! Мы пошутили. Я совершенно трезв», — виноватым голосом сказал он.

— Какие вы жестокие, — отвернулась от нас мама. Мне было очень стыдно. Наступило тягостное молчание. Она медленно встала и пошла к русской печке доставать отцу ужин, который был и его обедом. На фабрике в обеденный перерыв он только чаевничал, съедая небольшой сверток продуктов, который ему готовила мама, иногда пил молоко.

После ужина отец просил прощения. А я дал себе слово стараться бережно относиться к своей маме, не причинять ей огорчений. Конечно, как у каждого мальчишки, это старание нарушалось: я и шалил, и не слушался. Но, как только вспоминал данное слово, останавливался.



---

---

## V. УЧЕНИЕ

Родители решили, что начальное образование я получу в семье. Ежедневной учительницей моей стала мама. Мы с ней с трудом выучили буквы, цифры, и я стал писать. Но я был медлителен и неаккуратен. Она, окончившая начальную школу с похвальным листом, — нетерпелива и требовательна. Занятия часто оканчивались слезами. Первоначально — моими, а потом — нас обоих. Уроки стали для меня тяжелым, неинтересным, даже неприятным делом. Затем это стало перерастать в нечто тягостное.

Отец, наблюдая неуспех этого дела, решил передать его (мне исполнилось восемь лет) учительнице Наталии Исидоровне — заведующей детским домом, который помещался в большом здании, принадлежавшем раньше Николаю Поликарповичу Глухареву, — богатому купцу, краеведу, издателю боровской газеты, владельцу музея, для которого был выстроен им отдельный дом с художественной резьбой по дереву. Глухарев был и незадачливым фабрикантом, построившим в Балабанове небольшой заводик, который давал мало дохода. Семейную торговлю, дававшую большую прибыль, он ликвидировал. Советская власть муниципализовала и родовой дом Глухаревых, и дом-музей с собранием интересных экспонатов. Надежного любителя-хранителя экспонатов музея не нашлось. Их стали растаскивать. Семья Глухаревых была переселена в маленький домик, в котором не было места для богатейшей библиотеки, и жена Николая Поликарповича Лидия Ивановна стала раздавать книги знакомым. Нашей семье она предложила взять богатое собрание дореволюционной периодики. Мы с мамой погрузили книги в мешки, положили их на дровешки, перевезли за два раза в наш домик и сложили на чердаке.

Богатое краеведческое, библиотечное наследство Николая Поликарповича, представлявшее музейную ценность, быстро таяло. Сам он вскоре скончался. Его похоронили на Боровском старообрядческом кладбище у могил семьи Глухаревых с роскошными памятниками черного мрамора. Над его могилой был скромный земляной холмик.

Идти на занятия к Наталии Исидоровне в дом Глухаревых было сравнительно далеко: примерно три километра в оба конца. Но у меня появился товарищ — Игорь, сын заведующего Горздравотделом В.А. Горюшина, родственника наркома здравоохранения Н.А. Семашко. Их семья в Боровске состояла из трех врачей: жены Владимира Андреевича — гинеколога, брата — хирурга, его самого и сына-школьника Игоря. Половину пути туда и обратно мы шли с Игорем вдвоем. Это были веселые путешествия. Да и занятия под руководством опытного педагога были мне очень интересны. Так продолжалось два года. Затем Владимира Андреевича с огромным повышением перевели в Лечебно-санитарное управление Кремля.

По мнению моего отца, настала пора перейти мне в стационарную государственную школу. Этот переход на первых порах воспринимался мною трудно. Уже при занятиях с Наталией Исидоровной выяснилось, что я очень близорук. Поэтому в школе меня посадили за первую парту, где давно уже обосновались старожилы — прилежные и аккуратные девочки. Мое появление было встречено недружелюбно и решено лишь благодаря вмешательству учителей. Я сразу же получил прозвище «слепой курицы». Но и с первой парты я не всегда мог рассмотреть написанное на доске.

Для консультации с окулистом решено было ехать в Москву. Это было и сложно и дорого. Мы с мамой добрались на извозчике до станции Балабаново. Там пришлось пререкаться с железнодорожным кассиром, чтобы мне дали четверть билета, так как, по его мнению, я был уже большой и для меня надо было покупать билет, как для взрослого. Мама в этом споре победила.

В Москве мы остановились у моей крестной Веры Алексеевны Залогойной, которой из их родового особняка оставили одну большую двухоконную комнату, где она жила вместе со старушкой — бывшей прислугой Катей. Они очень нуждались, потому что хозяйку как бывшую буржуйку на службу не брали, хотя она окончила Высшие женские курсы. На свидание с нами к Вере Алексеевне пришел бывший миллионер Евстафий Васильевич Морозов. Он сказал, что его родствен-

ники хлопочут, чтобы его выпустили во Францию, где у него сохранилась часть капитала, вложенная в один из крупнейших банков Франции — Лионский Кредит. Это был исхудалый человек в весьма поношенном пальто. Они пошли прогуляться с мамой. Скоро вернулись, и мы простились с ним.

Маме порекомендовали обратиться в поликлинику медицинского факультета Московского университета. Я попал на прием к Пластинину, ассистенту известного профессора-окулиста Страхова. Пластинин сразу же обнаружил у меня большую близорукость, астигматизм (неспособность глаз видеть одновременно далекие и близкие предметы) и косоглазие обоих глаз. Он назначил нам прием на следующее утро в здании медицинского факультета. Там он демонстрировал меня более чем двадцати студентам, повторяя много раз об «ярком и интересном случае в практике глазных болезней». Я очень устал. Пластинин назначил нам прийти сюда же утром следующего дня. На следующий день длительная демонстрация меня студентам повторилась с введением капель в оба глаза. Я почувствовал себя еще более усталым. И опять последовало приглашение на следующее утро, и были даны капли для введения пипеткой в глаза самостоятельно. Мама сказала, что мы не можем ходить больше, надо помочь нам и отпустить. Пластинин же возразил, сказав, что заболевание сложное, и в Москве нам надо побыть несколько дней.

Мама посетовала на трудность нашего положения. Но, выйдя на улицу, сказала мне, что больше мы сюда не пойдем. А пойдем к профессору Снегиреву, который принимал больных у себя дома. Мама позвонила по данному ей телефону и услышала мужской голос. Она сказала, что — из провинции с больным мальчиком, и спросила, может ли и когда профессор принять нас и сколько надо заплатить за визит. Голос назвал время, в которое надо прийти точно, без опоздания, добавив, что заплатит каждый, сколько может.

На следующий день мы заранее пришли в приемную профессора, где ожидали уже несколько человек. Принимавшая у нас пальто женщина тихо назвала крупную сумму за прием. Мама сказала о вчерашнем разговоре по телефону и условиях оплаты, которые ей были сообщены.

— Тогда Вы заплатите столько, сколько можете, — с улыбкой сказала женщина.

В кабинете профессора я увидел седого, сухонького старичка, небольшого роста, в белом крахмальном халате и в золотых очках. Он показал мне на кресло, куда надо

было сесть. Мама коротко рассказала о нашем обращении к ассистенту Пластинину и его заключении.

— Посмотрим.

Быстро проделав обычные манипуляции окулиста, профессор, взглянув на маму, сказал:

— Диагноз Пластинина правилен. Но он делал с Вашим сыном обследования, которые проводятся обычно с больными, лежащими в глазной клинике. Он хотел показать студентам ярко выраженное и удобное для демонстрации заболевание глаз Вашего сына. Дайте мне посмотреть капли, которые он Вам дал.

— Ну, конечно, эти исследования делаются в клинике и под строгим контролем. Иначе может произойти спазм глаз. Поэтому я Вам эти капельки не верну. Иначе может случиться, что Вы засомневаетесь и станете их применять сами, без контроля, и причините вред глазам сына. А теперь я Вам выпишу рецепты для очков. Одни для дали, когда мальчик будет ходить по улице, играть, смотреть написанное на школьной доске, словом, когда ему надо будет рассмотреть далеко стоящие предметы. Другие же очки — для близко лежащих предметов, чтения книг и письма. Это он будет делать в так называемых «ближних очках».

Присев к столу, он написал два рецепта и приложил к ним адрес магазина, где быстро сделают очки, сказав при этом: «Такие специалисты, как в этом магазине, теперь редки».

Когда он проводил нас до дверей кабинета, чтобы пригласить следующего больного, со стула, стоявшего немного поодаль, вскочил седой старик, подбежал, обнял профессора, поцеловал и сказал:

— После Вашей операции я прозрел. Я вижу! Огромное Вам спасибо.

— Подождите немного, я опять посмотрю Ваши глаза.

— Не надо. Я пришел, чтобы еще раз поблагодарить Вас.

Получив через два дня очки, мы уехали домой. Мама рассказала отцу о свидании и беседе с дядей Евстафием. Отец нахмурился:

— Поддерживать с ними связь мы не будем.

Вспоминаю, что, когда я пришел в школу в первый раз, я не догадался положить ранец в парту, а носил его до начала первого урока и на двух переменах за спиной. Ребята смеялись надо мной. Но никто не надоумил меня положить ранец в парту, пока я сам не сообразил это сделать, поняв, что надо мной смеются. Я был сильным мальчишкой, но неповоротливым и

медленно реагирующим на пристаивания шустрых мальчишек и девчонок. Недели через две я освоился. Приобрел друзей, которые в ряде случаев были подготовлены хуже меня. Привыканию к школе способствовало появление новой учительницы — заведующей школой Лидии Александровны Самсоновой, происходившей из старинной дворянской семьи.

Скоро распущенная и малоподготовленная вольница третьей группы почувствовала жесткую руку опытного педагога высокого культурного и интеллигентного уровня. Установилась деловая, строгая дисциплина на уроках. Меньше стало драк учеников, хождения девочек группами в обнимку на переменах. Стали подтягиваться слабые и распущенные преподаватели. Учитель первого класса «Сима», куривший на уроках и переменах, после нескольких замечаний ему вынужден был оставить свои дурные привычки. Ходил он жаловаться на заведующую школой в райком комсомола, но не встретил там поддержки.

Лидия Александровна дала нам хорошую подготовку в объеме начальной школы: научила нас грамотно писать, считать. Но вот чтение мне давалось плохо. Мне казалось, что хорошо читать я не научусь. Лишь когда мне попали книги Фенимора Купера и другие приключенческие произведения, и я их проглотил запоем, оказалось, что незаметно для себя я стал читать совершенно свободно, а вслух — даже с некоторым художественным выражением.

В здании школы, где я учился, было раньше уездное училище, в котором в свое время преподавал Константин Эдуардович Циолковский.

Дров в помещение школы привозили мало. В морозные дни мы сидели в классе в шубах и пальто. Вспыхивали эпидемии инфекционных заболеваний. Несколько человек заболело скарлатиной. У меня это заболевание проходило тяжело, с осложнением на кишечник, и я долго питался кашей с молоком. С удовольствием ел уху из налимов и самих налимов, которые мне, больному, присылал мельник монастырской мельницы Семен Сергеевич, хороший знакомый нашей семьи. Вместе с отцом я не раз бывал у него на водяной мельнице на реке Протве, ходил в амбар, где мололась мука. Водил он меня и на плотину, в которой через проделанные отверстия, закрываемые и открываемые деревянными щитами, регулировалось течение воды, и по деревянным сливам она попадала на мельничьи колеса, которые крутили жернова. Нравились мне и его настенные часы, в которых во

время боя выскакивала из отверстия кукушка, и куковала столько раз, сколько показывали стрелки часов.

Уже в семидесятые годы и плотина, и мельница, и домик были разрушены...

Окончив успешно школу первой ступени (с I по IV группы), я поступил, как тогда говорили, во вторую ступень средней школы «с педагогическим уклоном» (с V по IX группы). Школа помещалась в четырех зданиях, одним из которых было двухэтажное здание бывшего райисполкома, ликвидированного вместе с упразднением Боровского района. В те годы здания школы разделялись на кабинеты, в которых проводились занятия по разным предметам. На переменах ученики из одного кабинета перебегали в другой и нередко в здание школы, находившееся на противоположной стороне улицы. В холодные, зимние дни это было очень неудобно.

По ряду предметов была введена так называемая «бригадная форма обучения». В каждой группе формировались бригады, в которых ученики самостоятельно изучали очередную тему предмета, а затем изученное сдавали учителю путем показа написанных работ, реже — в форме собеседования. Эта система принесла колоссальный вред качеству подготовки учеников, привела к массовому распространению иждивенчества. Один-два хороших ученика делали задание, а остальные переписывали у них механически, зачастую не поняв как следует содержание переписанного. Оценки каждому ученику не выставлялись, а за отчетный период в таблице указывалось, «активен» ли он.

И здесь, во второй ступени школы, я остро почувствовал дифференцированное отношение к ученикам из разных семей, настороженное и резко критическое — к некоторым. Детей партийцев, рабочих, бедных крестьян без задержки принимали в комсомол. Им поручалась ответственная общественная работа. По отношению к детям из семей бывшей буржуазии, землевладельцев и даже ответственных служащих, занимавших высокие посты администрации в дореволюционное время, велась политика непривлечения, отстранения от активной общественной работы. Даже мне, отец которого был и комиссаром (беспартийным) и Героем Труда, вследствие того, что в прошлом он был «личным дворянином»<sup>1</sup>, а мама

---

<sup>1</sup> «Личный дворянин» — в дореволюционной России человек, получивший это звание в результате личных заслуг. Дворянские привилегии относились к нему и сыновьям, если они были на государственной службе.

происходила из старинного купеческого рода, владевшего крупными капиталами и землей, никаких ответственных общественных поручений не давали. Поручались лишь помощь отстающим ученикам и участие в ликвидации неграмотности населения. В комсомол не принимали. Была дифференцирована и сравнительно невысокая плата за обучение (она была выше с нэпманов, кустарей, зажиточных крестьян). Ни успеваемость, ни прилежание учащегося при установлении этой платы во внимание не принимались.

Учительский состав в нашей средней школе по своей подготовленности был далеко неодинакового качества. Были прекрасные учителя с высшим образованием. Они занимали высокие должности в школьной администрации (например, заведующий школой, преподаватель физики, беспартийный Илья Григорьевич Карандасов).

Преподаватель русского языка и литературы Петр Васильевич читал на уроках тексты художественных произведений как прекрасный артист, и его слушали, затаив дыхание. Были хорошие учителя по природоведению и биологии. Преподаватели же общественных дисциплин были слабо подготовлены по своей специальности.

Преподаватель Сергеев — мужчина огромного роста, широкоплечий, статный, с большим партийным стажем — был резок в суждениях и справедлив. Он долго и тщательно готовился к урокам. Говорил медленно, делал большие паузы, стараясь преодолеть шероховатости в построении фраз, но это ему не всегда удавалось. Ученики уважали его за определенность суждений и смелые ответы на вопросы, за мужество признаться в том, что сейчас ответить не может и сделает это на ближайшем уроке.

Были и преподаватели, плохо воспитанные. Одна из них курила, кашляла и сплевывала мокроту на уроках в корзинки для мусора, которые стояли в каждом классном помещении. Отец сразу понял ее низкий культурный уровень и слабое преподавание, называя ее «балдохой». В дни, когда были ее уроки по обществоведению, он обычно меня спрашивал: «Ну что сегодня вам говорила «балдох»?» И беспощадно высмеивал несообразности и неправильные утверждения, которые были на ее уроках.

На родительских собраниях отец был корректен и уважителен. Но иногда срывался. Когда преподаватель литературы грубо отозвался о Ф.М. Достоевском, отец вскочил. Резко и громко крикнул:

— Как Вы — по сравнению с Федором Михайловичем величина микроскопическая — так резко и несправедливо осмеливаетесь критиковать его?

Некоторые преподаватели обществоведения вели провокационные беседы. Один из них долгое время приставал ко мне с требованием ответить, почему я советую ученикам не вступать в комсомол (в действительности ни одной беседы на эту тему я не вел).

Несомненно, что в каждой стране, какая бы там ни была политическая система и жизненный уклад, дети остаются детьми — и шаловливыми, и озорными, а иногда и невероятно жестокими.

В нашей группе складывались своеобразные товарищества, из которых интересным был союз «червяков» — самых маленьких по росту мальчишек, дружно стоявших друг за друга, особенно когда на одного из них нападали великовозрастный и здоровенный верзила. На переменах они ходили группками и пели: «Наш червяцкий союз, молодецкий союз!»

На первой парте нас сидело трое. Крайним к среднему ряду парт был способнейший и баловливейший ученик, мой товарищ Петька Костогаров, сын главного инженера Ермолинской фабрики. Петька втихомолку курил. Блестяще решал математические задачи, которые любила задавать для самостоятельной работы на классных занятиях учительница Людмила Васильевна. Она давала задания большими порциями, а сама садилась к печке, куталась в шерстяной платок и лишь изредка обращала внимание на особо разбаловавшихся ребят. Оживлялась она лишь в те дни, когда объясняла четко и понятно новые математические теоремы. Щедро ставила в журнал отрицательные отметки, не особенно вникая в ответы ученика и не всегда объясняя сделанные ошибки. Эти ее приемы преподавания у меня, например, на все оставшиеся школьные годы отбили охоту к занятиям математикой. Но в принципиальных вопросах на школьном совете она была справедлива, отстаивала свою точку зрения энергично и упорно.

Однако первые разделы математики, которые я выучил под руководством Сергея Александровича Студова, я любил и хорошо освоил. Он был очень терпелив и благожелателен к ученикам. Над ним посмеивались ученики, особенно одна девочка, которая ухитрилась привязать к поясу его гимнастерки или бантик или хвостик из материи. Он иногда успевал поймать проказниц за руку во время их проделок, благодушно и заразительно смеялся.



С Петькой часто приключались истории. Однажды его долго не было в школе. Я беспокоился: уж не заболел ли он? И вдруг Петька появился. Оказывается, недели две он отправлялся будто бы в школу и вовремя возвращался домой, но все это время играл в «бабки» или «денежки» со своими дружками с улицы. Отец его был крайне удивлен, получив письмо из школы, где говорилось, что его сын в школе не бывает. На следующий же день Петька явился.

Несколько групп нашей школы занималось в здании, стоявшем на высоком холме. Большинство из ребят в течение года спускались по косоугору, обходя крутиху. Петька и некоторые его товарищи, как только выпадал снег, нашли более рациональный и прямой путь: съезжать по крутихе. Они снимали ранцы, клали их себе на живот, ложились на спину и мгновенно соскальзывали по крутихе вниз и оттуда нам, простофилям, показывали языки.

Однажды отец Петьки, будучи у нас в гостях, спросил моего отца:

— Сколько Ваш Павел изнашивает шуб за зиму?

— Да вот он свой полушубчишко третий год носит! Вырос уже из него.

— И нигде его не продрал?

— Нет.

— А вот мой Петька второе пальто за зиму продрал так, что хоть третье покупай. И удивительнее всего, что продирается спина. Как Вы думаете, что он такое делает?

— А мы сейчас Паню спросим. Почему Петька на двух пальто в этом году спину продрал?

— Не знаю, — ответил я, не моргнув глазом. Не мог же я подвести своего товарища и сказать, что он с крутихи на спине съезжает.

Костогаров, смотря на меня пристально, обратился к моему отцу:

— Ведь вот Ваш Павел не очень способен. Мой сын куда шустрее, способнее. Но Ваш, если что выучит, так намертво: ничего не забудет, ответит четко, ясно. Попомните мое слово. Ваш в жизни пойдет дальше моего Петьки. Так-то!

---

---

## ПЕРВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

(Теплоогаревский район Тульского округа Московской области)

Утром дождливого, со снежком, осеннего дня 1930 года, когда я был учеником девятого класса Боровской средней школы «с педагогическим уклоном», после звонка урок математики почему-то сразу не начинался. Через несколько минут к нам, шумящим в недоумении, вошел заведующий учебной частью Архангельский и сказал, что по решению Московского областного отдела народного образования мы должны срочно выехать в Теплоогаревский район Тульского округа<sup>1</sup> в начальные школы разных деревень, где нет учителей и поэтому не проводятся занятия. Это будет нашей педагогической практикой. По ее окончании после зимних каникул мы вернемся обратно, чтобы срочно пройти программу девятого класса и получить аттестат об окончании школы.

Большинство из нас были ошеломлены этим решением. После перемены Архангельский сказал, что мы должны оформить документацию о своей поездке: составить смету расходов на автобус, железнодорожный билет, суточные, проезд от Теплоогаревска до школы. Все это было ново, неожиданно и интересно. Мы занялись, крайне возбужденные, этой работой. Ведь мы уже большие! Но это совершенно новое положение было и страшно. Мне, например, было всего шестнадцать лет. Нам дали два дня на сборы и отпустили примерно в то время, когда обычно оканчивались учебные занятия.

Придя домой, я боялся сказать родителям о предстоящих переменах в нашей жизни. Пообедал и уселся будто бы

---

<sup>1</sup> В то время в Московскую область входило несколько округов: Калужский, Тульский и др.

повторять уроки. Мама, конечно, заметила перемену во мне, но я ей ничего не сказал, хотя мне было совсем не до уроков, и я сидел, нахохлившись, за своим учебным столиком.

В сумерках со службы пришел отец, разделся, как всегда, сразу же подошел ко мне и, посмотрев внимательно, спросил: «Что случилось?»

Я рассказал о предстоящем.

— Это серьезно. Я завтра же пойду в школу.

Утром он был у Архангельского.

— Вы не имеете права отправлять таких молодых ребят работать далеко в другую область...

— Почему же? Ведь немногим больше, чем через полгода, их распределят, и они поедут в разные деревни. Возможно, некоторых из них направят и в более отдаленные округа, чем Тульский. У учеников теперь будет прекрасная возможность подготовиться, проявить самостоятельность. К тому же на день-два я поеду к каждому ученику. Мы посоветуемся. В большинстве школ будут старые учителя, которые помогут им, новичкам, — ответил Архангельский.

— Я скажу своей жене, чтобы она не пускала сына в такую далекую и непосильную командировку.

— Не советую Вам этого делать. Если он не поедет на практику, то будет исключен из школы и не получит аттестат об ее окончании...

Отец встал и ушел на службу.

Вечером он очень расстроенным вернулся домой и сказал маме: «Машенька, к сожалению, Пани надо ехать в Тульский округ на эту злосчастную практику. Иначе он не получит аттестат об окончании школы».

Через два дня я был собран в дорогу. На мне был полушубок из овчин-чернодубок, серая кроличья шапка с ушами, кожаные сапоги с металлическими подковками. В руках я держал большой деревянный желтый чемодан, набитый постельным и носильным бельем; было в нем какое-то количество простых лекарств. Под мышкой — валенки.

Все мы сели в поданный автобус и поехали на станцию Балабаново, посматривая на голые деревья и неровно покрытую снегом землю. Настроение у меня было сумрачное. Шутки Архангельского и высокого, широкоплечего парторга школы Сергеева, других учеников постарше не изменяли моего настроения, хотя я и старался казаться бодрым.

В Москве мы переехали с Киевского вокзала на Курский, получили билеты и отправились на станцию в южной

части Тульского округа, где находился Теплоогаревский район. За окном вагона было темно. Каждый из нас забрался на свою полку, и большинство быстро заснуло. Утром, глядя из окна, я обратил внимание на совсем иную, чем в Боровском районе, картину. Если в нашем районе большую часть его территории занимает лес, то здесь было поле, покрытое местами снегом, а в промежутках, где голая земля, она была черная, черная. «Вот он, чернозем, вот он какой», — пробежала у меня мысль. Не очень уж далеко отъехали, а природа совсем другая.

Вскоре появилась и наша станция. Недалеко от нее был Районный отдел народного образования. Мы ввалились туда толпой в самом начале рабочего дня. Каждого приглашали в отдельности к заведующему отделом в присутствии Архангельского. Когда я вошел в кабинет, меня спросили, куда я хочу поехать. Я ответил, что в школу, где есть опытный преподаватель.

— А как Вы учитесь?

Архангельский сказал, что хорошо.

— А как Вы сами считаете?

Я подтвердил, что учусь хорошо.

— Тогда мы Вас направим в самостоятельную однокомплектную школу, где три группы и всего один учитель. Он же и заведующий школой.

— Так это же очень трудно, и посоветоваться не с кем! — воскликнул я.

— Вот и полная самостоятельность! Все зависит от Вас, от Вас самого. В школе, куда мы Вас направим, около 80 учеников. Там три группы: первая, вторая и третья. Вы ведь мужчина и хорошо учитесь. Значит, справитесь. Направим Вас в Введенскую школу. Правда, далековато: километров 30 от районного центра. Но Вы приезжайте в любое время и в воскресенье и прямо ко мне на квартиру, если меня здесь не будет. Приму Вас приветливо, попросту, в любом случае помогу всем — и советом, и тем, что у меня есть. Да там близко и председатель Сельского Совета хороший. По материальным вопросам — с дровами, с керосином — он Вам поможет.

Не давая мне опомниться, заведующий встал, протянул руку и, улыбаясь, сказал: «Желаю Вам успеха. Не сомневаюсь, он будет». И крикнул: «Марья Петровна! Напишите направление о назначении Васильева Павла Григорьевича заведующим Введенской школой».

Но Марья Петровна смотрела на меня несколько напряженно и будто бы с сочувствием. Отстукав на машинке направление, протянула мне, ободряюще улыбнулась и сказала: «Идите сейчас же на базар и спрашивайте, кто едет в сторону Введенки. Наверняка найдутся приехавшие с той стороны крестьяне. Они отвезут. Порядитесь, поторгуйтесь и поезжайте. Счастливого Вам пути!» И сейчас же, подойдя к своей соседке, шепотом начала что-то говорить ей.

В дверях мне встретился небольшого роста паренек из нашей же школы, худощавый, с ярким румянцем во всю щеку, очень немногословный, но хорошо учащийся — Одинокоев. Как-то получалось, что он почти всегда знал главные новости нашей жизни и редко ошибался в своих суждениях. Он тихонько сказал мне: «Отойдем на минуточку. Ты едешь в школу с очень сложной обстановкой. Недавно там учительнице деревенские парни сделали темную. Она, бросив все, приехала сюда и была направлена в другую школу. Будь внимателен и осторожен».

— А ты куда направлен? — спросил я.

— Тоже в однокомплектную школу, но в другой конец района. Мы с тобой, наверное, скоро не увидимся. — Мы пожали друг другу руки. На мгновение у меня мелькнула мысль попроситься в другую школу. Я даже остановился, но потом решил, что унижительно обращаться с этим вопросом, да и надежды на удовлетворение просьбы было мало.

Крякнув под тяжестью моих вещей, я отправился на базар. Вскоре там встретил крестьянина с подстриженной бородкой и хитроватыми глазами. Хоть, по его словам, и приходилось «давать большого крюка», он подвел меня к саням-розвальням, говоря, что непонятно, на чем в такую погоду ехать, — на телеге или на санях. Снежный покров еще не лег как следует, но сани у него без железных подрезов и лошадка шустрая: «Доедем за милую душу».

В поле от упорного ветерка становилось все холоднее, особенно ногам в кожаных сапогах. По временам я спрыгивал с саней и быстро шел или бежал трусцой рядом. Местность была по преимуществу степная. Громко и заунывно гудели телеграфные столбы. Но вот лесок и холмики.

— Волчья Дуброва, — махнул кнутом вперед и в сторону возница.

Смеркалось, когда мы стали спускаться по крутоватому берегу небольшой речушки. «Вот и Красивая Меча, — указал на нее крестьянин, — а чуть пониже будет и школа. Надо расплачиваться».

«Так мы в тургеневских местах», — вспомнил я Касьяна с Красивой Мечи, соскакивая с саней.

Школа была небольшая, каменная, приземистая, с запертой дверью.

Протягивая деньги и не снимая своих вещей, я сказал, что надо бы подождать. Ведь рядом не было ни одной избушки. Может, придется еще в какую-нибудь деревушку доехать, если в школе никого не окажется.

— Такого уговора не было, — последовал ответ.

— Я накину за подвоз.

— Нее... Такого уговора не было. Мне домой пора.

Чемодан мой и валенки были быстро сняты. Лошадь, получив удар кнутом, рысцей побежала, а возчик насмешливо на меня поглядывал.

Я стал усиленно стучать в дверь. Раздался скрип отворяемой двери, которая, как я думал, вела из внутреннего помещения в коридор, и старческий голос произнес:

— Кто там?

— Новый учитель, бабушка. Откройте!

Дверь приоткрылась, но осталась на веревке. В щели показалась фигура старушки, одетой в ветхое пальто, плавок, а из-под него выглядывали мутные глаза, под которыми по щеке шла яркая, длинная и широкая полоса сажки.

— Ты откуда же пришел, батюшка?

— Я приехал, бабушка, из Теплового.

— Небось озяб, батюшка? Засеверило, студёный ветерок потягивает.

Дверь широко отворилась.

— Проходи, батюшка, раздевайся, лезь на печку. На ней сынина пшеница сушится. Ты разгреби ее. Под низом она теплая, и ноги сунь в тепло, а то, вишь, у тебя сапоги-то кожаные, холодные. Да как тебя зовут-то?

— Павел Григорьевич, а Вас как зовут?

— Зови меня попросту «бабушка Фрося».

Согреваясь на просторной русской печи, я стал оглядывать внутренность школы. Почти всю ее занимала большая комната, в которой стояли три ряда парт. Прикинул, как же размещаются здесь 80 человек? Выходило, что в каждом ряду располагалась одна группа и за каждой партией сидело по три человека.

Напротив комнаты сторожихи была еще одна комнатка побольше.

— А для кого же соседняя комната?

— Здесь до тебя жила учительница.

Надев валенки, я прошел туда. В комнате был маленький столик, рядом с ним табуретка, а у стены — деревянный топчан, на котором лежали снопики соломы. За мной, неся зажженную маленькую керосиновую лампочку, прошла сторожиха.

— В этой комнате и жила учительница?

— Известно. Здесь и жила. Плохо жила.

— Бабушка, школа стоит на юру. Ни одной избы рядом. Почему?

— А она для трех деревень: Введенки, Доробино-Колодец и поселка Подосинового.

— Уж лучше бы жить учительнице у какого-нибудь крестьянина да сговориться с ним о питании.

— Говорила, боязно до деревни ходить.

— Ближайшая деревня далеко?

— Нет, совсем рядом, за поворотом реки, на другом ее берегу. Да вот плохо. Весной в разлив речку-то не перейдешь. Переправы нет.

— Как же ученики?

— Тогда с той стороны ребята в школу не ходят.

— Занятия прекращаются?

— Не-е. Из двух деревень ребята учатся, а из третьей не приходят.

— Надо бы позвать кого-нибудь из членов школьного Совета, а может быть, и всех их позвать? Сговориться о начале занятий и созыве учеников.

— Это я минтом. Ты посиди тут, а я сбегаю к сыну. Он недалеко живет и их быстро приведет — всех троих стариков.

Через некоторое время пришел старый, бодрый, широкоплечий крестьянин в овчинном, окрашенном желтой глиной полушубке, с бородой почти до пупа.

— Я Солдатов, председатель школьного Совета, — представился он. — Сейчас подойдут другие, и мы сговоримся о Вашей работе.

Действительно, скоро подошли двое других членов, оба с большими бородами и в полушубках, сели у стола с маленькой керосиновой лампочкой. Несколько поодаль от стола учителя сел сын сторожихи.

Большое учебное помещение было полутемным. На стене еле был виден старенький портрет В.И. Ленина. В задних углах парты едва просматривались.

— Побольше лампы нет? С этой ведь совсем темно.

— Большая течет. Нельзя ее зажигать, — молвила сторожика.

— А как же занятия?

— Занимаются только днем.

— Молодежь по вечерам не собирается?

— Молодежь собирается у одной старухи на посиделках недалеко отсюда.

— Товарищи члены школьного Совета, — начал председатель. — Перед вами молоденький учитель. Его надо поставить на хорошую квартиру, чтобы накормлен был, обстиран. Изба чтоб тихая, теплая была, удобная для проверки тетрадей. Я думаю, что подходящее место будет у Михаила Алексеевича Фирсанова. Изба у него большая, теплая, недалеко от школы. В передней горнице — деревянный пол (у большей части крестьян у нас полы земляные). Хозяйка аккуратная, хорошо готовит, все домашние обстираны, маленьких детей нет. Характер у мужика добрый. Правда, иной раз выпьет, но при учителе будет держаться в норме. Как думаете, товарищи члены школьного Совета?

— Правильно говоришь. Иди проси Михаила Алексеевича и от школьного Совета и от мира трех деревень, — сказал второй член Совета.

— Развяжи Христа ради, — встал и поклонился мне третий член Совета. — Я казначей школьный. У меня в сундуке 90 рублей школьных денег лежало. Мы миром ежегодно школьный участок земли запахиваем, урожай собираем, продаем, а деньги — школьному Совету на разные нужды. Осенью недавно 90 рублей получили и все мне отдали. Большие деньги. Старуха ругается. Долго ли до греха?

Он вытащил деньги, что были за пазухой, и протянул мне: «Пересчитай. При всех отдаю. Все видели?» Я пересчитал деньги и протянул расписку. Он бережно сложил ее и сунул за пазуху.

— Нет больше дел для обсуждения на школьном Совете? Нет! Что ты теперь будешь делать, Павел Григорьич? Может, сразу и пойдем к Михаилу Алексеевичу?

— Думаю прежде всего просить членов Совета оповестить, чтобы завтра в 9 часов утра все ученики пришли в школу на занятия. С учебниками, тетрадками, карандашами или лучше — с чернильницами и ручками.

— Вот это дельно. Скажите всем соседям, чтобы послали парнишек по деревням во все три деревни. Сказали бы, что завтра с утра будут уроки. Все чтоб были в школе



без опозданий. Благодарю тебя, учитель, что сразу берешься за дело. Это — по-нашему, без околичных разговоров начинать. Теперь пойдем к Михаилу Алексеевичу, да и вещички твои захватим. В нашей просьбе не откажут. — И кивнул сыну сторожихи: «Бери, мол, вещички учителя».

За поворотом мы втроем перешли речку по узеньким лавам и направились к тускло светившимся маленьким окошечкам крайней избушки, сложенной из известкового камня и крытой соломой.

— Почему изба сложена из известкового камня, а не деревянная?

— Потому — местность наша безлесная. Деревьев на избыные стены и на полы и на дрова нет. Только для школы издавеча отпускают дрова, а сами мы топим печи соломой. Да ты обзаведись хорошей палкой и внимательно поглядывай кругом. У Михайлы больно паскудная собака: не лает, а подкрадется к чужому человеку сзади, куснет и бежать. Мы уж эту ее повадку знаем. Будь осторожен, пока она к тебе не привыкнет.

Когда мы подошли к избушке, внезапно из-за угла выскочила собака и молча бросилась к нам. Председатель взмахнул палкой. Собака, отскочив, заливисто залаяла.

Солдатов постучал палкой в запертую дверь избы.

Скрипнула открываемая внутренняя дверь, и сипловатый мужской голос спросил:

— Кто там?

— Михал Алексеич! Это мы к тебе от школьного Совета и от общества трех деревень с просьбой. Открой!

— Счас...

Дверь распахнулась.

— Проходите.

Через едва освещенную часть двора с плотными стенами (где содержались скот и птица), покрытую вместе с избой толстой соломенной крышей, мы вошли в прихожую с большой русской печью, напротив которой помещались в два ряда полати. Земляной пол, чисто выскобленный обеденный стол, деревянные лавки вокруг него. В сторонке с тусклой керосиновой лампочкой стоял небольшого роста, широкоплечий мужчина и с улыбкой приглашал нас пройти в чистую горницу — с деревянным полом, столом, лавками и табуретками, иконой в переднем ряду. Из чистой горницы двери вели в маленькие две комнатки, где, очевидно, спали женщины, — члены семьи.

— Садитесь.

Мы расстегнули полушубки и сели вокруг стола. Солдатов знаком показал мне место в переднем углу под иконой.

— Михал Алексеич, к тебе большая просьба и от школьного Совета и от мира трех деревень. Возьми на квартиру нового молоденького учителя. Зовут его Павел Григорич.

Я встал и поклонился.

— Показал он себя с самого начала хорошо. Сегодня только приехал, а уж на завтра назначил ученье. Надо, чтобы жил у тебя в передней горнице, был хорошо накормлен, обстиран. Мыться будешь с ним в твоей большой русской печке. Согласен?

— Ежели по просьбе школьного Совета и мира трех деревень, то не согласиться нельзя. Согласен.

— Павел Григорич! А какое тебе положили жалование за службу учителем? — спросил Солдатов.

— Семьдесят рублей в месяц и за заведование школой и за обучение ребят.

— Деньги немаленькие. За месячное жалование можно костюм купить. Ну, так сколько, Михал Алексеич, возьмешь в месяц с учителя за все?

— За деньгами не погонюсь. Двадцать рублей в месяц за все. Раз школьный Совет и общества трех деревень просят.

— Я могу и больше заплатить.

— Нет, не надо. Я правильную цену сказал.

— Теперь надо уговориться о кормежке учителя. Утром — завтрак перед тем, как в школу идти. Потом днем — обед. Вечером — чай. На ночь — ужин. Молока — вволю. Когда запустишь корову перед отелом — о молоке договоритесь с соседями. Сахар и чай — учительвы. Керосин — школьный. Кровать учителю, думаю, поставить надо у средней стены в горнице. Так теплее будет. Кормить и поить учителя в горнице. Все, — рассудил Солдатов.

Но тут вступился сын школьной сторожихи.

— Надо и обо мне договориться. У мене кобыла жеребаная. Прошу ее ослобонить от работ на обчество. Буду возить учителя в Теплое. Говорили, в школе учебников, тетрадок нет. В Теплом для учеников обувь, одежду продают. Для бедных и больших семейств. Учителю не один раз в Теплое надо в месяц ехать. Прежняя учительница обо всем этом заботы не имела. Я буду возить учителя в Теплое по школьным делам.

— Это дело Сельского Совета. С председателем договаривайся, а мы за тебя слово скажем.

Попрощались.

Теперь распоряжаться стал Михаил Алексеевич.

— Вы, ребята, не балуйте, учителю не мешайте. Ты, Алена, — обратился он к жене, — корми учителя как следует быть и за бельем его смотри. Вы, Ванька и Колька, тащите деревянную койку, что на чердаке, и поставьте, как сказал Солдатов. Ты, Алена, Машка и Грушка, набейте матрац свежим, мягким сеном, устройте постель. Постельное белье, что вам даст учитель, положите как следует быть. Спать будем, как прежде: Ванька с Колькой — на полатях, я — на печи, ты, Алена, и девки — в комнатушках за горницей. Грушка! Тебе ставить самовар и поить учителя чаем, как придешь из Яковлевской школы, — каждый день.

На следующее утро, когда еще не брезжил рассвет, со двора в комнату, где затопили соломой русскую печь, впустили овец. Когда они поели, пустили кур и гусей. В это время я оделся, позавтракал. Рассветало. Пошел в школу. На улице перед входом в нее да и в самой школе толпились ребяташки.

Расселись все за парты: каждая группа — за отдельный ряд парт, все три группы. Поздоровались. Ребята были неорганизованными, распушенными. Пока я давал задания одной группе, две другие баловались. Выяснилось, что в первой группе совсем не было букварей. В других группах учебников было гораздо меньше, чем учеников. В лучшем случае на двух человек — один учебник, растрепанный, с недостающими страницами. Больше двух десятков учеников носили фамилию Воробьевых. Из них трое были Воробьевыми Василиями Васильевичами.

После первых двух уроков я решил, что вести занятия одновременно с тремя группами я не могу. Получалось нечто похожее на кошмар. Что же делать?

Вести занятия в две смены. Но как это сделать правильно? Ведь до поселка Подосинового более трех верст. Ребята идут в школу и из школы вместе. Если разбить группы на две смены, то вместо двух кучек ребяташек из каждой деревни их будет четыре. Одна кучка будет идти к началу занятий в первую смену, а потом возвращаться домой. Вторая пойдет ко второй смене и возвращаться обратно будет уже в темноте. А заниматься как? Начинать рано утром и кончать поздно вечером? В школе нет ни одной большой исправной лампы. Ребята из трех деревень придут в школу неточно. Пришедшие во вторую смену будут шалить и ме-

шать занимающимся в первую смену. И все же я решил: две смены. Хоть в деревнях не в каждом доме есть часы, хоть приходящих во вторую смену надо пускать немедленно в школу (наступали морозные дни, и на улице ребята простудятся), но помещать их надо в бывшей комнате учительницы, где поставить скамейки и табуретки.

На последнем уроке объявил о занятиях в две смены. Ребята с удивлением загалдели. И чудно и интересно. Никогда раньше такого не было. Сказал ребятам, чтобы позвали членов школьного Совета вечером на заседание.

Пришли три знакомые бороды. Не спеша расселись вокруг столика с малюсенькой керосиновой лампочкой. Переглянулись не один раз. Видно было: в деревнях бурно и заинтересованно обсуждали мое решение. Наконец, Солдатов медленно и степенно заговорил:

— Ладно ли ты решил, Павел Григорич? Посуди сам. Такого здесь раньше никогда не было. Многие мужики недовольны. И рано ребятам вставать, и поздно домой приходиться, и порядок в семьях вроде бы разлаживается. Возьми хоть обед. Всегда все вместе садились за стол. Из одной чашки хлебали, в одно время, когда ребята из школы приходили. А как теперь? В большой семье, где много ребят и в школу идут они не в одно время? И тебе самому. Мыслимо ли каждый день по семь часов ребят учить? Ведь голова кругом пойдет. Да и говорят, что тебе надо еще неграмотность ликвидировать — взрослых неграмотных и малограмотных учить.

— Неграмотность ликвидировать я не возьмусь. Сил моих на это не хватит. Да и среднюю педагогическую школу я еще не окончил. А вот о двух сменах с родителями поговорить надо. И вы мне помогите. В школе, я вам прямо скажу, положение неблагоприятное. Для первой группы букварей нет. Учебников не хватает. Тетрадей нет. Большой исправной лампы ни одной нет. Так учить нельзя. Послезавтра поеду в Теплое со списком всего недостающего. Сагитируйте хозяйственного крестьянина с хорошей лошастью, чтобы выехать рано до рассвета. Все, что надо, надеюсь получить в Отделе народного образования райисполкома. Найдите большой прочный бидон или два для керосина. Если не все нужное найдется в райисполкоме, а будет в магазинах — разрешите расходовать деньги школы, которые мне передал казначей. Когда вернусь и проучу ребят недели две в две смены, соберем родительское собрание. Обсудим, как идет

обучение. Выслушаем пожелания родителей. Разумные советы постараемся выполнять.

— Родительских собраний у нас никогда не было. Дело нужное. Все придуть. И деды придуть. Каждому интересно знать, как мой-то али моя-то в школе учатся.

В назначенный день, задолго до рассвета, крестьянин плотного телосложения, с проседью в бороде, на хорошей лошади подъехал к домику Михаила Алексеевича. Оба мы были в тулупах, валенках. Крестьянин был обстоятельный, немногословный, надо полагать, зажиточный. Валенки были далеко не у каждого крестьянина. Большинство носило плетеные чуни и анучи из льняной материи, которыми обертывали ноги и обвязывали веревочками. Лошадка довольно быстро дотрусила нас по только что выпавшему снегу до Теплого, где я получил почти все необходимые вещи, включая несколько больших керосиновых ламп. Только букварей для школьников первой группы не было. Вместо них мне дали книжки, по которым проводилась ликвидация неграмотности у взрослых. Начинались эти учебники словами «Наш Октябрь». С горечью и недоумением размышлял я о том, как буду растолковывать маленьким ребятишкам чтение и написание такого сложного слова: «Октябрь». Надо было начинать уроки первой группы по самостоятельно продуманной методике, учить расчленению простых слов на слоги и буквы, главным же пособием сделать черную классную доску и мел.

Такова была реальная жизнь и деятельность учителя первых групп однокомплектной сельской школы.

На уроках педологии<sup>1</sup> нас учили совсем другому, особенно нажимая на политические аспекты. Это наносило катастрофический удар по начальной сельской школе, вероятно затрудняя работу и само житейское положение, особенно молодого, начинающего учительства. Вело к бегству учителей сельских школ на любую другую работу в городе. Этому же способствовала житейская неустроенность.

Сани-розвальни наполнились полученным имуществом, которое сноровисто уложил и увязал мой возница.

— Надо бы теперь выпить на обратную дорогу. Ведь, почитай, еще тридцать верст по ненакатанному пути. Да и поземка понемногу снежку подсыпает. Согреемся, выпьем, закусим и в обратный путь.

---

<sup>1</sup>Так называлась в то время дисциплина, в которой пытались объединить основы педагогики и методики преподавания в школе.

Я купил поллитровку водки. Впервые в жизни выпил половину стакана и даже крикнул. Остальное с удовольствием в убогонькой столовке-трактире докончил возчик-крестьянин. Закусили черным хлебом со свиным салом, похлебали горяченького. Лицо моего спутника повеселело вначале, но потом опять нахмурилось.

— Видишь, Павел Григорич, как жизнь оборачивается. Коллективизация идет. Вот и мою лошадку собираются обобществить. И у всех других. Счас мы люди вольные. Захотел — запряг, поехал, когда хочу и куда хочу. А тогда? Мы будем как собаки на цепи. Лошадь без спросу не возьми. Счас у меня и плуг, и борона, и лошадь, и коровенки, и овечки, и свинка, и место, куда зерно ссыпать, где просушить, куда картошку ссыпать, сено, солому сложить. Все определено. А тогда? Все хозяйство перестраивать надо: конюшню, коровник, телятник, свиноводник, овчарню. А работа? Ведь, почитай, в хозяйстве без ругани не обходится. А сыновья подрастут — жениться. Ладно. Иная баба ничего, а иная — черт ее задерит. Старуха со снохами справиться не может. Хозяин чересседельником<sup>1</sup> сноху учить, а сын за нее. Половину бороды у отца выдереть. Что делать? Делиться. Справное хозяйство делить? И часто дележка не без драки. И так в одном хозяйстве у родного отца. А как будет, когда вся деревня — один колхоз? Глядишь, ни оглянуться, ни сообразиться не дадут. Похоже, на всю крестьянскую жизнь замахиваются. А она, может, больше тыщи лет так шла? Конечно, Советская власть у помещиков землю взяла. Справедливо. Земля должна быть у того, кто на ней трудится. Но рушить хозяйство крестьянина? Очень, очень сумлительно. А посмей пикнуть — кулак, подкулашник. В Сибирь, а иной раз и того хуже. У mine, например, весь ум раскорячился. А ты што скажешь? Ведь учился?

— Моя забота, прежде всего, толково учить ребятшек грамоте. Как вести правильно крестьянское хозяйство, мне самому учиться да еще раз учиться надо. Как колхозы строить, наверное, люди не глупее нас думают. Плохому учить не должны.

А сам размышлял. Разговор получился очень опасный. Нельзя высказываться, да и определенной точки зрения у меня самого тогда не было. Так мы и ехали молча оставшаяся часть пути, размышляя каждый о своем. Глубокими

---

<sup>1</sup>Чересседельник — узкий толстый ремень лошадиной сбруи.

сумерками сложили полученное имущество у сторожихи в школе. Доехали до избы Михаила Алексеевича. Я пошел ужинать, а крестьянин укатил домой.

Мой быт в крестьянской семье сложился довольно четко и определенно. Вставал на рассвете, когда затапливалась соломой русская печь. Одевался, умывался, завтракал и шел учить ребят. После трех-четырёх уроков приходил домой, обедал.

В это время Михаил Алексеевич полулежал на печи и смотрел, как обедаю, изредка бросая краткие реплики своим домашним дать мне чего-нибудь, если чего-то не хватало на столе в горнице. Когда занятия шли в две смены, после обеда я опять шел в школу. К концу последнего урока у Груши был готов самовар, и, когда я приходил домой, она приносила мне стакан чая. Как только я его выпивал, с печи слышался голос: «Грушка!» Бегом, всегда с улыбкой Грушка шариком подкатывалась ко мне со вторым и, как правило, последним стаканом чая. Потом я готовился к урокам следующего дня, иногда проверял тетради, а изредка шел версты за три в соседнюю деревню Яковлево. Там была двухкомплектная четырехклассная школа, где преподавала симпатичная, гостеприимная семья учителей Глаголевых, которые ко мне очень хорошо относились. У них еще не было детей, и глава семьи всегда успокаивал меня, рассказывал интересные истории из школьной жизни.

— И чего Вы волнуетесь? Что Вас беспокоит? Все у Вас идет хорошо. Что можно спросить с учителя, который принял брошенную в начале года школу? Стал по своей инициативе вести занятия в две смены. Ему две зарплаты платить надо, низко кланяться. А ему все кажется, что у него что-то не получается, что-то не ладится. Ребята шумят, не слушаются. Да они же ребята. Им и по натуре ребячьей и шуметь, и двигаться, и даже озорничать полагается. Конечно, в определенных рамках. Я бы на Вашем месте никогда на себя такое ярмо не надел. Вести по семь уроков в день! Ни один инспектор не только упрека, а замечания Вам сделать не имеет права. А неполадки какие, неприятности (где их не бывает) — к нам. Рядом прекрасный человек — председатель Сельского Совета Проклюшин. Заступимся, в обиду не дадим, выручим.

Конечно, и в семье Глаголевых дело было не без греха. Иногда сам глава выпивал, особенно когда уходил на кустовое учительское совещание. Его жена не любила туда от-

правляться и обычно сидела дома. После совещания поддавали некоторые здорово. Один из учителей нередко не удерживался на ногах, падал и, сидя в луже или на снегу, махал рукой, продолжая декламировать какое-нибудь стихотворение. Сам Глаголев однажды в метель, сбившись с дороги, забрел на винокуренный завод, перелез через нехитрый его заборишко и в валенках, полушубке и тулупе угодил в чан с остывающей бардой. Хорошо, что сторожа услышали его крик, с трудом вытащили в намокшем полушубке и тулупе и без одного валенка.

Как я ни старался изо всех своих силенок и в две смены, занятия шли туго. Но крестьянство стало относиться ко мне дружелюбнее. Еще издали, особенно старики, снимали шапки и уважительно кланялись. Видимо, усердие и старание мои были замечены. На уроки изредка стали приходить крестьяне. Всех пришедших я пускал садиться на заднюю парту. Пускал во время перемен с условием, что пробудут весь урок и задавать вопросы станут только после его окончания. Особенно участились посещения после того, как я, пользуясь зажженной лампой и глобусом, в третьей группе наглядно показал движение Земли вокруг Солнца и разъяснил смену дня и ночи.

И вдруг однажды произошло совершенно неожиданное для меня событие, резко изменившее отношение ко мне крестьян.

Очень усталый после второй смены, идя домой, я заметил, что в чистой горнице ярко горит лампа. Обычно до моего возвращения из школы ее не зажигали. На лавках сидело трое незнакомых мне людей в расстегнутых полушубках. Один из них — маленького роста, узкий в плечах, с длинненькой, худенькой, седенькой козлиной бородкой хитровато на меня поглядывал. Поздоровались.

— Павел Григорич, — сразу начал он. — У меня племянница в школе крестьянской молодежи, что в семи верстах от нас, учится. Сегодня — суббота. Пришла домой. Никак не может решить задачу. Может, поможешь решить ее?

— Дайте посмотреть условия задачи.

Передали лист бумаги с записанными условиями. Я понял, что задачу решить можно, зная алгебраические уравнения и умея извлекать квадратный корень. Это было для меня посильно. Посидел, повычислял и получил ответ. Но подумал, что для школы крестьянской молодежи задача непосильна. Посмотрев на цифры ответа и на меня, с удивлением Козлиная Борода сказал, что ответ правильный.



— Откуда Вы знаете?

— Так в задачнике есть ответ, — несколько замявшись вначале, нашелся Козлиная Борода. «Тут что-то не так», — подумалось мне.

— Для учащихся школы крестьянской молодежи задача трудна. Даже, пожалуй, нерешимая задача. Видимо, там очень хороший учитель математики.

— Да уж. Учитель очень хороший.

— Объяснить же Вам ход решения задачи не берусь. Надо Вашу племянницу позвать. Если она знает алгебраические уравнения и умеет извлекать квадратные корни, попытаюсь объяснить. Арифметически же объяснить решение задачи не могу.

— Племянницу приводить не будем. Спасибо.

На следующее утро, едва я переступил порог учебной комнаты школы, ребята встретили меня восторженным визгом. Некоторые из них подпрыгивали, стоя за партами и даже хлопали их крышками. Я остолбенело стоял у двери, ничего не понимая, и стал махать руками, чтобы перестали визжать.

Наконец, один парнишка проорал громким голосом:

— Павел Григорич! Вы вчера решили нерешимую задачу. Экзаменовал же Вас старый волостной писарь<sup>1</sup>. Хитрющий. Никакой племянницы у него не было и нет.

Ребята ликовали. Их учитель — ведь им гордиться можно — нерешимую задачу решил. «Вот какой у нас учитель. Волостной писарь бывший подкузьмить хотел, и не вышло», — перешептывались и посмеивались они.

Занятия продолжали проходить трудно. Не удавалось наладить хорошую дисциплину. За семь часов очень уставал. Скучал по родителям, их ласке. Поздним вечером беззвучно плакал в подушку.

В школе по вечерам приехавшие в Сельский Совет уполномоченные по коллективизации (главным образом — партийцы, рабочие тульских заводов) начали проводить собрания, агитируя вступать в колхозы. Мне поручали писать протоколы. Против вступления в колхозы были женщины. Мужчины в большинстве своем боялись говорить и угрюмо помалкивали. Вышедшая замуж старшая дочь Михаила Алексеевича, жившая в другой семье, однажды пе-

---

<sup>1</sup> В дореволюционной России губернии разделялись на уезды, а уезды — на волости, во главе которых были волостные управления.

няла мне, что я на собраниях по вступлению в колхоз и в президиуме сижу, и протоколы пишу, и вроде бы за колхоз иной раз говорю.

— Смотри, беду себе наживешь. Мужики сердчают. Тут шутки плохи.

— Положение мое такое, что отойти мне в сторону нельзя. Школу окончить не дадут. Ни про одного крестьянина я недоброго слова не сказал, под удар никого не поставил.

Михаил Алексеевич все время отмалчивался. Хозяйство у него крепкое: две лошади, корова, овцы, свинья, много птицы. Горница в избе с деревянным полом. Но никогда никого в горячую пору на работу не нанимал. Твердым заданием не облагался<sup>1</sup>. Но до меня доходили слухи, что бедняки-крестьяне поговаривали: если бы у него не пропала в этом году гречиха — а засевал он ее много — обложили бы его твердым заданием. В деревнях обстановка накалялась.

Однажды пожилой уполномоченный туляк, внимательно глядя на мое лицо, произнес: «Никак ты сегодня, учитель, плакал? Обидел кто? — И не обижал никто и не плакал. — Ну как не плакал? Вон какие подтеки слез на щеках отмечены. Ты поди умойся или оботришь хорошенько снежком, потом полотенцем».

— Трудно мне. Семь уроков каждый день. Дисциплина у ребят плохая. Дрова в школе кончаются. Ребята сидят в шубенках. В морозные дни из поселка Подосинового в слезах приходят — очень замерзают в поле на ветру. Закоченелыми ручонками расстегнуться многие не могут. Сам их расстегиваю, а некоторые девчонки говорят мне: «Вы, Павел Григорич, нам как отец родной».

— Да, понимаю. Трудно тебе. Собери еще раз школьный Совет. Скажи им, старикам, что стыдно им, ежели внуки их в школе мерзнут. В каждом крестьянском дворе ведь лошаденка есть. Пусть далеко, больше пятидесяти верст в один конец ехать в лесничество надо, но пусть расшевелят народ. Ежели тянуть будут, мы их через Сельский Совет тряхнем. Сам, хоть ты и парнишка молодой, мужайся. Становись мужиком. Ты на деревне учитель — первый человек. Держи себя в руках.

---

<sup>1</sup>Твердым заданием по сдаче хлеба государству облагались богатые крестьяне-кулаки.

Опять собрал я школьный Совет. Его члены расселись мрачные. Заговорил Солдатов.

— Нехорошо, члены школьного Совета, получилось. Разве дело, что от недогляда и лени отцов ребятишки в школе мерзнут? В каждой деревне сказать, чтоб к следующей неделе в школу дров привезли полностью. Чтоб раскололи на поленья, сложили в порядке в снях. Вели, Павел Григорич, чтобы сторожиха топила печь как следует, дрова не жалела. Пусть «десятидворщики» очередь установят, кому за дровами ехать. Что? Мы сами без Сельского Совета порядок навести не можем? И ты, Павел Григорич, за всем школьным хозяйством смотри. Не только ребятишек учить, тетрадки проверять. Какие грязные в школе полы. Небось, с того времени, как приехал, в школе полы не мыли? Нешто это дело? Мы снарядим баб, чтоб мыли. Старухе-сторожихе это не под силу. Ты тут в школе надо всем хозяин должен быть. Нас за бока бери. Сам в Сельский Совет к председателю Проклюшину наведайся, хоть он и за семь верст от школы. Обживайся у нас как следует. Человек ты старательный. Мужики тебя уважать стали. Кончишь школу — приезжай к нам насовсем или обещаю до конца пятилетки у нас оставаться.

Со стороны казалось, что дела я веду нормально. Далеко не каждый, как старый, с проседью партиец, замечал, что по временам украдкой слезинка пробежит по моей щеке, когда я один. Но труден мне был, непосильно труден воз управления сельской школой в годы коллективизации! В одном из писем отцу я рассказал об этом. «Думал ли ты, что в минуты малодушия твой сын дойдет до того, что будет плакать?» — писал я.

— Машенька! Собирайся и поезжай, посмотри, как дела у Пани. Я служу. Отпуск уже использовал. За свой счет отпуска мне не дадут.

— Гришенька! Сестра Клавдия говорит, что с удовольствием съездит к Пани. Попросим ее?

— Нет. Такую поездку могут сделать только два человека: я или ты. Теперь моя поездка исключена. Ехать должна ты. Но помни. Ты едешь не к своему ребенку — Пани. Ты едешь к серьезному, ответственному сельскому учителю.

Мама смахнула слезинки, собрала скоренько нехитрые пожитки и отправилась в дальнюю тульскую деревеньку повидаться со своим Паней — мальчиком, сыночком, которому там почему-то плохо. Своей поездкой она внесла

серьезные осложнения в мою жизнь. Слов отца о том, что я ответственный человек, учитель, заведующий школой, она не поняла.

Вечером, когда почти стемнело и я оканчивал последний урок, ко мне в класс пулей влетел младший сын хозяина Коля и громко крикнул: «Павел Григорич! К Вам мать приехала. У нас сидит, отогревается. Очень замерзла. Кончайте скорее, идите домой». Быстро окончив урок, я почти побежал домой.

Там горячие объятия, поцелуи, обильные слезы радости — цел, здоров. Но живу грязновато. У нас в лесной местности у крестьян не было таких изб без деревянного пола, запаса сухих дров, просушенных еще летом. Так это делалось хорошими хозяевами в Калужском округе.

Перед тем, как сесть ужинать, мама стала молиться. Я встал рядом с ней, но не молился — ведь кругом хозяева, крестьяне. С удивлением она отвергла мои знаки, что молиться не надо. Ели мы с ней вдвоем в горнице. Спать ее положили на отдельную кровать.

На следующий день ученики школы обсуждали, что мать нашего учителя вчера молилась. Значит, и он верует в Бога. Об этом стали спрашивать меня и ученики и крестьяне. Морально мне это было тяжело<sup>1</sup>.

На третий день мама собралась уезжать. Утром, как всегда, до рассвета я встал, позавтракал и ушел в школу. Пришел к обеду после первой смены. Мама уже собралась. Стояли сани. Сидел хозяин лошади, согласившийся ее отвезти.

— Что же ты долго не шел? Мы ведь ждем, — стала упрекать меня мама.

— Я учитель. Мне нужно было закончить уроки, отпустить домой первую смену учеников. Извини меня.

Она с удивлением смотрела на меня. Как будто прозрела. Перед ней стоял уже не ее милый мальчик Паня, а кто-то другой. И он и не он. Сбежала с ее лица сердитость. Порывисто схватила меня в объятия, поцеловала несколько раз, намочив мои щеки побежавшими слезинками.

---

<sup>1</sup> *Примечание.* П.Г. Васильев вырос в религиозной семье со строгими моральными устоями. Верность высоким нравственным принципам сохранится у автора на всю жизнь. Читал он и издавна сложившиеся церковные традиции. Но отношение ученого к философской сущности религии с годами менялось, более сложным становился взгляд на отношение идеалистических форм сознания к реальной действительности.

— Милый! Храни тебя Бог! Скорее приезжай к нам на зимние каникулы. Будем все тебя очень, очень ждать. Прости, если что делала не так — не все поняла. И теперь еще не все понимаю, люблю тебя.

В своем полушубочке и валенках я подошел к стоявшим розвальням. Помог ей сесть. Прошел вслед за санями, махая рукой, пока не скрылись они за поворотом. Вернулся. Пообедал и медленно пошел в школу проводить уроки второй смены.

И потекли опять дни школьной жизни в растревоженной проводимой коллективизацией деревне.

Вечером одного из дней я услышал резкий стук в дверь и взволнованный женский голос: «Михал Алексеич! Пусти нас с парнишкой к учителю. Расхватил озорник ножом сильно руку. Кровь веревочкой течет. Может, сделает что-нибудь?»

Входя в горницу, мать, крестьянка в желтом полушубке, подводя ко мне паренька, говорила: «Павел Григорич! Гляди, как здорово озорник искровянился. Может, завяжешь как? Порез глубокий. Загноиться может. Да и кровь надо бы остановить. А сам-то у меня уехал. Только послезавтра обещал вернуться».

— Пусть мальчик снимет полушубок, закатает рукав на рубашонке, чтобы полностью была видна рука. Груша! Нацеди из самовара воды в миску. Промоем ранку, посмотрим. Ранка, кажется, не глубокая, но длинная.

Промыл. Достал пузырек с йодом. Смазал ранку. Завязал бинтиком. «Дня через два-три должна зажить».

На следующей неделе опять застучали в дверь. «Михал Алексеич! Пусти к учителю. У девочки горло шибко болит, и горит вся, как в огне».

— Да что ты вторая к учителю с хворью? Что он хвершал ай доктор? Павел Григорич! Пустить!

— Пустите.

У девочки были красные щечки. Приложил ладонь ко лбу — жар. Поставил градусник — около 39 градусов. «Девочка, видимо, серьезно больна. Надо ее хорошенько укутать и везти в Теплое к врачу или фельдшеру».

— Да что ты, Павел Григорич! По такому морозищу тридцать верст! Это ведь девку загубить.

— Поезжайте на лошади. Может, доктор сюда приедет? Или фельдшер?

— Да тут на весь район один доктор. Да и хвершалов-то всего два или три. К нам в такую даль никто не поедет.

— А поближе какой-нибудь лечебный пункт есть?

— Ничего нет. Посоветуй сам, что делать. Ведь вся огнем горит, и горло болит.

— Могу дать борную кислоту — порошок такой. Разведите в кипяченой воде и давайте полоскать горло несколько раз в день. — Наглядно показал, как надо полоскать горло. — После полоскания жидкость надо выплевывать в ведро или лохань. Если есть другие ребяташки, пусть к больной девочке не подходят. Все горловые болезни заразные. От одного человека к другому переходят. А все-таки надо бы ее отвезти в Теплое. Двумя тулупами накрыть. Сенца побольше мягонького в сани положить, и хорошо довезете.

— Не. Мы не согласны. Не повезем.

— Ну, как знаете.

В школе заболело горлом несколько учеников. На третий день и я почувствовал недомогание, боль в горле, жар. Вечером температура была больше 38 градусов.

— Михаил Алексеевич! Скажите Ване и Коле, чтобы оповестили в деревнях: завтра занятий не будет. Учитель захворал. Сторожихе школьной скажите, чтобы утром сын был с лошадьё и санями здесь — повезет меня в Теплое к доктору или фельдшеру.

— Сильно горло болит?

— Сильно, и жар больше 38 градусов. А завтра и все 39, наверное, будет. Познабливает.

— Тогда лезь ко мне на печку. Здесь больно тепло. Согреешься. И до утра тепло будет. А утром тебя отвезут в Теплое.

— Так я заразить Вас могу. Вместо одного — двое больных будет. На печку не полезу.

— Зря. Я мужик здоровый. Никогда ничем ни от кого не заражался. Полезай. А?

— Пока воздержусь.

— А ты как? В больницу лечь думаешь или обратно приедешь? На улице-то студено, да и ветерок.

— Обратно приеду.

— Правильно. Сенца побольше в сани положите. Надень мой тулуп теплый с большим воротником. Воротник выше шапки. У своей заячьей шапки уши опусти, шею шерстяным платком жены моей заверни. Поверх воротника мы тебя еще чем-нибудь обвяжем. За милую душу туда и назад доедешь. Не застудишься. Дышать в воротник старайся.

Действительно, доехали до Теплового «за милую душу». Старенький бородатый фельдшер посмотрел внимательно

горло, на градусник: «Больше 39 градусов. И откуда Вы приехали? Из Введенки? Далековато. И опять туда собираетесь? А может, у нас в больнице останетесь? Конечно, у нас не ахти как. Но ведь морозно. Почти тридцать верст! Оставайтесь! — Нет, поеду назад. — Тогда я Вам больничный лист сразу дней на десять дам. Конечно, это не полагается. Но мы сделаем так. Я в нем не укажу, когда Вам надо явиться, а дам Вам записочку, чтобы, если меня не будет, другой фельдшер или доктор все оформил. Записочку и больничный лист, кроме наших, до окончательного оформления никому не показывайте. А договоренность такая: десять дней. Если поправитесь и сможете приехать раньше — приезжайте».

— Вы мне дайте или выпишите полосканий или других лекарств побольше. У нескольких ребят в школе горло болит.

— А Вы не только учителем, но и медицинским работником функционируете?

— Иногда приходится.

— Рискуете. Вдруг вспышка скарлатины? Старайтесь направлять к нам. Уговаривайте.

— А Вы сами в трудных случаях к нам приехать не можете?

— За тридцать верст? С кадрами медиков плохо. На весь район — один доктор. По существу, почти весь воз мы, фельдшера, везем. Выздоровливайте скорее. Тогда опять к нам. И лекарство внутрь я Вам выписал.

Вернулся я поздно и плохо себя чувствовал. «Как хочешь, но я положу тебя на печку. Сам же я, чтобы свободней было, перейду на полати, где парни мои. Места там всем хватит. Если что будет нужно, шибче зови, ежели будем спать. Все сделаем». Неделю пролежал. Почувствовал зуд. Обнаружил вшей. Сменил белье, перешел на свою постель в горнице.

Учитель Яковлевской школы посоветовал больничный лист в РОНО не предъявлять. «Мы, учителя дальних школ, больничные листы никогда не предъявляем. Мы их даже не берем. Одна бесполезная канитель. И Вы получайте свою заработную плату, будто и не хворали совсем».

Прошло три дня, и я продолжил занятия в школе. Вечером в горнице опять горела большая лампа, и без полусубков сидели старшая дочь Михаила Алексеевича и ее муж. Оба озабоченные и несколько смущенные.

— Павел Григорич! Погляди мою дочь. Очень прошу, — обратился ко мне Михаил Алексеевич.

— То есть, как это поглядеть?

— Как доктор погляди, послушай. Вот уж почитай год, как стали у нее боли в грудях и удушья. Мучается баба, и непонятно, с чего все приключилось. Может, посоветуешь лекарство какое? Вот и муж ее пришел. Беспокоится.

— Напрасно. Я не доктор. Помочь ничем не могу.

— Да как же. Мальчишкину обрезанную руку вылечил, девчонку от горла тоже вылечил. Сымай кофту и платье. Кому говорю! Учитель осмотрит, послушает, может, чего посоветует, поможет?

Женщина быстро сняла кофту и платье. Осталась в одной рубашке.

— Нет, помочь я ничем не могу. Трубки, которой больных ослушивают, у меня нет. Да если бы и была, понять, какая болезнь по звуку, не могу, не научен. Я не доктор, а всего лишь начинающий учитель. Наверное, и ребят-то хорошо учить еще не умею.

— Не говори так. Ученьем твоим народ доволен. Мужики про тебя говорили, что учитель — человек понимающий. Посоветуй.

— Может, и говорят так, но лечить я не учился и не умею. Если же хотите знать мой совет: запрягайте лошадь и поезжайте в Теплое. Там люди, учившиеся лечить, есть.

— Были. Лучше не стало.

— Надо опять туда ехать. Пусть дадут направление в областную больницу. Полежит там, посмотрят старые, опытные врачи, исследуют, сделают анализы. Не дело вы задумали со мной советоваться. Пусть одевается. Ей холодно.

— Цельное дело в Тулу ехать. Здесь и хозяйство и дети. В Тулу не способно.

— А если совсем сляжет или умрет? Тогда что?

— Так уж и помрет?

— Разговор бесполезный. Совет я вам дал, а действовать вы сами должны. Благодарю за хорошие слова, что мне сказали, но думается, я их не заслужил.

Дошло дело до родительского собрания. Ученики сделали в классной комнате гирлянды из цветных флажков, выбрали и развесили сделанные ими рисунки, выставили наиболее аккуратные письменные работы. Двое учеников подготовили приветственные выступления. Текст я написал сам. Один из учеников подошел ко мне с написан-



ной мною бумажкой, ткнул в одно ее место пальцем, говоря: «Вот здесь не могу разобрать». Я прочитал написанное. Ученик внимательно посмотрел на меня, покачал головой: «Ну и ну! Попробуй разбери...» — «Правда, почерк у меня плохой». Все ученики засмеялись. Им понравилось, что учитель признал один из своих недостатков.

В воскресенье на родительское собрание пришло много народа. Были заняты все парты, лавки и табуретки. Многие крестьяне помоложе стояли. После, так сказать, «торжественной» части, небольших и оживленных реплик собрание было окончено. Меня окружила стена родителей и дедов, с которыми велись длинные разговоры.

Я пригласил и молодежь на вечер. Это было, вероятно, моей ошибкой. Не ожидал, что придет много молодежи. Кроме приглашения гармониста, не продумал, как организовать вечер, который затянулся. Не обошлось без поступков, испортивших настроение от удачно проведенного родительского собрания. Поручив окончание вечера местным активистам-комсомольцам, я ушел домой, чтобы подготовиться к завтрашним семи урокам.

Утром помещения школы я не узнал. Пол был невероятно испачкан. Валялись окурки (при мне не курили), часть сорванных рисунков учеников. Все красные и розовые флажки были оборваны. Ученики сидели молчаливые и понурые. «Набезобразничали, как свиньи, а я поручил за порядком наблюдать комсомольцам».

— Комсомольцы, говорят, разбежались, когда пришли хулиганы.

— А кому же понадобились красные и розовые флажки? Неужели это вы, ребята, для чего-то их срывали?

— Нет, это не мы. Это девки щеки красить.

— Наверное, парней и девок приглашать в школу больше не будем, а если пригласим, будем оставлять надежных дежурных, и мне самому необходимо быть.

Приближались каникулы. После них нас вскоре должны были сменить и прислать на наше место окончивших ускоренно педагогические техникумы. Но об этом ничего не было слышно и при редких встречах с другими практикантами, работавшими в ближайших школах. Я выбрался только к одному своему соседу — секретарю нашей боровской школьной комсомольской организации Кузнецову, учительствовавшему недалеко, в Анновке. Приходил ко мне Туманов. С остальными случайно встре-

чался в Теплом на очень короткое время. Никто ничего мне сказать не мог.

На каникулы решил поехать в Боровск. Купил два пуда хорошей гречневой крупы, которой здесь было много и она была дешева, хотя и не у всех обильно уродилась в этом году. Завязал крепко мешки, так, чтобы можно было их нести наперевес на одном плече. Надел новый серенький костюмчик ценою в 70 рублей, купленный в сельпо на педагогическую заработанную плату. Из первого жалованья послал маме, написав, что это часть мной самим заработанных денег. Она их хранила всю свою жизнь до самой смерти — в ящике комода в боровском домике. Их я и нашел после ее кончины с запиской, что это неприкосновенные, впервые заработанные Паней деньги.

Добрался я в Боровск без приключений, встреченный огромной радостью, поцелуями, объятиями. Прежде всего сбросил белье, вымылся, оделся в чистое. Думал, узнаю что-то о нашей смене в Боровской школе. Но стали говорить, что учение студентов в техникуме продолжается, и обстановка такова, что собираются нам в МОНО практику продолжить. Обман? Обманывают, и кого? Будущих учителей. Несправедливо во всех отношениях, если это действительно так. Правда, пока это лишь слухи, но слухи нередко сбываются. Если через неделю-две после установленного срока нам смену не пришлют — сбежим!

Кому же бежать? Всем? Или какой-то части? «Бежать надо беспартийным, — высказался комсомолец. — Вам ничего не будет. В худшем случае в приказе по школе объявят выговор. Правда, могут и в характеристику записать. Это уже будет нехорошо. А нас-то ведь наверняка из комсомола исключат!»

— Значит, вы, комсомольцы, хотите спасти свою шкуру путем выдачи волчьих характеристик беспартийным? Многим из вас уже одну поблажку дали. Тех из вас, кто неважно учился, направили на практику в двухкомплектные школы к старым учителям на выучку. А тех же беспартийных, кто хорошо учился, ударят дважды. И заведовать однокомплектными школами с тремя группами послали и волчьей характеристикой наградят? Хороши же вы, комсомольцы, нечего сказать, — выкрикнул я.

Сам же думал: «Уж кому-кому, а мне больше всех достанется. Опять вспомнят маму — дочь купца второй гильдии — и что отец — личный дворянин. Если блага мне, по-

жалуй, в последнюю очередь, то наказания — конечно же — в первую».

После жарких дебатов решили, что каждый поступит самостоятельно. Кто нетерпелив — пусть бежит. А кто останется — тому стоять горой за бежавших, так как они свой долг выполнили, работали до зафиксированного в приказе срока. А менять срок несправедливо. Начальство, отдающее подобные приказы, должно привлекаться к ответственности и не должно быть воспитателями учителей. Переговорив со своими родителями, решил, что, если в течение недели после установленного первого срока смена не появится — ехать в Москву, затем в Боровск и ни на какие уговоры не соглашаться.

Дни каникул в Боровске пролетели быстро. Все мы возвратились вовремя в свои школы.

Вскоре нам передали, что ученикам бедных и больших крестьянских семей будут продавать обувь и что учителям с собранными деньгами и со списками учеников, в которых должен быть указан размер обуви, надо в определенные дни приезжать в Теплое. Все это я сделал и утром поехал со сторожихиным сыном.

С самого начала дело не сладилось. На узкой дороге, с обеих сторон которой были большие сугробы, нам встретились сани с большим возом соломы. Еще издали сторожихин сын сказал мне: «Ты в это дело, Павел Григорич, не мешайся. Лежи в санях и молчи».

Встретились две лошади и остановились. Хозяин воза, шедший сбоку по глубокому снегу, закричал:

— Чего встал, порожний, сворачивай. Видишь у мене какой большой воз?

— Не сверну. Сворачивай ты! У меня кобыла жеребаная.

— Ничего с твоей кобылой не случится. Здесь снег не больно глубок. Сворачивай.

— Сказал, не сверну, такой сякой! Значит, не сверну.

— Что ж ты, разэдакий! Цельный день так стоять будем?

— И простоим, такой сякой.

Перебранка длилась долго. Наконец, договорились, что оба будут сворачивать на половину ширины пути. Но каждый свернул меньше, чем на половину. Задки саней-розвальней сцепились. Наконец, после колоритнейшей ругани — сани расцепились и разъехались.

— Много времени потеряли зря. Это нам даром не пройдет. Видишь, завьюживает. Впотьмах возвращаться придется, — покачал головой сторожихин сын.

Перед вечером купил я нужную обувь, погрузили мы ее в сани и поехали домой. Сильно пуржило. Смеркалось. Лежа в розвальнях, я стал чувствовать: кроме снега, что-то скользит по моему лицу. Оказалось, это волосы хвоста лошади. Она шла с трудом, шагом. Дорогу все сильнее заносило снегом.

— Беда, Павел Григорич. Застрянем мы с тобой. Впереди Волчья Дуброва. Только немного от Теплого отъехали.

— Что ж, возвращаться в Теплое? Там у кого-нибудь устроимся на ночлег?

— Не. Зачем. Свернем на широкую дорогу-каменку, что идет на Анновку. В Анновке у mine кум. У него переночуем. Утром к себе во Введенку поедем.

— Уроки вовремя начать не сумею.

— В такую погоду из дальних домов ребята и из Введенки-то в школу не придут, не то что из Доробина или из Подосиногового поселка.

— А с каменки не собьемся?

— Не. Дорога широкая, мощеная, горбом. Лошадь свободно пустим. Дорогу будет чутать. Сама привезет в Анновку. Поворота там ни одного нет.

— Поедем в Анновку.

Поздно ночью приехали в какую-то деревушку. Строе-ние лишь одно просматривалось очень смутно. Ни одного огонька не светилось. Лошадь встала.

— Найдете избу кума?

— Да ничего не видать. Посиди тут в санях. Ежели начну плутать, закричу. Отзовись. Слушай внимательней.

Долго не было сторожихино сына. Наконец, донесся голос:

— Павел Григорич! Где ты?

— Здесь. Идите прямо. Достучались до кума?

— Не. Вроде бы его избу нашел. Огня нет. Решил тебя взять, а потом вместе стучаться. Лошадь поведу в поводу, а ты лежи в санях.

Наконец, подъехали к сильно заметной маленькой избенке. Постучали кнутовищем в дверь. Ответа не последовало. Еще сильней забарабанили. Ответа никакого.

— Ну и горазды дрыхнуть!

— Постучите кнутовищем в окно. Только осторожнее. Стекло не высадите.

Наконец, послышался мужской голос: «Кто там? В такую погоду».

— Это я, кум! Из Введенки. Не могли домой вернуться. Метет как. Открой. К тебе ночевать приехали.

— Да кто с тобой?

— Учитель. Мы с ним в Теплое за обувкой для учеников поехали. Вишь, как завьюжило.

Кум налег на входную дверь, но она не отворилась.

— С вашей стороны дверь занесло. Я приотворю и вам лопатку просуну. Вы сами дверь помогите отгрести. А потом и ворота во двор вместе отгребем, чтобы лошадь и сани во двор ввести. К утру, того и гляди, так заметет, что и совсем не выберешься.

Отгребли дверь, ворота. Ввели лошадь с санями.

— Теперь пойдемте спать. Может, завтра перестанет вьюга, разъяснится. Тогда и поедете в свою Введенку.

— А здоровы вы, кум, спать. Насилу достучались.

— Да мы и первый раз вроде ваш стук слышали да думали, может, какой недобрый человек в такое ненастье наведается. Боялись откликнуться.

К утру метель стихла. Кума накормила нас завтраком. Откопали мы опять занесенные и дверь и ворота. Выглянуло солнышко, и под его лучами засверкали разными огоньками белые-белые снежинки, будто в сказке. По занесенной дороге в Введенку никто еще не проезжал. Через неровные, местами очень глубокие сугробы лошаденка с трудом протаскивала наши сани.

— Павел Григорич! Посуди сам, какую глупость мы чуть не отчудили, ежели бы попытались вчерась ехать не по каменке. Гляди! Какие высоченные сугробы. И с некоторых сторон, что под ветер, обрывистые. Ну прямо, как печь. И лошадь бы загубили и ребячью обувь всю потеряли. Может, и оглобли бы сломали.

\* \* \*

Окончился срок нашей практики. Сменщик ко мне не приехал. Через неделю я собрал в последний раз членов школьного Совета. Прочитал им написанную мною самим характеристику. Члены Совета потребовали записать просьбу крестьян: приехать во Введенскую школу обратно и остаться до конца пятилетки. Характеристику подписали все члены школьного Совета. С большой неохотой казначей принял от меня возвращаемые 90 рублей школьных денег. Все

покачали головами и сказали, что хоть немного надо было истратить, раз мне разрешили израсходовать, сколько я сочту нужным.

На следующий день я провел последние семь часов занятий в две смены. Простился с учениками, пожелал им хорошо учиться. Некоторые девчухи из поселка Подосинового, которым я помогал расстегнуться и снять шубки, даже всплакнули.

Следующий день я встретил уже в Теплом. Вместе еще с двумя товарищами мы имели мужество зайти в РОНО и сказать, что ближайшим поездом уезжаем в Москву. Заведующий долго и внимательно посмотрел на нас и сказал: «Зря вы так дело бросили. И учебный процесс сорвали и жизнь себе, может быть, искалечите».

— Нет. Мы поступили в соответствии с приказом. Руководитель из МОНО должен выполнять свои обещания, быть правдивым и справедливым. Иначе он не имеет права воспитывать наставников молодежи — учителей.

— И все же — напрасно. Значит, завтра-послезавтра нам надо ждать других беглецов?

— Многие — кто погорячее и посмелее — уедут. Некоторые останутся.

— Мария Петровна! Немедленно сочиним с Вами и сейчас же отправим телеграмму о том, что практиканты бросают работу и уезжают. Конечно, нехорошо, что вовремя смену не прислали. Но и практикантам следовало быть сдержаннее.

Следующее утро мы встретили в приемной кабинета большой начальницы — заведующей МОНО. Она опаздывала. Ее секретарь нервничала. Но самым удивительным была для нас встреча с заведующим учебной частью Боровской школы Архангельским и огромного роста парторгом, учителем Сергеевым. Архангельский был хмур. Сергеев неожиданно для нас улыбнулся, и его вид будто подбадривал нашу троицу: «Не робейте, мол, ребята!» Оказывается, они уже несколько дней были в Москве и торопили с присылкой нам смены. Начальство же не очень-то спешило.

Вдруг дверь кабинета заведующей резко распахнулась, и в приемную выскочила маленькая седая старушка с очень злым лицом. Видимо, она прошла в кабинет не через приемную, уже зная о беглецах, и решила хорошенько отругать нас. Почти подбежав — почему-то ко мне, возможно,

лишь потому, что ростом я был выше других и на одном моем носу были очки, — она визгливо закричала, махая перед моим носом маленькой ручкой:

— Вы понимаете, что вы наделали? Вы самовольно бросили занятия в школах! Это все равно, как машинист на железной дороге остановил бы поезд и бежал с паровоза.

Но тут меня охватил порыв вспыльчивости (перешедший, видимо, по наследству от деда Павла). Сделав полшага вперед, я выкрикнул: «Вы обманули нас! Не прислали нам в установленное время смену! Вы не имеете права руководить обучением и воспитанием учителей. Мы приехали жаловаться председателю Мособлисполкома. Он, надеясь, примет и выслушает нас».

Вплотную ко мне подошел Архангельский: «Васильев, держите себя в руках как следует. Вы говорите с ответственным товарищем с дореволюционным партийным стажем».

— Тем более. Такой товарищ должен быть правдив и отвечать за свои обещания, выполнять приказы, — пониженным тоном ответил я.

Твердокаменно же стоявший Сергеев сказал спокойно: «Необходимо, чтобы немедленно поехала смена из техникума. Вслед за этой тройкой учеников приедут и другие. Нехорошо получается. Приехавшим же в Москву надо вернуться в Боровск. К председателю Мособлисполкома на прием проситься не надо. В считанные дни мы продолжим учебные занятия, чтобы все поехавшие на педагогическую практику, усиленно занимаясь, смогли окончить школу и получить в конце года дипломы. Разрешите ученикам ехать домой. Организационные вопросы мы решим без них».

— Пусть будет так. Товарищи Архангельский и Сергеев, пройдите ко мне в кабинет.

Возбужденные и довольные тем, что на нас не обещали немедленно наложить взыскания, мы поехали на Киевский вокзал. Но каждому было очень тревожно. Как все решится? В ближайшие дни в Боровск приехали еще несколько практикантов, затем заявили все, благодаря нас за почин и смелость. Без большой проволочки решился вопрос со сменой. Хотя о наказании нас не говорили, героями себя мы не чувствовали. Когда мы кончали школу, о нашем бегстве, конечно, вспомнили.

\* \* \*

Прошли десятилетия. Бóльшая часть жизни. Конечно, в зрелом возрасте мы, тогдашние беглецы, не покинули бы школы, не бросили бы учебный процесс в середине учебного года. Не покинул бы школу и я. Но и строго судить себя теперь за сделанное не хватает духа. Юность, порывистость, быстрая и бескомпромиссная реакция на несправедливость, даже кажущуюся, и красива и очень, очень опасна. Как важно, чтобы отвага, сила, энергия юности были направлены на высокую цель, несли людям добро и правду.

23.12.93

Вениамин



---

---

## ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ И РАБОТА

Итак, получен аттестат об окончании средней школы и предложение стать учителем в сельской школе Боровского района Калужской области.

Нет. Мне хочется попробовать поступить в высшую школу в Москве. В какую? Больше всего из школьных предметов мне нравилась химия. Значит — на химический факультет Московского государственного университета.

Однако надо прежде всего подумать, как приткнуться где-нибудь с жильем. Нянюшка попросила разрешения пожить мне немного у своего племянника Ивана Николаевича Башкирова, семья которого занимала большую комнату в коммунальной квартире. Семья состояла из него самого — квалифицированного рабочего горячего цеха металлургического завода, жены — домашней хозяйки — и маленькой дочки. Главной противницей моего жития там стала жена племянника Клавдия Георгиевна — женщина с тяжелым характером, властная, себялюбивая, с трудом согласившаяся на мое житье «пока», то есть на неопределенное, но короткое время.

Вечером вдвоем с папой мы приехали к Ивану Николаевичу. Нас положили спать на полу на тощеньком матрасике и привезенных нами подушках. Накрылись мы одеялом папы из верблюжьей шерсти. Рано утром следующего дня (хозяин уходил на работу в первую смену) мы поехали на бывшую квартиру крестной, состоявшую из большой двухоконной комнаты родового особняка московских почетных потомственных граждан Залогиных. Мы знали, что под влиянием жестких притеснений, как бывшая «буржуйка», крестная выехала к своим родственникам Кутеповым в Юхнов. Но в этом особняке осталась жить старушка, быв-

шая няня крестной Катя. Мы нашли ее в маленькой, совершенно темной комнатке (без единого окна). Из комнаты в бельэтаже ее переселили в бывшую служебную комнатенку. Поахали, погрустили и решили, что жить у старушки Кати мне нельзя.

Во второй половине дня мы были у доцента химического факультета МГУ, старинного знакомого отца по Боровску Шалфеева. Вместе с женой они жили в небольшой квартирке в здании на Моховой, рядом с квартирой академика Зелинского. К счастью, Шалфеевы возвратились из отпуска. Приняли они нас очень любезно. Но... надежды поступить в МГУ мне, сыну служащего, не имеющему рабочего стажа, по словам Шалфеева, — никакой. Протекции мне он, Шалфеев, оказать не может. Впрочем, для очистки совести он рекомендует мне завтра самому сходить в приемную комиссию факультета. Взять меня к себе в маленькую квартиру на житье они также не могут. Его совет: устроиться рабочим на московский завод, хорошо готовиться к вступительным экзаменам и через два года поступать. Напоили нас чаем и приветливо попрощались.

Возвращаясь вечером к Ивану Николаевичу, мы решили, что дальнейшее обустройство в Москве будет предоставлено мне самому. Папа оставит мне адрес своего хорошего знакомого Михаила Трофимовича Сухова. Может быть, он поможет мне устроиться рабочим на производство. Сухов был крупным снабженцем в системе Авторемснаба, расположенного в то время в Каретном ряду.

Утром следующего дня мы простились с папой на Киевском вокзале. Иван Николаевич поместил меня на диване.

Днем в Авторемснабе меня принял приветливо Михаил Трофимович.

— Помочь Вам с жильем не могу. Живем с женой в маленькой комнатенке на Тверской. Знакомых, которых можно было бы просить пустить Вас жить, нет. Выясните, сможете ли Вы теперь поступить в институт, и, если нет, я помогу Вам устроиться рабочим на один из заводов.

На химическом факультете на Моховой в приемной комиссии сидел человек с ярко выраженными чертами лица восточного типа. Большой, с горбинкой нос, вьющиеся темные волосы, карие глаза с желтоватыми белками. Просмотрев мои документы, он протянул мне их обратно, произнося с кавказским акцентом:

— Что Вы па-да-дите документы о приеме, что нэ па-да-дите, результат будет один и тот же. В первую очередь зачисляются на факультет по направлениям ЦК союзных республик. Затэм — имеющие рабочий стаж нэ менее двух лет. Среди них — конкурс.

Ну что же... Попробую в Первый Московский Медицинский институт. В приемной комиссии женщина, просмотрев мои документы, протянула мне их обратно: «Вам только шестнадцать лет. Слишком молоды. Подрастите. Тогда приходите к нам». — И улыбнулась.

«Надо поступать в рабочие», — решил я.

В отделе кадров трех заводов отказались принять мои документы: «Молоды. Поступайте в фабрично-заводскую среднюю школу (семилетку). Там получите рабочую специальность. Тогда приходите к нам».

Надо идти к Михаилу Трофимовичу. Он, как всегда, был занят, но приветливо попросил подождать. Затем позвонил по телефону в Отдел снабжения небольшого заводика, написал записку и пожелал успеха.

На заводике снабженец провел меня к начальнику цеха. Выслушав просьбу, тот сказал:

— Лет ему мало. Ну да кадровик особенно придраться не будет. Что Вы умеете делать?

— Да как Вам сказать...

— В школе же был у Вас труд. Чему-нибудь Вас учили же?

— Учили книги переплетать. Но переплетаю не очень хорошо.

— Та-а-ак. А еще что-нибудь делали?

— Табуретку — на уроке труда. Потом вместе с родным дядей детекторный приемник сделали. Работает. Неважно, но работает.

— Ну вот. Тогда возьмем Вас слесарем второго разряда.

— А самого низкого нельзя?

— Так это и есть самый низкий. Зачислим Вас слесарем второго разряда. Пойдемте к кадровику. Вы среднюю школу окончили. Старайтесь. Присматривайтесь к работе мастера, соблюдайте дисциплину. Дело у Вас пойдет.

— Молод, — пробурчал кадровик. — Идите к директору. Без его приказа не оформлю.

Директор сразу нас принял. Внимательно выслушал. «Нет. Принять на завод не можем. И молод и квалификации не имеет. — Так из Отдела снабжения Авторемснаба про-

сят. У этого паренька «рука» есть. — Все равно. Не примем. И не настаивайте».

Выйдя из кабинета директора, снабженец сказал: «Ничего не можем сделать. Извинитесь перед Михаилом Трофимовичем. Я ему позвоню. Он обратится на другой завод».

— Ничего, не расстраивайтесь. Здесь не получилось — в другом месте получится, — улыбаясь, сказал Михаил Трофимович, когда я пришел к нему во второй половине рабочего дня. Снял телефонную трубку, набрал номер.

— Катишь, ты? А твой Поликарп еще не приехал? Он ведь не любит на работе засиживаться. Тебя ревнует?

— Зачем он мне нужен? Может быть, ты мне перед ним протекцию составишь? Видишь ли, у меня есть питомец, которому надо в институт поступить, а его не берут: нет рабочего стажа. Вот я и хотел просить твоего Поликарпа, чтобы он взял его к себе на завод заработать этот стаж.

— Каков питомец-то? Высокий. Хорошо сложен. Тебе понравится, но совсем неоперившийся.

— Говоришь «интересно»? Ну так ты походатайствуешь перед Поликарпом?

— Спасибо. А когда же ему заехать к Поликарпу?

— Сегодня? Прямо к вам? Часов в восемь? Так я самому Поликарпу звонить не буду?

— Говоришь, гости будут. А удобно ли? Может быть, лучше завтра к нему на завод, а то ведь смешается паренек...

— Ты — молодец. Так я записки писать не буду. Паренек скажет, что от меня. Умница. Будь здорова.

— Ну вот попробуем в другом месте. Его зовут Поликарп Мордарьевич. Жену — Екатерина Дмитриевна. Запиши адрес. Звонить два раза. Ровно в восемь будь у них. Не раньше и не позже. У них будут гости. Изложи просьбу коротко. Немножко побудь. И — домой. Старайся держаться свободно, не очень стесняться, но и не быть развязным. Желаю успеха!

В восемь я робко позвонил. Женский голос спросил:

— Кто там?

— Я от Михаила Трофимовича.

Дверь широко распахнулась. На пороге стояла полная женщина, средних лет, с ярко накрашенными губами, в шерстяной кофточке без рукавов, с глубоким декольте.

— Так вот какой питомец у Миши. Здравствуйте. Проходите к столу. Поликарпушка, вот питомец Миши, о ко-

тором я тебе говорила. Возьми его к себе на завод рабочим. Ему нужен двухлетний рабочий стаж для поступления в вуз. Маша, Петя, познакомьтесь!

Полная, накрашенная, моложавая блондинка и пожилой, с обрюзгшим лицом мужчина встали. Поликарпушка — с большим животом, толстой шеей и отвисшими щеками недовольно ерзнул на стуле.

— Маша! Петя! Зачем вы встали? Мы будем попросту.

— Поликарпушка! Что ты хмуришься? Будь поприветливее. Посидим, поговорим, выпьем. Помни, будет заминка с поставками, побежите с низким поклоном к Мише.

На столе стоял большой графин с водкой и начатая бутылка ликера. Тарелки с закусками.

— Садитесь на этот стул, — обратилась Катишь ко мне, придвигая к столу пятый стул и ставя против стула тарелку и рюмку. — Садитесь же! Я Вам говорю. Надо слушаться старших. — И засмеялась залиvisto.

Все сели. Катишь взяла графин с водкой. Налила мужчинам и мне. Затем себе и Маше налила ликера.

— За что же мы выпьем? А? За знакомство! Только Вы, молодой человек, не зазнавайтесь, не задирайте носа, что с Вами директора будут пить. Это, питомец, делается из уважения к Вашему воспитателю Михаилу Трофимовичу.

Все, кроме меня, подняли рюмки.

— А Вы что же?

— Я не пью.

— Так, может быть, ликеру?

— Спасибо. Я ничего не пью.

— Попробуйте! Приятно. Особенно в хорошей компании.

— Спасибо. Думаю, не надо.

— Какой упрямый и бестолковый. Ведь Вас угощает дама. — Последовала пауза. — Ну, если окончательно не хотите, выпьем одни.

Выпили по полной. Поликарпушка крикнул, но кислого выражения лица не изменил.

— Ну, хоть закусите.

Я положил себе на тарелку кусок заливного.

— Так как, Поликарпушка, приходит питомцу завтра к тебе на завод?

— Вы случайно не лишены избирательных прав? — чуть повернув голову ко мне, спросил Поликарпушка сиплым голосом.

— Нет, что Вы, — ответил я.

— Позвоню завтра Михаилу Трофимовичу сам.

Я понял, что мне надо уходить. Пора. Поднялся. Поблагодарил.

— Может, посидите еще с нами?

— Благодарю Вас за угощение. Пора домой.

Катишь вскочила и пошла меня проводить в прихожую.

— Сегодня Поликарпушка не в духе. Но он отходчив. Особенно, когда выпьет, делается веселым. Наверное, сегодня на заводе что-то не в порядке. Руководить теперь очень трудно. Зря Вы не согласились посидеть у нас и ничего не выпили. Позвоните мне, как у Вас пойдут дела. Не стесняйтесь. Запомните мой телефон. — И назвала номер. — Если подойдет Поликарпушка — положите трубку. Я не работаю. Скучаю.

Утром следующего дня я был у Михаила Трофимовича.

— Знаю, что не получилось. А не пойдете ли Вы рабочим на склад к нам в Каретном ряду? Склад подшипников, запасных авточастей. Снабжение по первой категории «А» — рабочая карточка. Мы купили в США за доллары дилеровскую станцию. Будем монтировать ее здесь же, в Каретном ряду. Потребуется рабочие: электрики, смазчики, мойщики. Переведем Вас со склада на первую Опытно-экспериментальную дилеровскую станцию Авторемснаба.

— А что такое дилеровская станция?

— Это станция на автодороге, где осуществляется заправка автомашин бензином, смазочными материалами, делается мелкий ремонт. Опытно-экспериментальная станция должна выявить положительные и отрицательные стороны американской модели, ее пригодность для использования в условиях нашей страны и дать материалы для проектирования и массового промышленного производства, оборудования для сети таких станций. Ну как, согласны?

— Конвейер будет на такой станции? Мне бы хотелось работать на конвейере.

— Конечно, нет. Не обольщайтесь мнимой интересностью работы на конвейере. Она очень утомительна и однообразна. Рабочий весь день непрерывно ставит одну и ту же деталь на движущиеся мимо него на ленте автомашины. Рабочий не может отлучиться без подмены. Скорость движения ленты конвейера строго рассчитана. Она не может быть ни уменьшена, ни увеличена. Так пойдете рабочим на склад?

— Согласен.

— Тогда пойдете оформляться.

Кадровик внимательно просмотрел мои документы.

— Среднее образование. Латинский шрифт, конечно, хорошо знаете? Какой язык изучали в школе?

— Немецкий.

— Михаил Трофимович! Зачем его оформлять рабочим склада? Оформим его сразу кладовщиком. Ведь на складе этикетки почти на десяти иностранных языках: английском, немецком, французском, итальянском (фирма «Фиат»), шведском и других. Наши кладовщики не только иностранных языков не знают — в латинском шрифте в подписях путаются. Паренек на складе очень пригодится.

— Ему нужен рабочий стаж. На складе более десяти тысяч видов запасных частей. К ним надо привыкнуть, не путаться. Оформляйте пока рабочим склада, а потом посмотрим. Пойдете на склад. Я Вас познакомлю с заведующим, опытными кладовщиками.

Склад представлял собой большое помещение с высокими потолками и длинными стеллажами в несколько ярусов. В проходах стояли лесенки, по которым надо было забираться, чтобы доставать или складывать детали. Над ячейками стеллажей виднелись надписи с названиями деталей на иностранных языках.

Заведующий принял нас очень любезно и повел на склад сам.

— Николай Иванович, — обратился он к весьма пожилому мужчине в аккуратном темном халате. — Вот Вам новый рабочий. Образование среднее. Немного знает немецкий язык, латинский алфавит. Пусть на первое время занимается подшипниками иностранных фирм. Не жалейте времени на его обучение. Из него должен выйти хороший, очень нужный нам кладовщик. Познакомьте его с Митрофаном Петровичем Барыгиным. Выдайте ему спецодежду, отведите шкафчик для нее. Завтра утром он придет на работу.

— Когда сегодня немного познакомитесь — зайдите в отдел кадров, — повернув голову в мою сторону, сказал он. — Там Вы получите пропуск на склад, карточку для питания в столовой, а завтра — продовольственные карточки «один А». Знакомьтесь. И завтра утром около восьми часов будьте на складе.

Пройдя длинные ряды стеллажей, на которых лежали груды иностранных подшипников, выслушав сравни-

тельно короткий рассказ Барыгина о порядке размещения разных видов подшипников, получив спецодежду и поместив ее в шкафчике, в отделе кадров я получил пропуск на склад, карточку на питание в столовой. Заплатил за типовые обеды за остающуюся часть месяца вперед и поехал домой.

На следующий день за полчаса до начала работы я был на месте. Знакомился с бригадирами и некоторыми рабочими. Здоровенный парень, иронически улыбаясь, обратился к своим товарищам: «Поглядим, ребята, на что способен новичок. Дайте ему козу и помогите взять вон тот ящик с подшипниками. Пусть отнесет в конец стеллажа».

Приладив на спину козу, я повернулся к ящику, и ребята погрузили мне его. Я зашатался под тяжестью и неуверенно пошел в конец стеллажа под гогот рабочих и их реплики: «Жидковат. Смотри, не грохнись».

Это увидел Барыгин. Он подбежал ко мне, крича: «Осторожней! Не упадите. — И стал поддерживать ящик. — Ведь, пожалуй, около шести пудов. А вы, жеребята стоялые, чего ржете?! Парень невтянутый, надорваться может. В первый день — производственная травма, грыжа. До суда дело может дойти. Осторожней, осторожней идите к концу стеллажа. А вы, жеребцы, снимите с него ящик. Ведь это шведские подшипники. Они в двух ящиках пакуются. Внутренний ящик — запаянный, а наружный — деревянный».

Когда с меня сняли ящик, Барыгин с тревогой спросил:

— Ну как? Нутро не повредилось?

— Да нет. Вроде все в порядке. Но очень тяжело было. Чуть-чуть не упал.

— В дальнейшем будьте осторожнее. Мало ли что они предложат сделать. Пока не втянетесь — большие тяжести не поднимайте, не носите.

Понемногу я осваивался.

Когда «прозвонили» обед — все резво побежали в столовую. Там на нескольких больших столах стояли объемистые кастрюли, полные «хлёбова». В середине каждой кастрюли был черпак. Вокруг столов — табуретки. Каждый брал кусок хлеба, ложку и садился за стол. Кому-нибудь поручалось разлить в тарелки «хлёбово». Затем каждый шел к раздатчику за вторым и третьим блюдами и там отдавал талон на типовой обед.

После обеда рабочий день продолжался. Вскрывали ящики, пересчитывали содержащуюся в них продукцию и



размещали ее на стеллажах. Отпуск продукции приехавшим за ней, как правило, осуществляли старшие кладовщики с помощью рабочих. Комплектование и упаковку продукции для отправки в другие города вели кладовщики тоже с помощью рабочих.

Вечером после первого же дня работы я положил перед Иваном Николаевичем свою рабочую карточку. Он подержал ее в руках, широко улыбнулся: «Такая же, как у меня, рабочая «один А». Что мы с ней будем делать?»

— Отдам ее вам. Клавдия Георгиевна будет покупать продукты, и мне будете давать по утрам завтрак, вечером — ужин. По выходным к этому добавляется обед. Из своей заработной платы я буду оставлять себе тридцать рублей. Остальное — платить вам за квартиру и продукты. Согласны?

— Как, Клавдия, согласимся? Соглашаемся.

— Мою промтоварную карточку прикрепите к своему ЗРК (закрытому рабочему кооперативу). Нужные мне промтовары я буду покупать сам. Остальное покупайте себе или для обмена на рыночные товары.

— Хорошо. Договорились.

Началась размеренная рабочая жизнь. Дома для меня была установлена жесткая дисциплина. После окончания работы я должен был приходиться домой. Чтобы пойти в театр, надо было предупреждать заранее, и разрешение давалось неохотно. Как говорится, я должен был «ходить по одной половине». Если хозяйева куда-нибудь уходили вечером, я должен был оставаться дома и быть няней маленькой Тамары. Если приглашение мне и хозяйевам совпадало (например, на торжественное заседание по случаю праздника), то нянькой, конечно, был я.

По вечерам я повторял программу средней школы или изучал самостоятельно те ее разделы, которые мы не прошли, так как были направлены на педагогическую практику. Особенно это было сложно для меня по математике. Ведь мы совсем не прошли, например, пропорции, теорию соединений и бином Ньютона. Мне это удавалось выполнять самостоятельно, пользуясь большой стопкой учебников, взятых в библиотеке, ни разу не прибегая к помощи учителей.

Прошло немногим больше двух месяцев, когда Клавдия Георгиевна сказала, что диванчик, на котором я спал, будут обивать новой материей. Поэтому я должен спать на полу. Через несколько дней диванчик был привезен обрат-

но — красивый, аккуратно обтянутый новой материей. Вечером того же дня я стал стелить свою постель на нем.

— Зачем Вы стелите постель на диване? — злобно прошипела Клавдия Георгиевна.

— Собираюсь спать на нем, как раньше.

— Стелите на полу. Диванчик «ни для таво делали».

Я понял, что дальнейшее пребывание мое здесь нежелательно. Стараясь не вступать в конфликт с мужем, Клавдия Георгиевна начала выживать меня постепенно. Надо было искать новую квартиру, хотя Иван Николаевич относился ко мне дружелюбно. Мы с ним охотно ходили в баню. По субботам и воскресеньям за всюнощной и обедней молились в Богоявленском соборе на Елоховской. Но надо было уходить.

Работа на складе в Каретном ряду шла довольно успешно. Старшее поколение кладовщиков относилось ко мне благожелательно. Рабочие, особенно молодые, задирали, подсмеивались, но постепенно привыкали. Изредка приходил Сухов. Постепенно я втягивался в физическую работу. Постигал системы подшипников, запасных частей к автомобилям.

Однажды подошел ко мне секретарь комсомольской организации и предложил вступить в ее ряды. Я был готов вступить в комсомол. Размышлял, что, может быть, мешала этому моя вера в Бога, а может быть, и не мешала. Я ответил положительно. Комсомольское собрание единогласно постановило принять меня как рабочего в комсомол. Решение собрания должен был утвердить райком. Я был приглашен на беседу с членами бюро. В комнате сидели два человека. Поздоровались.

— Что Вы знаете о левом уклоне в партии?

— Левый уклон возглавлял Троцкий.

— В чем же ошибки левого уклона? Например, в вопросе о темпах развития страны?

— Не знаю.

— Троцкисты требовали непосильно высоких темпов развития промышленности.

— Об ошибках левых уклонистов что можете еще сказать?

Я молчал.

— Спросим его о другом. Что Вы знаете о Великой Французской революции?

Я быстро ответил на этот вопрос.

— Вот видишь, это он знает!

— Давай направим его к секретарю райкома. Пусть он сам решает, ставить его на бюро или нет.

В большом кабинете сидел пожилой человек с утомленным лицом.

— Члены бюро сомневаются, как с Вами поступить? Расскажите, что Вы знаете о левом уклоне в партии?

— Троцкисты требовали непосильно высоких темпов развития промышленности.

— А для чего? Чтобы скорее в нашей стране построить социализм?

— Да.

— Неправильно. Троцкисты утверждают, что в одной стране социализма не построишь. Как Вы понимаете перманентную революцию?

— На этот вопрос ответить не могу.

— Васильев, который работает в горкоме комсомола, Ваш родственник?

— Нет. Однофамилец.

— Подучитесь. Регулярно читайте газеты. Через годик подавайте вновь заявление о приеме в комсомол.

Секретарь комсомольской организации, увидев меня на складе, покачал головой: «Что ж ты сплеховал в Райкоме и нас подвел. Нехорошо. Ну, ладно. Через год опять рассмотрим твое дело. А мы, было, думали тебя в бюро выбрать».

С квартирой дело ухудшалось. Надо было куда-то переезжать.

Приехала мама и обратилась к знакомой старообрядческой семье с просьбой приютить меня хотя бы на какое-то время. В семье было четыре человека: муж, железнодорожный кондуктор, привозивший в Москву продукты, приобретенные во время поездок; жена, продававшая эти продукты на базаре; дочь-надомница, вязавшая на трикотажной машине, и сын-строитель. Они жили в квартире из трех маленьких комнатенок в деревянном домике без удобств в Киево-Воронежском переулке, рядом с Киевским вокзалом. Одна комната была отведена Нюре — дочери «на выданье». Вторая — мужу и жене. Третья — парадная — сыну, который помещался на диване. Мне могли предоставить место только на полу. Как и раньше, у Башкировых, я отдавал карточки, получая завтрак и ужин, а по выходным — обед. Платил за «квартиру». Обстановка была проще, ду-

шевнее. Но расстилать постель каждую ночь на полу и собирать ее утром... Я понимал, что долго здесь не проживу.

Наступило лето и с ним такой желанный месячный отпуск. Тетя Сусанна пригласила меня провести его в Краснодаре и на побережье Черного моря в Кабардинке. Это было мое первое далекое и такое сказочное путешествие.

Краснодар встретил меня южной жарой. Семья тети помещалась на третьем этаже клиники Краснодарского Медицинского института, главным врачом которой был дядя. Меня встретили приветливо. Разместились в трех комнатах, окна которых были постоянно открыты, дядя с тетей, мой двоюродный брат Гриша и я. Целые дни мы с Гришей были или на реке Кубани в ее старице с теплой водой, либо на большом базаре, где Гриша стремился поживиться фруктами, часто — и у зазевавшихся торговков. Я осуждал наши похождения, но принимал в них участие. Через несколько дней мы втроем (тетя, Гриша и я) выехали в Дом отдыха на берегу Черного моря. Там нам была предоставлена трехкомнатная служебная дача в густом фруктовом саду и с питанием в столовой Дома отдыха.

На дачу мы приехали вечером. Для меня, северянина, было удивительным быстрое наступление сумерок, краткость южного вечера — по сравнению с длинными вечерами средней и северной России. Сразу же мне захотелось пройти к морю — ведь ни разу в жизни я его не видал. Едва мы прошли небольшое расстояние, как до нас стали долетать странные, никогда не слышанные мною ранее звуки: «Бух ш...ш...ш... Бух ш... ш... ш...» Будто тяжело дышало какое-то неведомое существо.

— Гриша! Что это за звуки? Будто кто-то тяжело дышит.

— Это море. Ты сейчас все увидишь, его прибой.

Мы побежали. И вот он, самый берег, по которому протянулась в обе стороны сплошная бровка из мелких камушков. По бескрайнему, до самого горизонта, простору, одна за другой катились рядами волны. Они подбегали к бровке камней, ударялись об нее. Слышалось мягкое «Бух...» Переливались через нее, разливались широким потоком и убегали обратно «ш...ш...ш... Бух ш...ш...ш...»

Вот оно какое — бескрайнее, уходящее за горизонт, — море. Теперь оно спокойное, приветливое, даже ласковое. А когда зашумит ветер? Оно станет злым, разрушающим, неукротимым.

— Завтра вы оба, — сказала тетя, — попробуйте пройти в Геленджик. Там в санатории брат Гриши Олежка. От него давно нет вестей. Как увезли его на машине — ни одного письма не прислал, разбойник. Дорога туда хорошая. Рано утром вставайте и в путь. Прекрасная будет прогулка.

— Далеко ли тот Геленджик?

— Верст тридцать пять. На обратный путь я Вам дам денег. Возвратитесь на автобусе. Вы молодые, сильные. Дорога красивая. Запомнится на всю жизнь. Не бойтесь?

— Конечно, нет.

Ранним утром, почти сейчас же после восхода солнца, взяв рубашки-безрукавки, надев трусики и повязав головы мокрыми полотенцами, мы бодро отправились в дальнюю дорогу. Шли на восток. Лучи солнца били в лицо, грудь и бедра. Вскоре я стал замечать, что грудь стало саднить. «Гриш! Надо надеть рубашки. Как бы не получить сильные ожоги».

Мы надели рубашки. Чем ближе к полудню, тем труднее было идти. Садись в тень. Пригоршнями пили ломяще холодную воду горных ключей, вытирали намоченным в холодной воде полотенцем лицо. К обеду вошли в Геленджик. В санатории по адресу, который нам дали, Олега не оказалось. «Не было и нет. Попробуйте найти в соседнем санатории. Тут их несколько».

Поиски в соседнем были безрезультатны. «Надо возвращаться. Пойдем на автостанцию». Но на станции выяснилось, что денег на обратный путь не хватит. Бывают же такие женщины, что, легко отваливая крупные суммы денег на вещи не первой необходимости, становятся скарденными, когда речь идет о самом нужном. Так было и у тетушки. Билеты на половину пути не продавались.

— Поезжай ты, Павел. Ты — северянин. Тебе труднее идти в такую жару, чем мне, привыкшему к южному климату.

— За кого ты меня принимаешь? Чтобы я бросил тебя одного? Не бывать этому.

— Тогда, знаешь, проедем деньги. Есть очень хочется. И побредем понемножку.

Так и сделали. Возвращались на запад. Солнечные лучи опять беспощадно били в лицо, в распахнутые воротнички рубашек, обжигали ноги. Все это покраснело и стало нестерпимо болеть. Все чаще мы ложились в тень. Все чаще обтирались холодной водой.

Солнце уже село, когда мы в потемках увидели у калитки нашей дачи силуэт тетушки.

— Где это вас носило до сей поры? Видели Олега?

— Олега не нашли по данному тобой адресу. Были еще в одном санатории. Поняли, что искать бесполезно. На обратную дорогу денег не хватило. Шли пешком в оба конца.

— Миленькие мои. Бедненькие мои! Идемте ужинать. Я его принесла из столовой.

— Не будем. Мы очень устали. Нам надо лечь.

— Гришенька, милый, да у тебя, кажется, жар. Надо поставить градусник.

Поставили. Температура и у Гриши и у меня была около сорока градусов.

— Надо доктора позвать.

— Какого доктора в такую поздноту? Отлежаться надо. А все твоя скаредность и неаккуратность. Даже точно адреса санатория написать не удосужилась.

Мы плохо спали. Утром были у доктора.

— Это же надо, в такую жару черт-те куда понесло. У обоих ожоги второй степени — волдыри. Счастлив Ваш Бог, что ни разу не прилегли, не задремали на солнышке. Тогда бы были обеспечены ожоги третьей степени — язвы. Неделю солнечных ванн не принимать. Не купаться в море. Гулять — в рубашках и легких белых штанишках. Через неделю — показаться мне. Если появятся язвы, будет повышенная температура порядка тридцати восьми и выше — немедленно ко мне. Ведь надо же, чтобы молодежь в семье главного врача клиники Медицинского института была такой варварской. Ведь вы — варвары.

Для меня был удивительным порядок на пляже, где принимали солнечные ванны совершенно голые мужчины и женщины вперемежку, в весьма картинных позах.

В окрестностях Кабардинки в горах было много кустов кизила, обвитых нитями перезрелой ежевики. Я часто ходил туда за очень вкусными плодами. В траве попадались змеи, большинство которых, будто бы, было неядовитыми. Мне приглянулись ягоды вокруг одного из кустов, державшегося на корнях, вросших в каменную стену обрыва над кустами кизила. Попробовал куст ногой. Показалось, что висит он на корнях прочно. Когда я переместился всей тяжестью тела, куст оборвался, и я плюхнулся на острые и длинные иглы кизилового куста. Более двадцати сломавшихся колючек впились в мое тело. Часть из них мне само-

му вытащить не удалось. Доктор с сердцем отчитывал меня и опять ворчал о «варварстве» молодежи. На месте одной из больших колючек образовалась язва. Вылечить ее в Кабардинке не удалось. Больше месяца ее лечили в Москве.

Гриша в то время мечтал стать моряком. Поэтому он выпросил — хотя и с трудом — у тети разрешение и сагитировал меня возвращаться из Кабардинки в Новороссийск на боте. Утром дня отъезда свежело. Нагруженные всяким добром (в том числе несколькими ведрами с фруктами), провожаемые тетей, мы не обратили внимания на то, что даже в защищенной бухте Кабардинки ряды волн бились совсем не по-прежнему. Когда бот на полном ходу выскочил из-за косы в открытое море, встречная волна сильно ударила в него, и он резко задрал нос. Наши ведра опрокинулись. Фрукты покатались. Узлы также стали перемещаться с одного места на другое. Напрасно мы пытались как-то закрепить наше добро. Ничего не получалось. Я костерил мысленно Гришу. Некоторые пассажиры начали страдать морской болезнью. Не устоял и «морской волк» Гриша. На меня же качка никакого действия не оказывала. При подходе к Новороссийску воздействие открытого моря уменьшилось. Кое-как мы собрали изрядно помятые фрукты и выгрузились на пристань. Затем вместе с тетушкой на поезде без особых приключений добрались до Краснодара и попали в свою квартиру.

На следующий день по возвращении с прогулки на старицу Кубани мы нашли дверь квартиры открытой, хотя хорошо помнили, что заперли ее. Обнаружилась потеря плаща тети, моего летнего пальтеца и некоторых других вещей. Вечером, взбудораженные пропажей, мы легли спать, не закрыв по обыкновению окон (дядя дежурил в клинике). Утром обнаружилась пропажа почти всех вещей дяди, столового серебра, скатертей и белья. На подоконнике остались ясно видные отпечатки мужских босых ног. Заявление в Уголовный розыск последствий не имело. Дежурство на рынке ничего не дало. Ни одной вещи не вернулось. На следующий день в клинике было установлено дополнительное дежурство, так как боялись кражи ценной аппаратуры. Так я воочию познакомился с «работой» южной воровской группы. Дяде дали ордер на одежду. Потеря моего пальтеца, конечно, возмещена не была.

Москва встретила меня убожеством жилищных условий, напряженной работой на дилеровской станции. Ска-

зочным казалось житье в Краснодаре и на даче Дома отдыха в Кабардинке.

Начались мучительные поиски угла. Вскоре они увенчались успехом. Помогла нянюшка, у которой была кума Пелагея Гавриловна, жившая на Большой Почтовой улице, вдова с двумя небольшими дочками, квалифицированная ткачиха. В ее комнате помещалась полуторная кровать, на которой спали хозяйка и ее возлюбленный Алеша — аферист, промышлявший на рынках, но для прикрытия дел работавший снабженцем. Две девочки спали на диване, и я — на сундуке. Отношения сложились самые добрые. Но эта идиллия вскоре нарушилась.

Поздней ночью раздался сильный стук в дверь.

— Кто там?

— Милиция.

Как только с двери был сброшен крючок, в нее быстро вошли трое. Двое из них были в милицейской форме.

— Алексей Рвалов! Руки вверх! Остальным не трогаться с места.

— Имейте в виду — со мной служебные бумаги и деньги, — крикнул резво вскочивший Алеша. — Составьте акт.

— Не беспокойтесь! Все будет сделано по форме. Где документы и деньги?

— Под пиджаком в портфеле.

— Смирнов! Обыщите карманы пиджака и брюк. Выкладывайте все найденное там и в портфеле на стол. Всем оставаться на местах.

— Мне предъявлять документы? — спросил я.

— Нам нужен только кукольник. Вы — жилец.

После составления акта, рассмотрения бумаг и пересчета денег старший сказал: «Рвалов! Следуйте с нами. Предостерегаю: при попытке бежать — стреляем без предупреждения».

Хозяйка бросилась к Алексею: «Прощай, Алешенька!» По щекам ее катились слезы. «Прощай», — сказал Алеша, обнимая хозяйку.

Алексея Рвалова больше мне увидеть не пришлось.

Мы подружились с Пелагеей Гавриловной. Я прожил на Большой Почтовой почти два года вплоть до предоставления мне общежития. Но не без приключений. Однажды, получив летом отпуск, хозяйка поехала в свою родную деревеньку Тишинку. Дорогой она познакомилась, как ей показалось, с хорошим человеком и пригласила его к себе.



После приезда в Москву утром следующего дня хозяйка и я отправились на работу, девчухи — в школу, а «хороший человек» остался в квартире один. Когда ребяташки вернулись из школы, «хорошего человека» в комнате не оказалось. Вместе с ним исчезли некоторые вещи хозяйки и мой ватный пиджачок. Поиски пропавшего ни к чему не привели. Все как в воду кануло.

Через год моего житья на Большой Почтовой, когда я уже лег спать и заснул, меня разбудил громкий разговор девочки Кати с знакомой хозяйки — кассиром продовольственного магазина Лелей — женщиной лет тридцати пяти, напряженно ходившей вдоль комнаты, громко постукивая каблучками туфель, и заразительно смеявшейся. Остановясь против сундука, на котором находился я, широко улыбаясь, она сказала:

— Экую рань легли спать. Я зашла к Поле поболтать, а она работает в вечернюю смену, в Вы уже дрыхнете. Мой муж сегодня в вечернюю смену, а я уже кончила. Одной скучно. Решила зайти к Поле, а ее нет. Вы, слава Богу, проснулись! Можно, я к Вам присяду?

— Конечно, буду рад.

Она села на сундуке вплотную ко мне и положила обнаженную руку мне на грудь. От нее сильно пахло духами и... водкой. Ее возбуждение передавалось мне. Захотелось взять ее за обе руки и притянуть к себе. Но было стыдно, и я не осмелился это сделать. Ведь я еще не целовал и не ласкал ни одной женщины. Покачивая головой, Леля медленно заговорила:

— Расскажите о себе. Где работаете? Поступили ли учиться и хотите ли учиться?

— Работаю на складе рабочим. Надо получить рабочий стаж, чтобы поступить в вуз. Обещают перевести слесарем на монтирующуюся Опытно-экспериментальную дилеровскую станцию.

— А что это за станция?

— Эту станцию купили в Америке. На ней будут управлять бензином и маслами автомашины, делать им ремонт, проверять, подходят ли американские модели к нашим условиям.

— Интересно. Очень интересно, — тянула она.

Пальцы же руки ее медленно скользили по складкам моей нижней сорочки. Катя заснула. И она и Нина сладко посапывали. Мои щеки и щеки Лели наливались ярким ру-

мянцем. Вдруг она, чуть заметно тряхнув головой, внимательно взглянула мне в глаза и тихонько спросила: «А у тебя есть любовница? — Конечно, нет. — И не было? — Никогда не было. — Медленно, как бы нехотя процедила сквозь зубы: Кто это ему, такому большому, сильному, поверит... Как же, дожидайся, нашел дуру!»

Рука же ее как бы незаметно расстегнула пуговицу на воротнике моей нижней рубашки. Подчиняясь неожиданному порыву, я вцепился в ее голые руки и рванул ее на себя. Ее губы прильнули к моим губам. Ее голова легла на подушку рядом с моей головой.

В это время сильно хлопнула входная наружная дверь, и по коридору громко застучали каблучки от частых шагов. — Пелагея!

Леля мгновенно села, спустила ноги с сундука и стала приводить в порядок волосы, одежду. «Поленька! Вот пришла к тебе, да неудачно. Ты в вечерней смене, — зацукотала она. — Познакомилась с твоим симпатичным жильцом. Да он такой соня. Мы с Катенькой громко разговаривали. Он проснулся. Смотри, все еще какой лохматый, никак не разгуляется. Так я к тебе в воскресенье приду. Ты устала после смены. Да и поздно».

В воскресенье около часу дня, когда дочки Пелагеи ушли гулять, тихонько постучали в дверь. Я открыл ее. У порога стояла улыбающаяся Леля с хозяйственной сумкой.

— Можно?

— Проходите, пожалуйста.

Леля прошла к столу, поставила сумку. Они с Пелагеей обнялись и поцеловались. «Вот и я. Пришла, как обещала, — заговорила она, доставая из сумки бутылку водки и кружок колбасы на закуску. — Молодой человек! Составьте компанию двум старинным подругам».

Пелагея засуетилась. Поставила на стол три больших пузатых фужера, три тарелки. Леля стала приготавливать закуску. Протянула мне бутылку с водкой: «Откройте, молодой человек!»

Скоро все было готово, и мы трое сели за стол. Леля и Пелагея подняли фужеры. Мой остался стоять на столе.

— А Вы что же? Не хотите с нами? Нехорошо, молодой человек, пренебрегать нашей компанией женщин.

— Я с удовольствием побуду вместе с вами, но пить не буду. Поговорим, пошутим. Компания ваша мне очень приятна.

— Очень просим. Надо же когда-нибудь начинать пить!  
— Спасибо! Когда-нибудь, в другой раз.  
— Мы не гордые. За хорошее знакомство выпьем и без Вас.

Обе женщины выпили. Все трое стали закусывать.

— Налейте нам еще. Может быть, отважитесь и Вы с нами.

— У него очень строгая семья. Они старообрядцы.

— Где мы сейчас, и где сейчас его семья? Потом он же не мальчик. Пора стать мужчиной, принимать решения самостоятельно.

Выпили еще по полному фужеру. На столе остался только мой невыпитый.

— Меня что-то сморило, — сказала Пелагея. — Вы не обижайтесь. Я прилягу, подремлю. — Пелагея легла и повернулась лицом к стене. Вскоре послышалось легкое посапывание.

— Как жарко, — сказала Леля, обмахивая лицо газетой. — Я сниму кофточку, — произнесла она, стаскивая через голову кофточку, под которой осталась тонкая рубашка, заправленная в юбку.

Леля взяла мой фужер. Медленно и осторожно, чтобы не пролить, стала водить им. «Запри на крючок дверь», — тихо вымолвила она. Бесшумно я запер дверь на крючок. «Может, выпьем твой фужер пополам? — Спасибо. Осильте его самостоятельно, без меня».

Одна подняла фужер. Пристально смотрела на его содержимое и вдруг решительно выпила единым духом, со звоном поставив его на стол. Отломилась и понюхала корочку хлеба, встала и, глядя на Пелагею, медленно стала спускать юбку.

Посапывание Пелагеи прервалось. Она повернулась. Блеснул взгляд злых, широко открытых глаз. Елена быстро подвинула юбку вверх. Не говоря ни слова, Пелагея опять повернулась к стене.

Послышалось опять посапывание Пелагеи. Леля едва заметно поманила меня пальчиком. Я бесшумно поднялся и крепко поцеловал ее, а она сильно укусила меня за губу. Оба наши рта обагрила алая струйка. «Если бы я знала, что у тебя такие нежные губы, я бы никогда тебя так сильно не укусила. Пашенька, милый, Пашка!»

Я быстро встал, снял полотенце, отпер дверь, прошел в кухню, намочил его холодной водой из-под крана, вернулся и стал вытирать ее лоб, лицо, шею.

Мы оба сидели на сундучке, обнявшись и покачиваясь из стороны в сторону. Пелагея молчала, скрывая, что она с любопытством наблюдает за происходящим. Леля зашептала: «Я приду опять в следующее воскресенье. А теперь мне пора. Наверное, пришел мой муж».

В это время хлопнула наружная дверь. Послышались медленные, тяжелые мужские шаги. «Он. Но я его не боюсь», — прошептала, вскочив, Леля.

Послышался стук в дверь. Пелагея встала. Открыла ее. Показался грузный, неопрятно одетый мужчина.

— Что ты здесь застряла? Я пришел с работы. Тебя нет. А она вот где, — взглянув на стол, проворчал. — Водку-то всю выдули. Пойдем домой.

— Иван Петрович! Присаживайтесь. Вы так и не хотите посидеть с нами?

— Спасибо. Устал. Есть хочу. Пойдем.

— Поля! Так я зайду к тебе на днях или в воскресенье.

— До свидания.

Разрумяненная Пелагея нервно ходила по комнате.

— Павло Григоревич! Ну зачем Вам нужна Елена? Ведь она молодится. Года себе убавляет. Все говорит, что ей тридцати нет, а на самом деле ей на вторую половину четвертого десятка перевалило. Я ведь все слышала и поняла. Вы молоденький. Самая лучшая пора жизни, а роман крутить начинаете со старой, развратной бабой. Я этого так не оставляю. Пока не поздно, все расскажу родителям. Письмо напишу. Ведь у моего покойного папы Гавриила Исаевича была дружба с Вашим отцом.

— Пелагея Гавриловна! Когда Елена придет в следующий раз, я объяснюсь с ней.

— Будьте самостоятельным. Кончите институт, примотрите себе тоже самостоятельную, трудолюбивую и обзаведетесь семьей.

Утром следующего воскресенья Елена пришла надушенная, накрашенная, в юбочке выше колен.

— Здравствуйте. Вот и я, — говорила она, ставя на стул хозяйственную сумочку с продуктами и начиная вытаскивать ее содержимое и располагать на столе.

— Лена, нам надо поговорить. Выйдем на минутку.

— Что случилось, — улыбаясь, но с некоторой тревогой, сказала она, выйдя в коридор.

— Лена! Нам придется прервать наши отношения. Пелагея все знает. Она лишь притворялась, что дремлет. Вни-

мательно наблюдала за нами. Требуется ухода с квартиры, если наши отношения не прекратятся, хочет вызвать сюда моих родителей.

— Что? Струсил? — сказала она. — Не то что я! Я сказала своему, что он больше в моей комнате не прописан. Ведь он ко мне пришел. Так обозлился, что чуть не побил меня. А ты — трус. Можешь жить у меня. Испугалось родителей дитя малое. Что ты, разве не мужик? Переходи ко мне.

— Нет, я к этому не готов. У меня много сложностей в жизни. Надо получить высшее образование.

— Трус и подлец, — она зарыдала или сделала вид, что плачет.

— Поленька, — сказала она, возвращаясь в комнату, — этот, молокосос оскорбил меня. Вообразил, что я к нему пришла. Воображала. А ведь мы с тобой старые подруги. Никогда не думала, что такой щенок может быть таким нахальным. Уходи! Не мешай нам, старинным подругам, хорошо провести время.

Я повернулся и ушел. Побродил по улицам и лишь вечером вернулся в нашу тесную комнату, сетуя, что попусту прошел день. Больше я не видел Лели, хотя неоднократно вспоминал ее и мой начавшийся первый «роман».

Когда началось монтирование Опытно-экспериментальной станции, со склада меня перевели туда слесарем, а потом — бригадиром мойщиков автомашин. Поднимал машину мощный подъемник. Мы мыли ее сверху, с боков, снизу. Сверху вытирали чистой замшей. Я получил резиновую спецодежду: комбинезон, резиновые перчатки и сапоги. Однако часть воды заливалась внутрь спецодежды. Мойщиком я проработал недолго. Понадобился помощник кладовщика, которым был опытный электрик. Работа у нас долго не ладилась. Слесари приходили с рисунками деталей машин, приложенными к прейскурантам, отпечатанным типографскими фирмами-изготовителями. Запасные части складировались у нас без жесткой системы. Долго приходилось искать отдельную деталь. Для помощи нам пускали слесарей в кладовую. И инструмент и запчасти исчезали. Кладовщик ушел, и выяснилась недостача инструментов и запасных частей, купленных за валюту. Пропажу надо было возмещать в рублях в многократном размере. После значительной трепки нервов недостачу списали.

На работу был принят опытный кладовщик материальных ценностей, но ничего не понимавший в инструментари и запасных частях автомобилей. Дело осложнялось тем, что в штат слесарей и механиков стали принимать иностранцев, оплачиваемых валютой (три немца, австриец, швед, два итальянца, два чеха). Но они не знали русского языка. Объяснения без знания иностранных языков проходили трудно. Иностранцы приехали с наборами собственных хороших инструментов. Инструменты крали у них наши рабочие. Потерянные или забытые инструменты сдавали иногда нам в кладовую. Конфликтные ситуации доходили чуть не до драк.

---

---

## ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ И УЧЕБА НА ПЕРВЫХ ДВУХ КУРСАХ

Кончался год моей работы. В одну из смен ко мне подошел секретарь комсомольской организации.

— Ты хотел поступать в институт. По разнарядке к нам пришла комсомольская путевка в Московский Автодорожный институт. Подходящих комсомольцев у нас нет. Хоть ты и беспартийный, решили рекомендовать тебя. Пойдешь?

— Конечно, пойду.

В Автодорожном приняли приветливо. Я подал заявление на факультет проектирования и строительства шоссежных дорог. Но перед самыми вступительными экзаменами надо было пройти медицинскую комиссию, так как параллельно с получением специальности оканчивающие институт проходили гарнизонную комиссию, и им присваивалось звание командира войск внутренних дел. Надо было быть годным к строевой службе. Врачебная комиссия, проходившая в конце августа, была неумолима. В связи с сильной близорукостью и астигматизмом мне вернули документы.

Прием заявлений в большинстве других вузов, в том числе и в МГУ, был к этому времени уже закончен. Так не хотелось терять год! Встреча с боровчанином, студентом Московского Кредитно-экономического института, решила мою судьбу. Выяснилась возможность поступления в этот институт. Выдержал я экзамены всего лишь на удовлетворительно. Поэтому был зачислен не на дневное, а на вечернее отделение. Конечно, без предоставления общежития.

Началась очень трудная жизнь при восьмичасовом рабочем дне, четырех часах учебных занятий в институте, житье на частной квартире. И все это, все три места моего пребывания были на значительном расстоянии друг от друга. Встав рано утром на Большой Почтовой, надо было по-

**В СССР  
ЗАЙМЫ  
И ВКЛАДЫ  
В СБЕРКАССЫ**  
ИДУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
**СОЦИАЛИЗМА**



**И УЛУЧШЕНИЕ  
БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
ТРУДЯЩИХСЯ**

**У КАПИТАЛИЗМА  
— НА  
ВОЙНЫ**

**И ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
НАРОДНЫХ МАСС**



**ПОЧТОВ  
КАРТКА**



Кому

Адрес  
отправителя

Изд. НКПТ Ун. Г. 7/VIИ 1932.  
№ 190. Тир. 1 000 000 экз.  
Москва, 1932. ГОЗНАК.

Таровев

Именные адреса, где находится почтовый ящик, и область для края, для станций — наименование железной дороги.

Мороховский обл.

Район, село или деревня.

Мороховск ул. д/б: 146

Улица, № дома и квартиры

Васильеву

Подпись или наименование почтослужителя.

Тимофеев Тимофеевичу

Морозов, г. Таровев ул. д/б: 146

Камилев Павел Тимофеевичу

30/3  
Здравствуйте, маме мои и  
дяде. Очень жду, что наконец-то  
получим от вас весточку. Я по-  
добнее к железной дороге и  
собираюсь ехать в отпуск из  
10 дней, куда меня не спонди-  
руют командировать. Настроение  
не прилично, очень мне мед-  
ленно. То усталость, то безразлично  
рабочий. Думаю скоро уеду  
в Таровев, г. и там же  
постановлю о маме и сестре, а также  
дипломатической службе железной ста-  
ции, дяде, брату, брату, брату, брату,  
Камилев Павел Тимофеевичу  
Камилев Павел Тимофеевичу

Открытка  
родителям.





*Григорий Григорьевич  
Васильев.*

пасть в Каретный ряд. Оттуда — на Неглинную, где в здании Госбанка был институт. И опять — на Большую Почтовую. Хронически не высыпался. А ведь надо было и интересно было познакомиться с рекомендованной для самостоятельного изучения литературой.

Преподавательский контингент в институте был очень пестрым. Некоторые педагоги были Профессорами с большой буквы. Другие же — чаще всего те, что вели семинарские занятия, — не имели ученых степеней, были практическими работниками с подготовкой среднего уровня.

Высшую математику начал читать профессор А.М. Гешелин. Он излагал курс на очень высоком методическом уровне безупречным русским языком. Слушали профессора с большим вниманием и тщательно конспектировали. На лекциях была полная тишина. Но однажды произошло нечто неожиданное. Поздним вечером за дверью аудитории раздался стук.

— Войдите, пожалуйста.

Последовала тишина. Лекция продолжалась. Однако вскоре опять послышался осторожный стук.

— Я же сказал. Войдите!

В ответ — опять тишина. Лекция продолжалась. В третий раз раздался осторожный стук. Профессор бросил мел. Стремительно подошел к двери и рывком широко распахнул ее. Мы увидели спокойно стоявшую козу. Как она попала на третий этаж здания Госбанка на Неглинной 12? Последовал дружный смех. Рассмеялся и профессор.

Продолжал курс высшей математики член-корреспондент Академии наук Л.А. Люстернак, который стал одновременно заведовать кафедрой нашего института и одной из кафедр МГУ. Большой ученый, он методически читал весьма своеобразно. Студенты понимали его с трудом. Начинали шуметь. Тогда он говорил, что знает о трудности изложенного материала, прерывал лекцию и советовал самостоятельно продумать то, что излагалось на лекции. Мысленно повторить и уточнить услышанное. Поднимался невообразимый шум, а он спокойно сидел и иногда отвечал на вопросы. Потом продолжал читать. Когда длиннющая доска полностью заполнялась формулами, он просил кого-нибудь стереть написанное. Не замечал, что к концу лекции его прекрасный костюм был перепачкан мелом.

Однажды во время паузы на лекции я задал ему вопрос. Он заулыбался и сказал, что во мне «что-то есть» — способность к математике. «Возьмите мел, идите к доске и ответьте на свой вопрос самостоятельно. Кое в чем я Вам помогу».

Я вышел к доске и с грехом пополам, с подсказками профессора решил вариант, вытекающий из изложенного на лекции материала.

— Да! Проблемы чувствуете... Я сказал о Вашей способности к математике. Я имел в виду способность студента, но не математика-мыслителя. Говорю об этом, чтобы не загордились, не вообразили, что из Вас выйдет математик. Еще далеко неясно, что из Вас получится. Так-то...

Выдающийся знаток бухгалтерского учета Александр Михайлович Галаган, получивший докторскую степень без защиты диссертации в воздаяние заслуг по опубликованным работам, вел практические занятия только в нашей группе, одной из восьми на потоке. Вел, очевидно, для того, чтобы иметь непосредственный контакт со студентами. Первое занятие он посвятил знакомству с каждым студентом

группы. Я откровенно сказал, что увлекаюсь химией и поступил в Экономический институт, чтобы напрасно не потерять год. Возможно, попытаюсь позднее перейти на химический факультет МГУ.

— Очень приятно познакомиться с будущим «химиком» (за мной твердо закрепилось это прозвище в студенческой среде). Только неправильно Вы думаете, что экономика менее интересна, чем химия. Быть может, познакомившись поближе с экономическими дисциплинами, Вы полюбите их и раздумаете переходить на химический факультет.

Практические занятия он проводил очень живо, давая для устного решения задачи по корреспонденции бухгалтерских счетов, переходя от одного студента к другому. Для размышления отводились считанные минуты. Аудитория держалась в большом напряжении. За несколько практических занятий мы научились быстро и почти безошибочно называть корреспонденцию счетов при бухгалтерских операциях. Он заставил повторить и освоить быстрое использование расчетов с помощью логарифмической линейки. Как правило, не давал заданий на дом. Каждый студент понял, что пропуск какого-либо практического занятия — невозместимая потеря. Посещаемость стала почти стопроцентной. Едва ли не на каждом занятии он спрашивал «химика» о его делах и приглашал вместе погулять по коридору. Обсуждались и учебные вопросы, но он рассказывал и свою «историю». Вот как она сохранилась в моей памяти.

Александр Михайлович был сыном богатого сахарозаводчика на Украине. После успешного окончания гимназии отец потребовал от него привыкания к «делу» — управлению сахарными заводами. Но сыну хотелось учиться в Университете. Отец же сказал, что не даст денег на это. Поссорились. Сын поступил в Московский университет на юридический факультет и должен был собственным трудом содержать себя. Это было очень трудно. Но через некоторое время к декану юридического факультета пришел крупный капиталист-фабрикант, хозяин Трехгорной мануфактуры. «Прошу Вас рекомендовать мне способного и прилежного студента, который бы нуждался в средствах. Я установлю ему стипендию, достаточную для скромного существования, с условием, что по окончании Университета он будет работать у меня на фабрике».

— На факультете есть такой студент — по фамилии Галаган. Я покажу Вам его личное дело. Если он подойдет Вам — пригласите его и предложите заключить контракт.

Контракт был заключен. Галаган блестяще окончил Университет и принес свой диплом, показал хозяину Трехгорной мануфактуры. «Вы мне такой, как специалист, не нужны. Я Вам дам несколько большую стипендию. Вы отправитесь продолжать образование на родину бухгалтерии — в Италию, а затем — в Германию. После этого приходите на фабрику».

— Обучение за границей очень многое дало мне в знании экономики, бухгалтерии, права. Позволило в совершенстве овладеть иностранными языками. Хозяин Трехгорки предложил мне должность заместителя главного бухгалтера, а через некоторое время — и главного бухгалтера. Я написал и опубликовал несколько научных работ по бухгалтерии. Получил приглашение преподавать в Университете. Пришел к хозяину, просил об увольнении.

— Вам будет повышен оклад и будет отчисляться определенный процент от фактической прибыли.

— Спасибо. Мне интереснее заниматься наукой. Прошу отпустить меня.

— Нет! Ваше обязательство — трудиться на нашей фабрике — бессрочно. Мы не будем возражать против Вашего преподавания при условии, что Вы останетесь руководить бухгалтерией предприятия и правовыми аспектами его деятельности.

— Так и порешили. Я остался на предприятии и одновременно стал преподавать в Московском университете и в Московском Высшем коммерческом училище. Так продолжалось до Великой Октябрьской социалистической революции. После нее я прекратил работу на предприятии и сосредоточился на научно-исследовательской и педагогической деятельности. Меня приглашали для консультирования, когда заключались договоры с иностранными государствами по экономическим и финансовым вопросам.

Во время переговоров по предоставлению кредитов Советскому Союзу Германией резвенький корреспондент задал вопрос двум членам немецкой делегации, проживавшим раньше в Прибалтике дореволюционной России несколько десятков лет, почему они разговаривают с Галаганом только на немецком языке. Ответ был: «Галаган говорит на немецком языке лучше, чем мы на русском».

Экзамен по бухгалтерскому учету принимал не Александр Михайлович, а доцент-практик — в прошлом главный бухгалтер крупного предприятия. Он считал, что студент, не занимавшийся практической бухгалтерской работой, не может получить отличную оценку и лишь с натяж-

кой — хорошую. В моем билете были практическая задача и теоретический вопрос. Задачу я решил с ошибкой. На теоретический вопрос ответил, как мне казалось, четко и ясно. Получил «удовлетворительно».

Перезаменовку и сдачу экзамена на повышенную оценку у студентов всех восьми групп принимал сам Профессор.

— А! Приветствую «химика»! Неужели провалились по бухгалтерскому учету?

— Получил «удовлетворительно». Думаю, что заслуживаю «хорошей» оценки.

— Есть еще кто-нибудь из желающих сдать экзамен?

— Я хочу пересдать удовлетворительную оценку на хорошую, — сказала студентка параллельной с нами группы.

— Присаживайтесь ближе к столу. Побеседуем. Как всегда, предпочтение женщине. — Последовал вопрос о корреспонденции бухгалтерских счетов.

— Разрешите подумать.

— На такого рода вопросы надо отвечать с ходу. — Последовал неправильный ответ. Вопрос был переадресован мне. Мой ответ был правильным. Студентке был задан второй вопрос, на который последовал правильный ответ. На третий вопрос — ответ без должной точности.

— Прекратим беседу. Иначе Ваша удовлетворительная оценка превратится в неудовлетворительную.

На все заданные мне вопросы последовали быстрые и четкие ответы.

— Вы вполне заслужили хорошую оценку. А как же с решением Вашего фундаментального вопроса о специальности? Кем Вы будете? Химиком или экономистом?

— Колеблюсь.

— Это уже прогресс. Надеюсь, что Вы останетесь в Экономическом институте. Желаю Вам всего хорошего.

Необходимо добавить, что в своем завещании Александр Михайлович передал личную библиотеку (в том числе на иностранных языках) Московскому Кредитно-экономическому институту, где она долго хранилась в кабинете бухгалтерского учета.

Читавший курс «Финансы капиталистических государств» профессор Н.Н. Любимов, Герой Социалистического Труда, имел замечательно широкий научный кругозор, блестящую лингвистическую подготовку, великолепную дикцию. Опыт дипломатической деятельности. Он принимал участие в Международных Брюссельской и Генуэзской конференциях,

будучи в составе советских делегаций. Под руководством Г.В. Чичерина и М.В. Фрунзе участвовал в определении ущерба, причиненного Советскому Союзу интервенцией.

Будучи сотрудником торгпредства СССР в Париже, в Сорбонне читал лекции студентам на французском языке. Правил тексты, написанные иностранными студентами на их родном языке. Мне пришлось слышать взволнованный голос немца Буша, который был аспирантом Николая Николаевича и писал кандидатскую диссертацию на немецком языке.

— Не понимаю! Удивительно, какой высокий уровень вашей профессуры. Ваш профессор Любимов правит мне, немцу, стиль кандидатской диссертации, написанной на немецком языке.

Н.Н. Любимов читал лекции-импровизации совершенно свободно, часто отклоняясь от содержания программы и текста учебника. Читал блестяще, в быстром темпе, используя терминологию на нескольких иностранных языках.

Однажды — уже спустя годы, когда преподавал и я, — нам пришлось вместе читать в институте лекции по одному и тому же курсу попеременно. Первую лекцию читал он, вторую — я, третья отводилась ему и так далее. Разумеется, мне надо было присутствовать на всех его лекциях. Вдруг я услышал произнесенную Н.Н. Любимовым тему лекции, которую я уже прочитал на этой же неделе. Я, можно сказать, похолодел, но решил не прерывать его и напряженно слушал его лекцию. И с удовольствием убедился, что содержание лекции настолько отличалось от прочитанного мною, что студенты не поняли, что они одну и ту же тему слушали дважды. Лекции Н.Н. Любимова были бесценными, глубочайшими импровизациями по отдельным темам, которые нельзя было найти в учебнике.

Возвращаюсь к воспоминаниям о занятиях на первых двух курсах. Как правило, я учился на тройки, но без переэкзаменовок. Хотелось заниматься на дневном отделении. Дважды просил перевести меня и дважды получал отказ. Курс дневного обучения был рассчитан на четыре года, вечернего же — на пять лет. Надо было «досдать» некоторые предметы. В третий раз моя просьба была услышана. Перевели на дневное отделение, обязав ликвидировать отставание в сжатые сроки. Поселили в общежитии. Как я был рад! Целыми днями я занимался и вовремя сдал все экзамены.

Однако надо было фундаментально углубить знания за первый год обучения. Например, по политэкономии я счи-

тал необходимым основательно изучить произведения Маркса и Ленина. Первыми я всегда изучал работы классиков марксизма-ленинизма, но не всегда успевал познакомиться с материалами учебников. А надо было выполнять на высоком уровне и текущие задания. Эти недоделки каждый раз всплывали в ходе семинарских занятий. Руководитель семинара написал, что я «к занятиям политической экономией не способен». Многие студенты подсмеивались надо мной. Особенно донимал один: «Вот ты целыми днями сидишь над изучением первоисточников, а больше тройка не получаешь и не получишь. Я и большинство студентов учимся по лекциям и учебникам и получаем хорошие оценки. Ты все выставиться хочешь! Вот и получай по заслугам!»

Донимала меня и одна студентка. У нас была такая практика: предоставлять на семинарах возможность студентам самим задавать друг другу вопросы по теме и слушать ответы-экспромты. Получались деловые игры. Но не все студенты вели себя корректно. Готовили заранее сложные, каверзные вопросы и почти «блестяще» на них отвечали, если спрашиваемый не мог четко ответить. Коронными вопросами «коварной» студентки были: сущность и видимость явления в отдельных категориях политэкономии в зависимости от анализируемых на семинаре тем: «товара», «денег», «кредита» и других. Часто эти вопросы адресовывались мне.

Некоторые пожилые студенты — «парттысячники» (направленные партийными организациями), которым учеба давалась с большим трудом, говорили мне:

— Почему ты почти не задаешь вопросов тем, которые неоднократно задавали тебе сложные вопросы, и ты на них не отвечал должным образом? Задай вопрос этой студентке. Ведь ее вопросы и у нас и у тебя в печенках сидят.

— А почему вы сами не зададите ей каверзный вопрос?

— Мы! Да ведь она любого из нас своими вопросами тогда совсем уничтожит. Ты же молодой. Учеба дается тебе легко. Вреда она тебе своими вопросами причинить не может. Таких, как эта студентка, учить да учить надо.

— Хитры вы чужими руками жар загребать. — «Но я орудием козней других быть не хочу», — думал я.

Некоторые студенты договаривались друг с другом о том, какой вопрос будет задан с тем, чтобы хорошо развернуть ответ, подготовленный заранее. Была и практика назначать докладчика по той или иной теме. В этом случае обычно готовились к занятиям только докладчики и жела-



*Студент Кредитно-экономического института  
П.Г. Васильев.*



ющие выступить по отдельным вопросам. Остальные не утруждали себя подготовкой по всей теме.

Так и шли мои занятия, полные недовольства собой и сомнениями, до экзамена по всему курсу политэкономии, который принимал лектор. Неожиданно на экзамен пришел декан факультета. Присутствовал и руководитель семинара. В моем билете были вопросы о «Марксовой теории экономических кризисов» и о «признаках империализма». Свободно, со ссылками на первоисточники я изложил понимание той и другой тем. Лектор задал не очень трудный конкретный вопрос дополнительно. Я с ходу на него ответил. Экзаменующий сказал: «Ответы без сомнения отличные. Почему же такая разница в качестве ответов на текущих занятиях и на экзамене?» Руководитель семинара в недоумении сказал: «Не понимаю происходящего, не могу понять, что стало с отвечающим».

— А Вы как это объясняете? — последовал вопрос мне.

— Я начинал подготовку с изучения первоисточников. Не всегда успевал изучить все, особенно критику буржуазных теорий политической экономии. Заметив мою слабость, ведущий практические занятия задавал мне вопросы именно на эту тему, и я мог дать лишь очень краткие ответы в пределах лекционных материалов, не успев изучить учебник.

— Так. Посмотрим, как теперь освоен этот материал.

Последовал второй дополнительный вопрос по критике одной из буржуазных теорий. Без подготовки прозвучал свободный, четкий ответ.

— Вы заслужили отличную оценку по курсу и получите ее, несмотря на текущие удовлетворительные оценки.

По окончании второго курса я все-таки решил сдавать экзамены для поступления на химический факультет МГУ, хотя к этому времени сбылись ожидания Галагана, что мне понравятся экономические науки. Я полюбил теоретические экономические дисциплины. Практические же — вроде оперативной техники, учета в отдельных отраслях хозяйства — преподавались посредственно, скучно и не пользовались моей любовью.

Я решил попробовать сдать на химический факультет. Подал заявление и был допущен к экзаменам. Вызывали сомнения знания математики. Среднюю математику я знал посредственно. Высшую — на «хорошо», как значилось в моей зачетной студенческой книжке с подписью самого члена-корреспондента Л.А. Люстернака. Блеснула мысль: «Покажу свою зачетную книжку и попрошу экзаменатора поставить

мне сдачу вступительного экзамена без его фактического проведения». В моем экзаменационном листе экзамен по математике был последним. Но я решил переговорить с преподавателем по этому вопросу до начала экзаменов.

Долго дожидался, когда освободится экзаменатор — единственный по этому предмету с ученым званием. Дождался. Когда он выходил из аудитории, я обратился к нему, весьма пожилому человеку, со своей необычной просьбой.

— Такого случая не было в моей жизни. Покажите Вашу зачетную книжку. Да, несомненно, подпись самого Лазаря Ароновича Люстернака. Хорошая оценка по всему курсу высшей математики. Направление и ведомость с Вами?

— У меня это последний экзамен. Он должен быть через десять дней.

— Не понимаю. Приходите в день экзамена. Мы переговорим. Без беседы с Вами я не могу. Такой практики нет. Какую же оценку я поставлю Вам без беседы? Всего хорошего.

Первым экзаменом было сочинение. Мне сказали, что я получил хорошую оценку. Я пришел к экзаменатору: «За что же была снижена оценка? Какие ошибки я сделал?»

Внимательно дважды посмотрев сочинение, он ответил с некоторым недоумением: «Ни одной ошибки Вы не сделали — ни орфографической, ни грамматической, ни стилистической».

— Так почему же снижение балла?

— Вы недостаточно глубоко раскрыли тему. Ваш билет? Песнь про царя Васильевича и так далее. Где происходит действие в этом произведении Лермонтова?

— «Над Москвой великой, златоглавою,  
Над стеной Кремлевской белокаменной  
Из-за дальних лесов, из-за синих гор...»

— Даже наизусть... Раз за сочинение хорошая оценка, то и за устный ответ и общую за предмет я Вам поставлю «хорошо». Будьте здоровы.

Я был очень обижен, но ничего не сказал.

Второй экзамен был по химии. Его принимал студент последнего курса химфака. Билет состоял из задачи и теоретического вопроса.

— Можно посмотреть таблицу Менделеева?

— Зачем она Вам?

— Задачу нельзя решить без знания атомных весов элементов.

— Вы должны знать атомные веса на память.

— Округленно я знаю атомные веса тех элементов, которые нужны для решения.

— Так и решайте задачу округленно.

Когда я решил и показал результат, последовало:

— Решение правильное. Теперь теоретический вопрос.

Быстро и, как мне казалось, четко прозвучал ответ.

Рука потянулась к моему направлению на экзамен.

— Что Вы мне поставите?

— Хорошо.

— Почему? Ведь я и задачу решил правильно и правильно ответил на вопрос.

— Вы не знали полного значения атомных весов. Задача решена без должной точности. За это снижение оценки в один балл.

Итак, после первых двух экзаменов — снижение в два балла. По химии — один. Всего три балла. Просьба о зачете экзамена на основании книжки института, конечно, произвела на преподавателя отрицательное впечатление. Провал по математике обеспечен — так мне казалось. Я смалодушествовал и не пошел на экзамен по математике. Так неудачно завершилась и вторая попытка поступить на химический факультет<sup>1</sup>.

К концу занятий на втором курсе я уже совсем освоился в среде студенчества дневного отделения и стал учиться без перенапряжения. Уровень моих знаний превысил уровень среднего студента. Мне поручили вести занятия с партысячником средних лет, которому учеба давалась с большим трудом. Два вечера в неделю я отводил этому. В основном мы готовились к семинарским и практическим занятиям. Я излагал материал, изучаемый на данной неделе по сложным вопросам. Слушал его ответы по особенно трудным проблемам, отвечал на его вопросы. Это заставляло меня самого изучать материал с некоторым опережением, учило свободно, понятно для собеседника излагать мысли.

---

<sup>1</sup> *Примечание.* После этого абзаца в рукописи следует текст, который автор опустил, так как глава была посвящена занятиям на первом и втором курсах: «На третьем и четвертых курсах занятия по специальности вели Профессора с большой буквы: З.В. Атлас и готовивший к защите докторскую диссертацию доцент В.Т. Кротков, а по «Финансам капиталистических стран» лекции читал Н.Н. Любимов».

Несомненная польза была и для «ученика» и для «учителя». После вечерних занятий жена «ученика» готовила нам скромный ужин (парттысячники получали по сравнению с обычными студентами лучший паек и повышенную стипендию). Видимо, уже тогда у меня были способности к педагогической деятельности. Мы подружились. Однако здесь, в отношениях с парттысячниками, таилась для меня серьезнейшая опасность. Прямые и резкие, иногда иронические мои реплики против зазнайства и «комчванства» создали значительную группу завистников и непримиримых врагов, которые зорко наблюдали за каждым моим шагом и готовились к жестокому удару.

По молодости и неопытности я не ощущал грозившей мне опасности. Первый гром грянул, когда на закрытом собрании партгруппы было вынесено решение не включать в список, представляемый дирекции (тогда в институте была дирекция, а не ректорат) на премирование меня по результатам хорошей учебы. Общее студенческое собрание проголосовало против решения партгруппы, и я был включен в список.

Особенно же накалилась обстановка, когда общее собрание студентов института было задержано почти на три часа, так как партгруппа не могла принять решения о резолюции, предлагаемой на обсуждение. Я внес предложение объявить выговор руководителям партгруппы за огромную потерю времени по ожиданию их решения. Руководитель партгруппы высокомерно цыкнул на меня, требуя снятия моего предложения. Я настоял на голосовании, и при сильном возбуждении коллектива подавляющее большинство вынесло решение об объявлении выговора.

---

---

## ТРАГЕДИИ

Моя жизнь в Москве протекала без особых потрясений. Я имел трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) в студенческих столовых, за которое раз в месяц удерживалась большая часть стипендии, почти символическую оплату общежития. Не испытывал голода.

Жизнь же боровских обитателей нашей семьи все больше и больше осложнялась. Выдача продуктов по карточкам была недостаточна, да и не все члены семьи получали их. Отца уволили по старости, и он стал получать очень маленькую пенсию, хотя и был Героем Труда. Тетушка Клавдия вынуждена была прекратить заниматься вязкой трикотажных изделий, так как плата за патент стала разорительной. Два участка земли в поле, которые прежде давали нам под огород, были отобраны, и остались два маленьких участка около домиков. Породистая корова тетушек «холмогорка» была отобрана. Вместо нее они купили двух коз. Добывать корм для нашей коровы стало очень трудно. Невозможно было держать поросят, гусей. Старый деревянный флигель дома, в котором жила моя бабушка Александра Петровна, был отобран. У нее похитили значительную часть вещей. Она стала дряхлой иждивенкой отца. Положение пожилых полуголодных людей, крайне подавленных и всячески притесняемых как бывших буржуев, создало очень тяжелый моральный климат в семье. За продуктами приходилось ездить в Москву.

Приехавшая в Москву тетушка Клавдия, нагружившая сумками с продуктами, уехала в Боровск.

Через несколько дней у меня в Москве появилась взволнованная мама.

— Где Клавдия?

— Она с неделю тому назад уехала в Боровск.

— Она не приехала. Пришла открытка из клиники Первого Мединститута о том, что она была подобрана в бессознательном состоянии каретой «скорой помощи» на Большой Дорогомиловской улице и находится в клинике.

На следующее утро мы были там. Меня пустили на третий этаж. Я обратился к пожилой сестре.

— Капырина Клавдия Павловна — в тяжелом состоянии. Инсульт. Она до сих пор не пришла в сознание. Мы кормим ее жидкой пищей через зонд. К таким тяжелым больным родственников не пускаем. Раз вы приехали из другого города, пройдите к палате, где она лежит. Я открою дверь. Вы на нее посмотрите, но в палату входить нельзя.

Я увидел на белоснежной койке восковое лицо с закрытыми глазами и восковую руку поверх одеяла.

— Больную можно будет навещать по воскресеньям, когда она придет в сознание. Мы пустим вас в палату. О состоянии больной можно справляться по телефону. Запишите его номер.

Вскоре тетушка пришла в сознание. Каждое воскресенье я был в клинике. Почти два месяца пролежала она там. Затем с трудом ее перевезли в Боровск.

Отец регулярно писал мне. Прошла неделя, другая, третья после того, как перевезли тетушку в Боровск. Писем не было. Я написал сердитое письмо. Ответа не последовало. Seriously обеспокоенный, в ближайшую субботу я поехал в Боровск. По своему студенческому билету я получил билет на автобус (без служебного документа или командировочного удостоверения можно было не попасть на автобус и надо было идти пешком).

В окошечках наших домишек тускло поблескивали огоньки. Большая желтая собака с короткой шерстью и белой звездочкой на лбу — Тюльпан приветствовал меня лаем. Ворота отперла мама. Она горячо обняла и несколько раз поцеловала меня.

— А папочка у нас был очень тяжело болен. Острый инфаркт. Теперь ему лучше. Порадуй его сообщением об успехах в учебе. О неприятностях, если они есть, не говори.

В переднем углу большой комнаты у обеденного стола, на котором тускло горела маленькая керосиновая лампочка, сидел сильно похудевший отец. Он не встал, не сделал попытки пойти мне навстречу. Вяло повернул голову в мою сторону и подставил щеку для поцелуя.

— Что, переменялся? — спросил он дрожащим голосом. — Был тяжело болен. Доктор Рудаков сказал, что, если хочу жить, надо немедленно бросать курить. Сорок лет курил и бросил. Сразу. Навсегда. Ты ведь знаешь, как я делал при решении важных вопросов. А ты меня обидел своим ругательным письмом. Ты должен был достаточно хорошо меня знать, чтобы понять, что здесь у нас что-то случилось серьезное, если я не писал тебе. Нехорошо. Теперь расскажи, как идут у тебя дела в институте?

— Учусь хорошо. В этом году троек не будет. Наверное, и хороших оценок будет считанное число. Почти все — «отлично». Но получаются трения с парттысячниками. За «комчванство» спуска им не даю. Но и они меня бьют больно. Ну, да это несущественно.

— В чем заключаются нападения?

— Партгруппа вынесла решение не представлять меня в число лучших — за хорошую учебу. Но студенты на собрании их не поддержали.

— Это серьезно. Очень серьезно. Не надо шутить с огнем. У тебя много уязвимых мест. Твоя мать — из богатой семьи. Нельзя в современных условиях привлекать к себе внимание. Дай мне слово, что ты до окончания института не будешь состоять ни в какой политической партии. И вести себя осмотрительнее. В некоторых случаях — промолчать, когда спор становится острым.

— Обещаю. Что-то у вас сыровато и прохладно.

— Да. Плоховато, как всегда, у нас с дровами. В кухне русскую печь топим не каждый день. Ездить на салазках в лес за дровами мы уже не можем. Каждый день топим голландку. Бабушка Александра Петровна перешла в домишко к тетушкам. Маме трудно таскать из колодца воду для коровы. Наверное, корову придется продать. Заведем козочек. Перебьемся. Проживем. Думай о себе. Хорошо кончай институт. Старайся закрепиться в Москве. В таком маленьком городишке, как Боровск, ты всегда сможешь жить. Если же сразу после окончания института ты не останешься в Москве, то попасть обратно будет очень трудно. Почти невозможно.

На следующий день я натаскал в кухню две бочки воды для коровы, наколот дров. Пообещав приехать через две-три недели, с тяжелым сердцем возвратился в общежитие института. Боровским членам нашей семьи нужна постоянная помощь. Но помогать я мог лишь во время поездок туда на один день, раз в две-три недели.

В конце второй недели пришла телеграмма: «Приезжай. Тяжело больна мама».

В сумерках меня встретил тусклый свет окошечек наших домишек. Когда я постучал в запертую калитку, Тюльпан встретил меня протяжным лаем и повизгиванием. Понеслись шаги медленно идущего отца. Крепко обнялись и медленно пошли к крыльцу. Тюльпан завыл.

— На свою голову! На свою голову, — крикнул отец, обращаясь к нему. — Вот уже неделю воеет и повизгивает. Дай Бог, чтобы на свою голову.

— Как мама?

— Слаба! Ползучее воспаление легких. Завтра придет хирург. Сделает прокол. Возможно, в плевре есть скопление гноя.

— Температура?

— При ползучем воспалении легких температура не бывает высокой. Началось все через несколько дней, как ты уехал. Небольшая температура. Боль в боках. А она, плохо себя чувствуя, ходила доить корову. Думали — пустяки. Пройдет. Оказалось же — серьезное, хотя... Всех сбила с толку невысокая температура. Только хрипы в легких позволили установить точный диагноз.

— Как же ты теперь? Один?

— Тетушка Александра и Ольга Федоровна готовят еду. Ольга Федоровна доит корову. Молока много. Теленка продали очень маленького. Теперь, слава Богу, сыты. Молочка всем хватает. Конечно, очень трудно. Два тяжело больных человека. Мама и тетушка Клавдия. Она понемногу стала ходить. Да и я еще не совсем поправился.

Так говорили мы, стоя на крыльце у закрытой наружной двери.

— Теперь пойдем к ней. Ждет. Волнуется.

— Панюшка, милый мой мальчик. Подойди. Дай я тебя обниму. Я тебя так ждала.

Я увидел изможденное, худенькое лицо с чуть розоватым румянцем на щеках и глаза, блестящие от восторга, будто бы бегущие ко мне навстречу. Она протянула навстречу мне руки, сделала попытку сесть и беспомощно упала на подушку. Обнялись, прижавшись друг к другу. Замолчали.

Всю ночь просидел я в кресле у ее изголовья, то немного задремывая, то просыпаясь, все время стараясь уловить ее отрывистое, хриповатое дыхание.

Утром хирург — приветливый, улыбающийся — открыл чемоданчик с блестящими хирургическими инструмента-



ми. Красивым, сильным движением ввел в бок мамы длинную иглу от шприца. Легкое сосательное движение.

— Ничего. Я так и думал. Страховки ради ввел иглу шприца. Ничего. — Улыбнулся. — Мы понемножечку будем поправляться. Все будет хорошо.

Прошли в прихожую: «Положение очень тяжелое. Почти безнадежное. Но процесс может быть и сравнительно длительным, а может все окончиться неожиданно быстро. Вам же — кивок в мою сторону — следует вернуться в институт, продолжать занятия, но быть готовым к самому тяжелому. Необходимый же уход здесь обеспечат без Вас».

Примерно в полдень мама обратилась к отцу:

— Гришенька! Нам надо поговорить с Паней наедине. Хочу его кое о чем попросить.

— Панюшка, милый мой мальчик! Умираю. Один ты у меня. Как-то ты будешь в жизни? Кто тебя любить будет?

Дыхание все так же с хрипом вырывалось из ее груди. Ей было трудно говорить. Только одни глаза говорили, и о скольком они говорили! Сколько любви было в них, неизмеримой преданности, и вся она так рвалась ко мне, так хотелось ей поласкать ненаглядного сына...

— Ты останешься один с папой — самым близким тебе человеком. Он очень болен. Береги его, не огорчай. Он тебя очень любит. Смотри за ним. Боюсь, запыет он с горя. Когда ты уезжал в Москву, и он провожал тебя до автобусной остановки, то, как только автобус трогался, он крестил его до тех пор, пока он не скрывался из виду. Так мне говорили соседи, бывшие на остановке. У тебя остался верный друг — тетушка Александра. Я просила ее быть тебе вместо матери — вместо меня, и она мне обещала. Будь честным и трудолюбивым. Не опозорь наших семей Капыриных и Васильевых. Они были людьми уважаемыми.

Я нагнулся к ней. Она со стоном обхватила мою шею теплыми, влажными руками и замерла у меня на груди. Потом упала на постель, перекрестила. Это было наше последнее прощальное свидание.

Вечером с тоской, смутными мыслями я уезжал в Москву. Никто не провожал меня<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Примечание.* После этого текста автор сделал помету: «Переход к рукописи 1934 года», заново пронумеровал страницы, сделал сокращения и некоторые дополнения. Дневниковые записи приводятся нами фрагментарно.

23 марта в 10 часов вечера умерла моя мама.

«Миленький, не пугайся, мамочка приказала долго жить».

Деятельность в эти минуты — самое лучшее средство от самого себя, ибо в такие минуты труднее всего быть наедине с самим собой. Вместе с няней мы стали закупать все необходимое для похорон и поминок, в том числе и в Торгсине. По дороге с рынка няня упала, поскользнувшись. Покупки разлетелись в разные стороны и «поплыли» в коричневых потоках воды. Как ни смешна была эта картина, я не улыбнулся даже, молча подобрал рассыпанное и с удвоенной ношей пошел вперед.

Потом ехали на поезде в Боровск.

Дома встретила тетушка. Бросилась ко мне со словами: «Панечка, мальчик мой милый!» Она припала к моему плечу и зарыдала. Я обнял ее, поцеловал, но не заплакал. Не скажу, чтобы я крепился: я даже не испытывал потребности плакать. Мои глаза устремились на затворенные двери нашего маленького зала. Послышались шаги, дверь растворилась, и предо мною выросла маленькая фигурка с торчащими в разные стороны ключьями седенькой бороденки и в дырявом пиджачишке. Это был мой отец. А за растворенными дверями я увидел все, что осталось от моей мамы: розовый гроб, покрытый покровом, и четыре зажженные свечи. Обрамленное белым саваном виднелось знакомое безжизненное лицо. Тихо склонившись, поцеловал материю савана и прикоснулся к восковой руке, которая поразила своим холодом. При жизни эта рука всегда была такая теплая, что мне показалась очень странной возможность ей охладиться до такой степени. Отступив, я остановился, ожидая чего-то. Но распятие лежало, блестя позолотой, на неподвижных руках, и все было спокойно, только губы читалки, стоявшей справа за аналоем, шептали что-то... Через одну-две минуты я уже был в соседней комнате, куда в беспорядке были свалены мелкие вещи. Оставалась незакрытой только одна кровать, на которую мы с папой сели. Изредка перекидывались словами. Наступили сумерки. Тишину нарушали лишь тиканье и бой двух часов да шепот молитв в соседней комнате...

Следующий день... В калитке показался священник, пришедший служить панихиду. Кадильный дым, зауныв-

ное, унисонное старообрядческое пение. Все более охватывало нас чувство безысходной тоски. После окончания панихиды читалки заунывно продолжали читать вслух. Смеркалось. Чтение становилось тише и превратилось в шепот. Папа задремал...

Поднялся я рано. Небо затянуто серыми тучами, ветер — влажный, упругий, ласкающий, весенний — разговаривает о чем-то с ветвями деревьев. Под ногами звенят коричневые ручейки, и путь преграждают широкие лужи. В некоторых местах дорога так разгрязнилась, что калоши соскакивают с ног, и я с трудом их вытаскиваю.

— Ну, мил, через два дня здесь ни конному проехать, ни пешему пройти, — говорит папа. «Ни конному... ни пешему», — машинально бормочу я себе под нос и вхожу в ворота кладбища. Перелезаем через упавшие кресты, сугробы еще не растаявшего снега. Обходим чугунные ограды и мраморные памятники. Свернули налево. Там рядом с черными мраморными памятниками под сенью трех белых крестов видна свежая желтая земля. Это — могила, приготовленная для мамы. Березы над нею склонили свои ветки и шушукуются с ветерком, который разогнал уже тучи, и из-за них вот-вот выглянет солнышко. Какое дело им до двух маленьких человечков в их огромном горе...

Дома набирается все больше и больше народа. Появляются родственники, о существовании которых не подозревали.

— Папа! Я не пойду туда. Мне трудно!

— Нельзя, милый! Неужели тебе хочется скандала на похоронах мамы?

Подходит няня: «Потрудишься теперь для мамочки. Сколько она для тебя трудилась!»

— Никогда не говори мне ничего подобного, я знаю, сколько мама мне делала и что мне делать, лучше вас!

— Ну вот ты уж и обиделся. Уж и слова сказать нельзя.

— Да что я, деревянный что ли? — несправедливо говорю я, сраженный горем.

...Пришел священник. Опустили шторы и начали петь погребение.

Я забился в самый уголок... Папа встал рядом со мной. Зажгли свечи, но они были какими-то бледными рядом с солнечными лучами, которые, пробиваясь сквозь щели занавесок, играли на кистях покрыва, позолоте распятия и на руках мамы. Когда небо заволакивалось, и его лучи пе-

реставали играть, свечи горели ярче, и еще грустнее становилось в комнате, наполненной кадильным дымом и похоронным пением...

А у папы из-под очков градом падали слезинки и висели на реденьких ключьях бородавки, на усах, пиджаке и падали на пол и, попадая в полосу солнечных лучей, переливались всеми цветами радуги, как бриллианты.

Я подошел. Несколько секунд смотрел на дорогое лицо, быстро нагнулся и, поцеловав в лоб и руку, поклонился до земли: «Прости меня, милая мамочка, уж больше никогда не увижу тебя».

Папа сделал то же самое. Но нянюшка громко завывала, с причитаниями обняла гроб и долго не могла оторваться. За ней завывали и другие женщины. Причитания смешивались с заунывным, унисонным пением, то нарастая, протестуя против чего-то, то, испугавшись собственной дерзости, жаловались на что-то, просили о чем-то. Я стоял в каком-то оцепенении, кажется, утратил способность реагировать на окружающее.

Но вот прощание кончилось. Двое мужчин и я подняли гроб. Рядом со мною шел отец. И вдруг над нашими головами послышалось какое-то пение, и маленькая птичка, кувыркаясь в лучах солнышка, пронеслась куда-то. «Милый, маленький жаворонок! Ты несешься навстречу весне и любви. У тебя скоро будут еще такие же маленькие пташки. У тебя так много счастья, так какое же тебе дело до двух скорбных фигур внизу? Лети, лети, радуйся и не смотри вниз».

На пути — низина. Калоши начинают застревать в вязкой глине и наполняются водой. На мое место становится мужчина, и мы с папой идем за гробом...

Когда умерла мама, я мог — не сразу — но мог писать. Когда папа — не могу. И только через двенадцать дней после его похорон пишу...

Неужели он умер? Как же так? Ведь только двадцать первого он был у меня, и мы с ним часов шесть бродили по Александровскому саду, говорили и не могли наговориться. Во время беседы он открывал коробочку, мы брали по конфетке и продолжали ходить. Последнее время, приезжая ко мне, он всегда привозил коробку мармелада, и мы ее съедали. В жизни отца остался только один человек — сын, для меня же была одна моральная опора и верный товарищ на жизненной дороге — отец. Сколько бы мы ни спорили, сколько бы ни было между нами трений, но

всегда они приводили к одному: мы все больше привязывались друг к другу и, что самое главное, все больше уважали один другого. Между нами была особая связь, которая очень редко бывает, по крайней мере, мне не приходилось встречать ее в других семьях... Подчинение отцовскому контролю было большой радостью для меня. О всяком происшествии я тут же давал знать отцу и с гордостью приносил книги и грамоты, которыми меня награждали. Отец принимал их как свои, гордясь сыном. Уважал он меня не только как сына, но и как человека, и это поднимало мой дух на преодоление новых трудностей, потому что преодолевал их не только для себя, но и для старого отца.

И теперь я вез ему очередную грамоту, и она останется неразвернутой, и не с кем поделиться своей радостью и гордостью...

Как произошло несчастье? После смерти мамы отец остался в своем домике один. Во дворе — куры и овечки. Утром соседка пришла выгнать овец (он поручил ей это дело, так как ему было трудно рано вставать), но она не нашла их в закуте. Пастух со стадом приближался, но овец не было. Вдруг ей в глаза бросилась открытая дверь домика. Никогда отец не оставлял ее открытой. С предчувствием чего-то она вошла в дом. Овцы выбежали ей навстречу. Она вошла в зальцу. На полу лежал человек. Рядом с ним валялся самовар и была небольшая лужа воды. Овцы ли его свалили, или папа, поднимая его, потерял равновесие и был поражен ударом. Ночь... Никому не расскажешь ты о последних минутах и страданиях этого человека...

Вспомнилось... Москва... Солнце... Мороз... Трамвай... Я выскочил, а папа еще не успел сойти, когда трамвай тронулся. Я побежал рядом. Папа не решался прыгнуть. Я протянул руки и крепко схватил его за талию, а он так доверчиво в своей чернотке и меховой капелюхе перешел в мои объятия и очутился на земле. Выражение растерянности на лице заменилось улыбкой, и я получил в награду поцелуй...

Смертью тетушки Клавдии заканчивается скорбный ряд этого года.

Накануне я бродил с Одиноквым по Донскому монастырю. Осматривали памятники Нарышкиным, Голицыным, Воронцовым, Барышниковым... Проходя мимо новых могил крематория, я обратил внимание на совершенно седую женщину, сидевшую у маленького могильного кам-

ня. Неподвижный взор ее был устремлен на фотографию, черневшую на фоне белого мрамора. Столько скорби было в ее лице, в ее застывшей склоненной фигуре, что невозможно было ошибиться, — это мать на могиле сына. Мы тихо прошли мимо, боясь потревожить ее созерцание.

Мы побывали на стенах и башнях, осмотрели музей, посвятив этому целый день.

Через два дня двадцатого сентября в институте на перемене ко мне подбежала с растерянным видом секретарь факультета.

— Это тебе телеграмма? «Каня умерла. Приезжай» — было на клочке бумаги. Я вскрикнул и, не говоря ни слова, побежал в учебную часть. Почему вскрикнул? Ведь я знал, что Клавдия очень больна, ведь я получил письмо, где говорилось, что ей хуже и... все-таки... Я вскрикнул... Декан быстро написал разрешение на отпуск, и я поехал...

Еще одна связь порвалась.

---

## ГОДЫ УЧЕБЫ В ИНСТИТУТЕ НА ПОСЛЕДНИХ КУРСАХ

Наступает год напряженнейшей учебы. Распространяется слух, что институт переводят в Ленинград. Но слух не подтвердился. Институт останется в Москве. Даже здание для него построят. Это подбодрило. Шумевшие, как пчелы в потревоженном улье, студенты угомонились.

Вскоре на одной из перемен ко мне подбежал студент из нашей группы и крикнул:

— Знаешь! Тебя назначили старостой нашей группы. Бежим в аудиторию.

Там на широкой доске красовалась надпись:

Привет тебе, великий, премудрый Берендей!  
Владыка среброкудрый, отец земли своей,  
На благо всем народам богами ты храним,  
И царствует *Свобода* под скипетром твоим!

— Приветствуем нового старосту! Уррра! Смотри и запоминай накрепко, что слово «Свобода» подчеркнуто. Пусть в нашей группе царствует Свобода!

Вскоре факультетское студенческое собрание избрало меня членом цехпрофбюро, а на его заседании — секретарем. Председателем был избран студент со значительным жизненным опытом. Я получил право пользоваться читальным залом для профсоюзных работников в Доме Союзов на Большой Дмитровке. Зал был уютный и теплый, снабженный богатым книжным фондом. В институте появилось новшество: один день в неделю — свободный от расписания (кроме воскресенья). Я уходил в этот день с утра до позднего вечера в читальный зал Дома Союзов, успешно занимался там, никем не отвлекаемый. Из наших студентов там никто не занимался.

Примерно через год обнаружилось, что активные занятия профсоюзными делами сыграли в моей судьбе, можно сказать, роковую роль. Некоторые парттысячники, завидовавшие мне, а может быть, и обиженные чем-то, стали пристально, каждодневно следить за мною. Неожиданно я был смещен с поста старосты и переведен в другую группу. Там я был избран профсоюзным группоргом. Мотивировалось это «целесообразностью» и «совершенствованием» работы студентов на нашем курсе. Никого из переводимых не спросили, согласны ли они на перевод. Многие были недовольны: привыкли к коллективу, сдружились с ним.

Стал я пописывать в стенные газеты, особенно в групповую, где почти в каждом номере была моя статейка.

К этому времени у меня сложились дружеские отношения с очень способным студентом, комсомольским вожаком Виктором Васильевичем Чуриковым. Был он немножко поэтом и актером. Дружил я и с Борисом Константиновичем Шуровым, круглым отличником, сыном очень крупного медика, заместителя академика В.Н. Виноградова по факультетской терапевтической клинике Первого Московского Медицинского института Константина Алексеевича Шурова. Добрые, товарищеские отношения были у меня с вдумчивым, немногословным студентом, который был лет на пять старше меня, — Николаем Капитоновичем Блохиным. Он обладал широким кругозором, прочитал к тому времени много экономической литературы. Был замкнут, но на семинарах любил выступать с серьезными, неожиданно раскрываемыми вопросами. Его выступлений побаивались преподаватели и даже лекторы, которым он, не стесняясь, в конце лекций задавал вопросы — интересные, глубокие. А иногда делал краткие, телеграфным языком сформулированные замечания о неправильных, по его мнению, утверждениях. Однажды разразился на семинаре скандал, когда Николаю в резкой форме возражал преподаватель по вопросу о сущности советских финансов, имевшему политические аспекты. Преподаватель доложил об этом партийной организации. Началось тяжелое расследование.

Я знал об осуждении Николаем проявившихся уже в то время негативных чертах культа личности Сталина. Я же в целом считал прогрессивной политику партии. Мы часто и горячо спорили, полностью доверяя друг другу. Николай медленно, по отдельным вопросам отказывался от своих резко негативных взглядов. Мне казалось, что мы придем к



общей точке зрения, но на протяжении почти года дело существенно не продвигалось, за исключением отказа Николая от активной борьбы с культом личности путем создания организации.

Однажды ко мне подошел пожилой парттысячник и сказал, что со мной приватно хочет поговорить представитель райкома партии, и мне следует пройти в комнату партбюро института.

Там я увидел плотного, широкоплечего человека, низкого роста, бритого, с усами, не производящего скольконибудь сильного впечатления. Глаза чуть прикрытые, спокойные.

Поздоровались. Сели.

— Райком партии интересуется состоянием партийной работы в институте, настроением студенчества. Что Вы можете сказать мне об этом? Каково, например, настроение Вашего, как говорят, близкого товарища Николая Капитоновича Блохина?

— Удивлен Вашим предложением беседовать и особенно о Блохине. Я беспартийный и не имею желаний разговаривать на эту тему.

— Наша беседа носит совершенно частный характер и ведется от имени партийного органа. Это означает доверие, уважение к Вам. Если Вы отказываетесь беседовать — значит проявляете неуважение к партийному органу. Если так, то мы прекратим беседу.

— Уважаю партию, ее районное звено и согласен беседовать с Вами. Какого рода сведения Вас интересуют?

— Вот это другое дело. Действительно ли Блохин Ваш друг?

— Да.

— Ваш близкий друг?

— Да.

— Когда Вы с ним видите, выпиваете? Откровенно беседуете?

— Относительно выпивок — категорически исключено. Беседуем откровенно.

— Каково его отношение к основным вопросам политики партии? Коллективизации? Индустриализации? Террору?

— Террор резко осуждается. Относительно других вопросов должен сказать, что ответы на них могут носить характер оговора товарища.

— Я же предупредил, что наш разговор носит совершенно частный характер.

— И все же... Какие вопросы Вас интересуют, кроме личности Блохина?

— Как обстоит дело с работой партийной организации? Какие недостатки в ее работе?

— Считаю, что работа идет должным образом.

— Какие взаимоотношения у студенчества, у Вас, например, с парттысячниками?

— В основном нормальные. Некоторые старые партийцы имеют склонность к «комчванству». Но это получает должный отпор.

— Кто конкретно страдает этим недостатком? Перечислите пофамильно. В чем это выражается?

— Опять мы встаем на путь оговора.

— Сожалею, что доверительного разговора не получилось. Жаль. Вы еще очень молоды. Вам надо выбрать правильную дорогу и неуклонно идти по ней. Обдумайте хорошенько то, о чем и как мы говорили. Вы были неискренни.

— Обещаю серьезно обо всем подумать. Возможно, полезно еще раз встретиться?

— Нет... Вы неискренни. Прощайте.

Когда я вышел из комнаты, сердце мое часто, часто и беспомощно билось, как крылышки маленькой птички, попавшей в мощные руки безжалостного человека. Мгновение... и все будет кончено. И вдруг четко, четко выкристаллизовалась мысль: это был работник органов. Была не доверительная беседа, а первый вариант допроса.

На следующий день на перемене я шепнул Николаю, что за нами установлена слежка. Ему надо сократить или совсем прекратить свои развернутые выступления на семинарах, перестать задавать сложные вопросы лекторам. Главное же — перестать делать им замечания. Шепнул я и о том, что меня вызывал на беседу якобы представитель райкома, а на самом деле — работник органов и что я, разумеется, не оговорил его.

Хотя я очень напряженно учился, и текущая успеваемость почти по всем дисциплинам признавалась преподавателями отличной, а сложная и тревожная обстановка в институте очень беспокоила меня, я урывал время для занятий в драматическом кружке. Вместе со мной занимался Виктор Чуриков. Занятия вел артист Московского Художественного Академического театра и очень интерес-

ный человек Яков Иванович Лакшин. После того как мы подготовили одноактную пьесу и сыграли ее вначале на институтском вечере, а затем — в подмосковном колхозе, после одной из очередных репетиций Яков Иванович попросил меня остаться. Предложил прочитать ему какое-нибудь стихотворение или отрывок из художественного произведения. Я прочел ему «Дары Терека» моего любимого поэта М.Ю. Лермонтова. После прочтения мы оба некоторое время молчали.

— Талантливый Вы человек. Вот что я Вам скажу. Давайте работать с Вами вместе, заниматься индивидуально после каждой репетиции. Вы будете готовить текст стихотворения или отрывок произведения, по своему выбору, читать его, а затем вместе будем готовить его для чтения с эстрады. Так после каждой репетиции, затрачивая на это час-полчаса. Согласны?

— Большущее спасибо. Конечно, согласен.

— Тогда, не откладывая, начнем сегодня с прочитанного стихотворения «Дары Терека».

Так мы работали приблизительно год. Я мысленно благодарю всю жизнь Якова Ивановича за эти уроки. Они помогли мне стать хорошим лектором в институте. Думали об одном — увлечении деятельностью актера, а получилось другое — замечательная школа лектора.

\* \* \*

Надвигалось время первой производственной практики. Виктор Чуриков, Смирнов, кавказец Дзилихов и я согласились ехать для ее прохождения в Калугу — в окружную контору Государственного банка. Мы решили там жить коммуной. Объединили четыре стипендии. Казначем избрали меня. Кроме того, поручили мне каждое утро ставить самовар и назвали его «Самоваром Павловичем». Чурикову и Смирнову была поручена закупка продуктов (тогда еще были карточки, и снабжение продуктами было трудным делом). Каждый день вечером они докладывали мне о расходах. Я вел всю эту бухгалтерию и выдавал им денежные подкрепления. Дзилихову было поручено топить печь и готовить простую еду на завтрак и ужин. Обедали мы в столовой Госбанка. Управляющий — довольно молодой, симпатичный, приветливый человек — выделил нам большую комнату в банковском доме, недалеко от служебного помещения. Нас снабди-

ли постелями, матрацами, одеялами и бельем. Зажили мы весело и дружно.

Главный бухгалтер — пожилой, плешивый человек с большими очками, которые он обычно носил на кончике носа, переводя глаза с текста документов на лица собеседников поверх очков, был назначен руководителем практики. Непосредственными нашими учительницами стали операционистки — молоденькие, хорошенькие девушки. Бухгалтер составил жесткий план прохождения практики каждым из нас по каждой операционной группе с тем, чтобы мы освоили основные бухгалтерские операции.

— С завтрашнего дня у четырех операционных окошечек будете сидеть не вы, операционисты, а практиканты, — изрек главный, строго озирая собравшихся. — Вы, операционисты, вздумаете, чего доброго, обучать их — кивок в нашу сторону — теоретическим вопросам. Они должны знать и, наверное, знают теорию бухгалтерского учета лучше вас. В институте они прослушали курс, пожалуй, лучшего в России специалиста, профессора Галагана, ученого с мировым именем. Все платежные документы от клиентов будут получать практиканты, проверять их и делать все оформление на подлинных бухгалтерских счетах банка. Вы же будете сидеть сзади и контролировать внимательнейшим образом все их действия.

— Так, Палладий Григорьевич! Они страшную грязь на счетах разведут. Вдруг — ревизия. И с нас и с Вас голову снимут. У окошечек очереди выстроятся. Клиенты Вам же жаловаться будут. — Ничего. Все надо пережить. Если же у кого-нибудь затор получится — поменяетесь местами. Надо быть корректными, не поддаваться панике. Не проявлять нервозности. Никаких возражений. Делать, как я сказал. Это — приказ.

На следующий день задолго до начала работы мы были на своих местах. Ближе познакомились с нашими преподавательницами. Все были возбуждены и напряжены. Нам хотелось поухаживать за своими учительницами. Им — чтобы им проявили внимание студенты-москвичи.

С ошибками, промахами, но дело пошло. Мы всю жизнь благодарны главному за доверие, за полученные очень нужные практические навыки, за знакомство с настоящей работой банка на трудном и горьковатом опыте.

Без особых неприятностей и сбоев дело шло до тех пор, пока нам с Чуриковым не настала очередь провести

журнал всех операций за день по приходу и расходу и составить оборотную ведомость по всему учреждению. Самая напряженная часть работы проходила во второй половине дня, когда в банке клиентов не бывает. К концу работы журналисты сверяют данные журнала с каждым счетом операционистов. Сверка журнала по приходу и расходу со счетами, казалось, полностью подтвердила верность журнала. В этом расписались все операционисты и убежали домой. Но... когда каждый из нас (Чуриков и я) подсчитали два общих итога, то приход не сошелся с расходом на три копейки. Операционный день не мог быть окончен. Что делать? Искать ошибку, проверяя правильность бухгалтерских проводок по всем счетам за весь день. В банке существует непререкаемое правило. Журналистам нельзя уходить домой, пока не будет подведен итог за день. Проходил час, другой, третий... Огромные напольные часы банка пробили двенадцать. В проверку давно включились оба кадровых журналиста, и вдруг... Держа документ, Чуриков обратился ко мне:

— Ты как прочитал и записал бухгалтерскую проводку в копейках по такому-то документу?

— Одна копейка. А ты?

— Четыре копейки. Вот она, злополучная ошибка! Вот где нехватка трех копеек! Уррра! И правда, не разберешь, единица это или четверка. Вот что значит небрежно составлять документы банка!

— Поднимите лицевой бухгалтерский счет клиента! Ага! Операционист такая-то вначале записала правильно, а потом, сверяя данные с журналом, зачеркнула свою цифру и написала цифру журнала. Должно быть, на свидание торопилась, такая-сякая! Ну, погоди! Завтра главный устроит ей баню.

Около часу ночи, счастливые и усталые, мы были дома. Утолили зверский аппетит скромным ужином, который давно остыл, и заснули как убитые.

Быстро мелькали дни. Вот и конец практики, конец существованию нашей коммуны. Подвели итог наших «прихода» и «расхода». Оказалась свободной некоторая сумма. Уррра! Качать казначея. Народу из желающих качать было три человека. Казначей не давался. Качание не получилось.

— Устроим прощальную пирушку. Позовем наших учительниц. Перед последним днем практики. Только, Павел, знаешь, я позову на пирушку свою родственницу. Поэтому

тебе свою учительницу приглашать не стоит. Женщин, если ты пригласишь, будет больше, чем мужчин. Нехорошо получится. Прошу, очень прошу тебя об этом, как о личном одолжении.

— Так если я не приглашу свою учительницу, тоже будет очень плохо.

— Прошу тебя, выполни мою просьбу. Ведь, пожалуй, больше я ни о чем не попрошу.

— Выполню твою просьбу, но затеял ты плохое дело.

Пирушка прошла весело, шумно. Трое практикантов танцевали. Я не умел. По временам Чуриков прекрасно играл на мандолине. С родственницей Виктора у меня контакта не получилось. Поздно ночью проводили наших учительниц и возвратились домой.

На следующее утро охранник, который стоял в дверях банка, предупредил, что нас сейчас же приглашает к себе управляющий.

Поздоровались.

— Садитесь, пожалуйста. У меня на вас жалоба. Сотрудники банка в доме, где я вас поселил, утверждают, что сегодняшнюю ночь вы со своими приятельницами шумели, не давали спать, устроили дебош. Что вы на это скажете?

— Сожалею, что так случилось. Пирушка у нас была, но дебоша мы не учиняли. Сотрудники Ваши сгустили краски. Забыли, наверное, что были молоды, сами любили пошуметь и повеселиться. Просим Вас извинить нас. Извинимся и перед сотрудниками.

— Вам надо было предупредить меня, посоветоваться. В этом случае не было бы неприятного документа, о котором я говорил. Но я ему хода не дам. Останется он здесь. Я же напишу положительный отзыв о прохождении практики и всем дам положительные характеристики. Но в будущем учтите этот неприятный случай и будьте осмотрительнее.

Несколько обескураженными вернулись мы к побледневшим учительницам и стали каждый оканчивать свои отчеты о практике, которые должны подписать главный бухгалтер и управляющий. Наши наставницы сказали о том, что у них был неприятный разговор с главным бухгалтером. Но, наверное, все обойдется без формального общественного порицания. Особенно грустной была моя наставница. Когда мы остались с ней одни, она с укором сказала мне:

— Вы меня очень обидели. Не пригласили на прощальную вечеринку, а я так надеялась и хотела этого. Неужели я в чем-то виновата?

— Вы ни в чем не виноваты. Очень благодарен Вам за помощь. Очень хотел пригласить Вас, но меня просил товарищ в порядке личного одолжения не делать этого. Он должен был пригласить свою родственницу. По своему малодушию я согласился.

— Не принимаю Вашего объяснения. Вы пренебрегли мной. Очень меня обидели.

— Извините, пожалуйста. Прошу Вас вместе со всеми сотрудницами сегодня проводить нас. Поезд отходит поздно вечером. Очень прошу. Мы все вместе едем в одном вагоне.

— Нет. Не прошу и провожать не приду. Запомнила обиду на всю жизнь. Попрощаемся здесь в банке.

Я хотел поцеловать ее руку. Она вырвала ее. Недаром я говорил Виктору: «Будет очень нехорошо»; «затеял ты нехорошее дело».

Несмотря на отдельные неполадки и шероховатости, довольные результатами практики и положительными отзывами, мы возвратились в институт. Опять началась напряженная учеба.

У меня завязалась дружба с пожилым парттысячником Воробьевым. Мы с ним вместе решали задачи, готовились к семинарским и практическим занятиям.

— Поменяйся с кем-нибудь и переходи в нашу комнату общежития. К тебе настороженно и даже враждебно относятся некоторые парттысячники. На прошлом общегрупповом собрании ты неуважительно назвал неуспевающих «типами». Высмеял высокомерно поляка, сделал замечание студенту, который напился до потери сознания. Завидуют твоим способностям, прилежанию, успехам в учебе. Берегись! У тебя могут быть серьезные неприятности. Будь корректнее. Не задавайся.

Летнюю экзаменационную сессию я сдал успешно. По всем предметам — «отлично», кроме «оперативной техники». По ней — «хорошо».

После сессии в период летних каникул каждый студент должен был отработать один месяц в подсобном хозяйстве Госбанка в Тарусе. Поехали вдвоем с Блохиным. В дороге к нам присоединились еще двое студентов. Большой участок берега реки Оки был занят посевом огурцов. Вырос обильный урожай.

— Вот хорошо — четверо мужчин, — такими словами встретил нас в Тарусе заведующий подсобным хозяйством. — Нам до зарезу нужны возчики — доставлять на пристань кули с огурцами. Как раз четыре лошади свободны. Кто-нибудь из вас запрягал когда-нибудь лошадь?

— Я запрягал и люблю лошадей, — ответил студент Иванов. — Я крестьянский сын.

Остальные молчали.

— Как удачно. Научите запрягать товарищей. Работа мужчинам посильная. Кули с огурцами нетяжелые. Целый день уход за лошадьми — на вашей ответственности. Рано утром будете брать лошадей на скотном дворе у конюха. Поздно вечером — ему сдавать. Днем самим обедать и кормить лошадей. Нагружать телеги огурцами на поле и сгружать их на пристани надо вам самим. Затаривают на поле сборщики. Рабочий день будет больше восьми часов. Иногда придется прихватить и воскресенье. Но мы будем вас стимулировать и провиантом и деньгами. Ну как? Поладили?

— Ребят! Согласимся? — кивнул головой Иванов. — Я вам по первости помогать буду. Запрягать научу.

— Сейчас пойдем на скотный двор, — сказал директор. — Познакомьтесь с конюхом. Отведу вам четыре койки с постельным бельем в мужском общежитии. Завтра с утра приступите к работе как возчики. За каждым закрепим лошадь и телегу. Иванова назначаю бригадиром. Между собой сдружитесь — ведь вы студенты одного института. Огуречное поле близко. Правда, надо проехать небольшим леском. Раздвоения дороги нигде нет.

Утром Иванов учил нас запрягать лошадей, звонко покрикивая. Особенно трудно дело шло у Блохина — коренного москвича, который редко выезжал за город и никогда не работал в сельском хозяйстве, не имел дела с лошадьми. Решили ездить в основном вместе, помогая друг другу. Блохина с поля выпускали первым, как самого неумелого и неловкого. Понемногу втягивались в работу, но очень уставали.

Дня через три мы, как обычно, отправили к пристани Блохина первым. Сами нагрузили остальные телеги и поехали вслед за ним. Моя лошадь была передней. Заехав в реденький лесок, я увидел в огромной луже телегу с возом огурцов — без передка. Лошадь с передком телеги была привязана к ближайшему деревцу. Из-за кустов доносилось пение: «Куда, куда вы удалились, весны моей



златые дни?» Пел Блохин. Иванов резво побежал на звуки пения.

— Хорош гусь лапчатый! Телегу с возом без передка бросил в утопище, лошадь с передком привязал к дереву, а сам удалился в кусты и рулады распевает!

— А что же мне делать?

— Как что? Воз сгружать надо, черт тебя задери!

— Попробуй подойди к нему. Ботинки зальешь с верхом. Сам же сказал — утопище.

— Разуться, штаны засучить и перетаскивать кули с огурцами на сухое место. Ребята! Разуваемся. Разгружаемся. Шкворень-то у телеги цел? Или и его утопил?

— Шкворень цел.

— Тебе соображать надо было. Свернуть немного в сторону. Ведь так уж не раз делали. А тебя прямиком понесло.

Разгрузили воз. Вытащили телегу. С трудом надели ее на передок. Приехали к пристани и сдали огурцы на отправку.

Быстро бежали день за днем. Днем купались в Оке. Хорошо плавали. Однажды прошел ливень с грозой. Когда мы подъехали к Оке, увидели, что вода поднялась примерно на метр выше обычного уровня. Как всегда, я бросился в воду и поплыл саженками к середине реки. Вначале я не заметил каких-либо изменений. Место купания было за поворотом реки. К тому же основное течение было загорожено пристанью. Незаметно для себя броском я выплыл на стремнину. Мощное течение подхватило меня и поволокло вниз. Напрасно я, быстро повернувшись, старался плыть к берегу. Почувствовал свое бессилие, испугался. Увлекаемый с огромной силой течением, довольно долго и безжалостно крутимый водоворотом, только через полкилометра, очень усталый, я выбрался из стремнины и, наконец, приплыл к берегу.

— А мы уж стали беспокоиться, увидев, как тебя подхватил водоворот. Боялись, вдруг утонешь. Поблизости не видать ни одной лодки. С Окой шутки плохи. Хорошо, что ты сильный и не растерялся.

Оканчивался месяц нашего пребывания в подсобном хозяйстве. Неожиданно нас вызвал к себе директор.

— Ребят! Вижу, дело у вас идет. Может, останетесь на месячишко еще? Получились из вас хорошие возчики. Премию вам выдадим. Деньжат подбросим. Продуктов дадим, сколько увезти на себе можете. Оставайтесь!

— Спасибо за добрые слова, — сказал наш бригадир. — Но остаться еще на месяц, думаю, никто не согласится. Очень устали. Вот девчата красивые, симпатичные — в большинстве сотрудницы учреждений Государственного банка — не один раз звали погулять с ними вечером. Никто из нас ни разу не согласился. Очень уставали. Денег же дадите очень мало для бедных студентов, живущих на мизерную стипендию. Какие-нибудь два-три месяца будет ощутима ваша добавка. А потом? Правильно я говорю? — спросил нас бригадир.

— А я надеялся, что согласитесь. Жаль, что не останетесь. Небольшую премию мы вам все равно выдадим. Выглядите вы хорошо. Как загорели — будто на юг съездили, мускулишки поднарастили. Вы ведь дополнительно к своей работе аккордно на пристани, как мне говорили, подрабатывали. Верно?

— Так. Но еще на месяц не останемся.

На прощанье сходили в дом-музей художника В.Д. Поленова — доставили себе радость.

На вокзале в Москве простились. И каждый отправился проводить второй месяц каникул по-своему.

Незадолго до начала каникул я получил очень доброе, приветливое приглашение от дяди Мити — в прошлом служащего Казначейства, а затем солдата лейбгвардии Кексгольмского полка, воевавшего в Восточной Пруссии. Шефом этого полка была царица — супруга Николая Второго. Во время военной службы в Петербурге дядя неоднократно стоял в карауле в Зимнем дворце. В Гражданскую войну был военруком Красной Армии. А потом опять служил в банке.

— Приезжай ко мне в Карсун. После смерти твоих отца и мамы будешь нам с Машей сыном — я ведь твой крестный отец. Отдохнешь после потрясений и напряженной учебы. У меня две дочери — твои двоюродные сестры — также будут в Карсуне. Одна — студентка Куйбышевского Мединститута, другая — сельская учительница. Тебе надо развеяться и поближе познакомиться с моей семьей.

Размышления были недолгими. Два дня пробыл в Боровске. Потом на Казанском вокзале взял льготный студенческий билет до станции Вешкайма, от которой до Карсуна было всего лишь верст тридцать, забрался на верхнюю полку жесткого вагона пассажирского поезда и на следующий день — в жаркий августовский полдень вышел на станции назначения. Поискал какое-нибудь транспортное сред-

ство до Карсуна, но ничего подходящего не нашлось. Автобусы вообще не ходили. Никакой подводы не было. Решил идти пешком. С небольшим зелененьким баульчиком, таким удобным для того, чтобы на него присесть в переполненном автобусе или вагоне пригородного поезда. Плащ через плечо, легонькая, светленькая кепчонка и крепкие, молодые студенческие ноги. Что им стоило преодолеть какие-то тридцать верст! Дорога была торная, широкая, без раздвоений и поворотов, пыльная.

Выйдя за поселок, я заметил, что природа здесь совсем другая, не похожая на привычную для глаза. Черная почва. По ветру стелилась мягкая трава. Ковыль, наверное. Вот он какой, ковыль... Было жарко. Снял пиджак, засучил рукава. Прибавил шагу. Шел без особого напряжения. Присаживался отдохнуть. Потом опять шел. Солнце садилось. Становилось прохладнее. Прошел деревушку. Показались домики. Карсун. Вот и улица, где живет дядя Митя в снятом им опрятном деревянном домике с надворными постройками, ветхим забором. Я открыл незапертую калитку...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Примечание.* Последнее, что писал Павел Григорьевич в своих мемуарах незадолго до поездки в Боровск 8 мая 1995 года, которая окончилась трагедией. Пребыванию в Карсуне, семье Дмитрия Григорьевича Васильева посвящена небольшая поэма «Былое», начало которой было написано еще летом 1935 года, когда автор гостил у дяди (опубликована в кн.: *Васильев П.Г.* «Из записок ополченца». М.: Звонница, 1996. С. 26-29). Главы, которые следуют за этой в настоящем издании, были написаны автором раньше.



Тамбов в моем предвзвешенном  
 кафедре и об одном из самых  
 величайших профессоров в моей  
 жизни (август 1935г.)  
 сидит в кресле аб. Димитриева Васильева  
 от нас справа Васильев Павел Григорьевич

Стоюти в дни невообразимых избу-  
 ствон 15/III 36г.

Запись на фотографии, сделанная П.Г. Васильевым  
 в юности и в последние годы жизни.

---

---

## ХОЖДЕНИЕ ПО ТЮРЬМАМ

В глухую полночь октября 1935 года у торцовой стороны двухэтажного корпуса общежития Алексеевского студенческого городка Москвы остановилась легковая машина. С переднего сидения, что было рядом с шофером, поднялся и вышел человек в гражданской одежде — средних лет, с правильными чертами типично русского лица, чисто выбритого, с умными, внимательными, жесткими глазами, прекрасно натренированным телом, военной выправкой. С заднего сиденья вслед за ним поднялся второй — пожилой, полный, широкоплечий, видимо, очень сильный, одетый в длинную шинель. Обращаясь к молоденькому солдатику, на голове которого была голубая фуражка внутренних войск и который держал трехлинейную винтовку с примкнутым штыком, он хриплым низким голосом командовал: «За мной!»

Они обошли половину корпуса и остановились около одного из темных окон: «Стойте здесь. Если из окна на втором этаже выпрыгнет человек, стреляйте без предупреждения по ногам, на поражение, чтобы взять живым».

Быстрыми шагами человек в шинели без знаков различия вернулся к торцу здания, и вдвоем с одетым в гражданское они поднялись по лесенке к входной двери. Изнутри их ждали. Глухо щелкнул замок, и они безмолвно вошли в корпус. По негромко поскрипывающей деревянной лестнице поднялись на второй этаж и бесшумно прошли к двери комнаты на четверых. Одетый в гражданское чуть слышно, как мышонок, поскребся. Дверь отворилась. Тихо щелкнул выключатель. Открывший дверь студент быстро юркнул под одеяло. Остальные трое крепко спали. Одетый в шинель резво и тихо прошел к одной из студенческих коек.

Сел в ноги спящего. Громко произнес: «Васильев Павел Григорьевич!»

Неожиданно разбуженный, я попытался быстро встать. Последовал грозный окрик:

— Лежать! Оружие имеете?

— Нет.

— Где Ваша одежда? Книги? Конспекты лекций?

Были вывернуты карманы верхней одежды. Тщательно прощупаны швы. — «Одевайтесь!»

В это время человек в гражданской одежде внимательно просматривал и собирал в аккуратные стопки мои конспекты, листал учебники, стараясь найти в них записки, пометы на полях. Мне думалось: «Какие же надеть ботинки? Только что полученные по ордеру совершенно новые ярко-желтые? Нет. Жалко. Я еще ни разу не успел их надеть. Надены старые с подбитыми подметками». Когда я оделся, последовал приказ: «Подойдите к столу. Прочитайте ордер на обыск и арест». На ордере была надпись: «Заместитель... НКВД...» и неразборчивая подпись. Я внимательно посмотрел на стол. Кроме стопок моих записок и ордера, на нем ничего не было.

— Вчера я написал и запечатал в конверты с адресами два письма. Они лежали на столе. Прошу опустить их в почтовый ящик.

— Ваши письма у меня. Они не будут отправлены. Их поместят в Ваше уголовное дело, — с улыбкой сказал одетый в гражданское.

— В мое уголовное дело?

— Да. В Ваше уголовное дело.

За всем происходящим внимательно, молча, с любопытством и некоторым страхом наблюдали проснувшиеся студенты, лежавшие на своих кроватях.

«Кто же из них открыл дверь? Кто же тот человек, что, вероятно, давно и пристально следил за мною?» — проносилось в моей голове. Уверенного и четкого ответа не было, хотя подозрения были. Обыск был окончен. Вопросы ко мне почти не было.

— Вы последуете с нами.

— Что мне можно взять с собой?

— Там, куда Вы последуете, Вам ничего не потребуются. Будете на полном казенном обеспечении. Можете взять мыло, зубной порошок, зубную щетку, полотенце.

У автомашины последовало распоряжение: «Садитесь на заднее сиденье». Сотрудник в штатском сел рядом с

шофером. На заднем сидении посередине поместился я. С одной стороны — длинная шинель без знаков различия. С другой — голубая фуражка, в руках которой — винтовка с примкнутым штыком.

Машина мчалась к центру. Мелькали дома с темными окнами почти безлюдных улиц. Москва только просыпалась для очередного напряженного рабочего дня. У закрытых ворот здания на Лубянке раздался окрик часового: «Ордер!». Сотрудник в гражданском, который был на переднем сиденье, несколько замедленно и как бы неохотно встал и протянул в развернутом виде ордер. Вместе с отдаением чести прозвучало: «Проезжайте!»

Распахнулись ворота. Машина въехала во двор. Вдвоем с сотрудником в гражданском мы вошли в здание, поднялись на лифте. Открыли дверь служебного кабинета. Из-за стола на меня смотрели злые карие глаза на типично еврейском лице. На воротничке форменной гимнастерки поблескивали четыре шпалы.

— Ну что? Допрыгались?!

— Что значит «допрыгались»?

— А то значит, что Вы здесь, у нас. Я пару дней следил за Вами.

— С кем я разговариваю?

— Вас допрашивает чекист Тенненбаум. Запомните. Отсюда уже никто не выходит на волю.

— Да за кого Вы меня принимаете?

— За врага.

— Тогда нам с Вами не о чем разговаривать.

— Ну, берегитесь! Плохо Вам будет, если Вы так начинаете разговор на следствии. Повторяю... На волю отсюда никто не выходит!

— Потише, Марк Абрамович, — внезапно прозвучал голос сотрудника в гражданской одежде. — Арестованный, запомните твердо. Преступников здесь наказывают и исправляют. Политически слабо разбирающихся — учат. Оставляю Вам, Марк Абрамович, арестованного. Проследите, чтобы он был правильно оформлен и направлен по назначению, — и вышел из кабинета, слегка кивнув головой.

По звонку шпалоносца явился вооруженный конвойный и приказал мне следовать по назначению. В длинном коридоре, в конце его, над дверью горела зеленая лампочка. Вдруг внезапно зажглась красная. Конвойный резко ос-

тановил меня, отпер своим ключом боковую комнату, втолкнул меня в нее и захлопнул дверь. Через несколько минут слышались приглушенные ковром шаги. Мимо двери прошли. Затем ее опять отперли. В коридоре горела зеленая лампочка. Я понял, что сигнализация лампочками должна исключить встречу, хотя бы мгновенную видимость «однодельца» (привлеченного по одному и тому же делу). Мы прошли довольно длинный путь. Поднимались на лифте. Вошли в парикмахерскую. Там меня машинкой остригли наголо (маленькую прядь срезанных волос я на память положил в кармашек пиджака). Далее — фотоателье, где сфотографировали анфас и в профиль. Потом провели к аппарату, вальцы которого были смазаны черной краской. Зафиксировали на бумаге отпечатки ладоней правой и левой рук вместе с пальцами, а затем — каждого из десяти пальцев. В моем деле записали особые приметы: родинки на щеках и на шее.

Затем конвоир опять провел меня по коридору, отпер дверь в совершенно темную комнату. Легким толчком приказал войти в нее. Закрыл и запер дверь. Его шаги быстро удалялись и, наконец, замерли. Довольно долго пробыл я в этой безмолвной комнате. Я запел, вначале тихо, но потом во весь голос:

Не слышно шуму городского,  
Над Невской башней тишина.  
И на штыке у часового  
Блестит полночная луна...

В коридоре слышались шаги бегущего человека. Громко шелкнул замок. Рывком открылась дверь. Запыхавшийся произнес: «Петь запрещено. Громко говорить запрещено. За нарушение — карцер. Поняли?»

Опять дверь заперли. Через некоторое время появился конвоир и приказал следовать.

Мое появление в набитом арестованными помещении внизу здания приветствовал насмешливый громкий голос: «Поздравляем с водворением в собашник! — Какой собашник? — Ба! Новичок. Не знает, что такое собашник на Лубянке!»

В собашник (некое сортировочное помещение) приводили новых, выкликали фамилии заключенных, проводивших там некоторое время, затем уводили их.



Неожиданное и большое впечатление на меня произвела фигура пожилого военного, одетого в щегольскую, прекрасно отутюженную форму. С воротника его гимнастерки были неаккуратно срезаны знаки различия. На груди были сделаны разрезы, через которые, вероятно, были сняты правительственные награды. Он, ни к кому не обращаясь, тихо и медленно произносил: «Если бы о том, что я здесь, знал Климент Ефремович... Если бы он только знал...» И опять почти шепотом в разных сочетаниях повторял смысл этих слов. А у меня промелькнула коварная мысль: «А если он об этом знает? Если все сделано с его ведома? Если Вы, умудренный опытом, старый, наивный человек, ошибаетесь?»

Вдруг вошедший сотрудник внутренних дел произнес знакомую мне фамилию: «Золотарев!» «Уж не мой ли борковский товарищ Гаврюша Золотарев? Неужели он тоже арестован?»

— Золотарев! — Опять на эту фамилию никто не ответил. Затем прозвучала еще одна незнакомая фамилия. И опять никакого ответа. Человек со списком в руках резво выбежал. И тогда мне пришла мысль о строгом порядке помещения в собашник арестованных. «Не могли в него быть помещены однодельцы одновременно. Арестованные не должны знать, попал ли сюда еще кто-нибудь из знакомых. Подследственным не должно быть известно, кто из них арестован. Да, жестокие, продуманные порядки обращения к заключенным и ведения следствия!»

Опять появился человек со списком:

— Васильев!

Меня, а затем и других конвоировали по полутемному двору и помещали в «Черный ворон». Он скоро заполнился. «Нас повезут в другую тюрьму. В какую?» — прозвучал голос, и вопрос, конечно, остался без ответа.

«Ворон» двинулся. В нем была крошечная тьма. С улицы доносились неясные шумы. Мы старались по ним определить путь нашего следования. Назвали Бутырки. Но уверенности не было.

Распахнулись ворота. «Ворон» въехал на тюремный двор. «Бутырки!» — произнес уверенный голос бывалого человека.

Было уже светло. Нас стали разводить по большим тюремным камерам. Громко звякали запоры: «Трах... Трах...»

Передо мной раскрыли дверь камеры № 69. Металлический щит закрывал огромное окно. Лишь вверху была

узкая щель, через которую проходил свет хмурого осеннего дня. Камера была пуста. Заключенные были направлены на прогулку или opravку. Вдоль правой и левой внутренних стен камеры помещались сплошные деревянные, обожженные паяльными лампами нары коричневого цвета, на которых спали заключенные. Между нарами на цементном полу лежали решетчатые деревянные щиты. Мелькнула мысль: «Наверное, арестанты спят и на полу? На этих деревянных щитах?» Вдоль каждой стены на нарах вплотную друг к другу и на полу лежали маленькие узелки с вещами заключенных.

В углу камеры рядом с дверью стояла огромная параша с двумя металлическими петлями, в которые просовывалась толстая палка для того, чтобы заключенные на плечах могли вынести ее в туалет при opravке один раз в сутки.

— Трах...трах! — громко зазвучал звонок. Дверь открылась, и в нее стали входить заключенные и занимали, видимо, строго установленные места. «А! Новенький. В нашем полку прибыло».

Камера быстро наполнилась. Лечь или сесть на нары было или нельзя или затруднительно. Проход между нарами был заполнен вещами.

— Где мне можно занять место? — обратился я к соседу.

— Ваше место — самое крайнее на полу, на деревянном щите у входа. Когда будут отправлять арестантов в другие тюрьмы, в лагеря или переводить в другие камеры Бутырок, Вы будете передвигаться в порядке очереди, пока не освободится место на нарах. Но это продлится не меньше месяца. Самые привилегированные, лучшие места — около окна. Там менее душно. Но попасть туда удастся месяцев через девять. По Вашему виду — Вы молоды — Ваше дело не должно затянуться, Вы до окна не доберетесь. Вас переместят из этой камеры раньше.

Положив свой маленький узелок (в котором было осеннее пальто, кепка, полотенце, мыло, зубной порошок) последним на деревянном щите, я стал медленно пробираться и постепенно дошел до окна, закрытого железным щитом. Здесь почти у самой стены на нарах полулежал довольно пожилой, худой человек с красивым, интеллигентным лицом, грустным, очень усталым взглядом. Невольно я почувствовал к нему симпатию. Но заговорить не осмеливался. Некоторое время я стоял в сумраке хмурого осеннего

утра, поглядывая вокруг и особенно внимательно на симпатичного мне человека.

— Молодой человек! Подойдите ко мне поближе, — слышался приятный, тихий голос. — Нам надо поговорить.

Я придвинулся почти вплотную. Он передвинулся к краю нар. Сел.

— Вы очень молодо выглядите. Видимо, студент?

— Да!

— Курс?

— Четвертый, последний Экономического института.

— Видимо, новичок в здешнем месте?

— Арестован в сегодняшнюю ночь и через Лубянку препровожден сюда. Васильев Павел Григорьевич. Мне приятно с Вами познакомиться.

— Мне тоже. Я — Константин Николаевич. Конструктор. Доцент Авиационного института. Фамилию называть ни к чему.

— Давно ли Вы здесь и в чем обвинены?

— Здесь я более девяти месяцев. Обвинен по 58-й статье во вредительстве, в числе большой группы конструкторов и преподавателей. Пока делу конца не видно. Но речь не обо мне, а о Вас. Вы в самом начале жизненного пути. Вольно или невольно вступили на очень опасную ступеньку жизни. В зависимости от того, как Вы ее перешагнете, будет определяться очень многое. Быть может, вся жизнь. Держите себя достойно. Признавайтесь только в том, что действительно было, по правде. Не оговаривайте товарищей по делу, даже если Вас будут к этому очень принуждать. Категорически отвергайте ложные наветы на Вас и на других обвиняемых по вашему делу. Не пытайтесь рассуждать по вопросам, которые Вы не знаете досконально. Сдержанно разговаривайте с другими заключенными. В каждой большой, а иногда и в маленькой камере есть кукушка. У нас, например, вон та высокая фигура — кукушка. Вот самое главное, о чем мне хотелось поговорить с Вами, предупредить. Не падайте духом и строжайше контролируйте себя, свои разговоры с сокамерниками, ответы на вопросы следователя.

— Спасибо, огромное спасибо за предупреждения и советы.

Началась напряженная жизнь заключенного в большой, переполненной, душной камере, где помещались в

большинстве обвиняемые по 58-й статье (политические) и несколько уголовников. Пища была скудная. Никаких свиданий. Разрешались редкие передачи с воли. Но все передавалось в измельченном состоянии. Хлеб был разрезан на ломтики, разломлены все продукты домашнего изготовления. Делалось это для того, чтобы не допускать проникновения в камеры пилочек, режущих, колющих предметов. Заключенные были очень разными — по национальности, возрасту, образованию, профессии, социальному происхождению, воспитанности, интеллигентности. Привлекал к себе внимание молодой человек, непрерывно делающий различные упражнения пальцами рук.

— С какой целью Вы все время делаете упражнения пальцами рук? — заинтересовался я.

— Я — аспирант консерватории. пытаюсь не утратить окончательно способность играть на рояле, не потерять специальность.

— Привлекаетесь за что?

— Контрреволюционная агитация, пункт 10 статьи 58.

На краюшке нар сидел очень худой человек в хорошем костюме и артистически, с наслаждением курил козью ножку. Красивая поза, хорошо поставленные ноги, изгибы рук говорили о пластической школе, любви к комфорту, об умении ценить его...

— Разрешите познакомиться. Что привело Вас в нашу компанию?

— Приятно познакомиться, — ответил он с ясно прозвучавшим иностранным акцентом. — Я — англичанин, инженер Релинг. Обвиняюсь в шпионаже по пункту 6 статьи 58. Позднее как-нибудь мы переговорим подробнее.

В наиболее темной части нар с поджатыми ногами, уткнувшись лицом в вышитое льняное полотенце и облокотясь на небольшой сверток, тихо рыдал старик. «Милая моя! Ведь это ты своими ручками расшивала это полотенце. Ты плачешь обо мне, старом дураке. Зачем я рассказал, подвыпив в компании, эти злосчастные анекдоты. Быть может, мы с тобой уж больше не увидимся...»

— Кто этот плачущий старик? — тихо обратился я к его соседу. — В чем обвиняется?

— Это старый доцент Московского государственного университета. Обвиняется в контрреволюционной пропаганде по пункту 10 58-й статьи. Плох старик. Совсем упал духом. Пожалуй, не увидит уж он больше своей старушки.

Так постепенно я знакомился с заключенными камеры. Однажды вечером ко мне подошел заключенный и сказал, что он староста камеры.

— Вы внимательно слушаете лекции, которые, как Вы поняли, заключенные читают на разные темы. Мне известно, что Вы экономист. Не можете ли прочесть нам несколько лекций на экономические темы? Например, о текущем пятилетнем плане или на другую тему по Вашему выбору?

Я согласился. Внимательно продумал ее содержание и с часто бьющимся сердцем и воодушевлением прочитал свою первую в жизни лекцию в камере № 69 Бутырской тюрьмы. Слушали меня внимательно. По окончании ее ко мне подошел доцент-авиаконструктор.

— Вы читали когда-нибудь лекции?

— Нет. Не приходилось. Делал лишь доклады в кружках научного студенческого общества.

— Поздравляю. У Вас есть задатки будущего хорошего лектора. Только будьте осторожны. Ваша специальность острополитическая. Малейшая неточность принесет Вам крупные неприятности. Желаю успеха.

Допросы начались вечером первого же дня пребывания в Бутырках. Конвойный провел меня по длинным коридорам тюрьмы в очень маленькую, слабо освещенную комнатку, за письменным столом которой сидел человек в военной форме с ромбом на воротничке гимнастерки.

— Познакомимся. Чекист Радченко Василий Васильевич. Следователь Секретно-Политического отдела центрального аппарата НКВД.

— У Вас очень высокое звание. На воротничке — целый ромб.

— Конечно, целый, не половинка же. Начнем с Вашей биографии. Отец — Григорий Григорьевич Васильев — дворянин?

— Личный дворянин.

— Слово «личный» не имеет существенного значения. Но если Вы настаиваете, запишем «лич. дворянин». Имеет царские награды?

— Крест Станислава третьей степени и пять медалей.

— Мать — дочь богатого купца?

— Почему же Вы переходите к матери, не закончив данные об отце? Ведь при Советской власти он был комиссаром, национализировавшим Боровский частный банк и ссудную кассу огородников. Награжден званием Героя Труда.

— Это отношения к делу не имеет!

— Вы не правы. Если Вы записываете данные биографии отца, то должны отметить и положительные стороны его деятельности, главную награду от Советской власти. Иначе данные о нем будут односторонними, искаженными.

— Награды отца к Вашему делу не относятся. Их отмечать я не буду.

— Настаиваю, что Вы не правы. Прошу записывать все мои показания.

— Следствие веду я. Вы обязаны отвечать на задаваемые мною вопросы. Я не должен записывать Ваши показания, не относящиеся непосредственно к делу. Продолжаю вести допрос. Ваша мать была дочерью богатого купца. Какое имущество она имела?

— Большой двухэтажный дом — совместно с двумя сестрами — и более тысячи десятин леса — вместе с ними же.

— Записываю. Мать — урожденная Капырина Мария Павловна. Помещица. Крупная лесопромышленница.

После выяснения данных о родственниках на основании моей записной книжки следовали вопросы о моих знакомых, товарищах-студентах. Затем следователь стал спрашивать о моих политических взглядах. Так проходили вечера, ночи.

Допрос велся односторонне. Следователь собирал все негативное, отказывался записывать объективное — как о моих поступках, так и о других обвиняемых по делу. Все чаще звучало требование следователя: «Докажите, что Вы говорите правду. Докажите, что все происходило так, как Вы говорите».

— У меня есть очень мало доказательств — это записи в моем дневнике. Я арестован. Не могу ни к кому обратиться за подтверждением правдивости моих показаний, найти документы, о которых Вы говорите. Я должен, по-Вашему, доказывать невиновность свою. В действительности же Вы должны доказать мою виновность.

— Вы здесь сдаете экзамен на политическую зрелость, приверженность Советской власти. Вы должны доказать, что Вы с нами. Если Вы не сумеете это доказать — значит, Вы против нас и подлежите привлечению к уголовной ответственности по статье 58-й за одну из разновидностей контрреволюционной деятельности — агитацию, пропаганду, шпионаж, террор. Вы — контрреволюционер даже тогда,

когда не совершали конкретного действия. Вы не боролись против него активно, немедленно не донесли в органы НКВД об услышанном враждебном анекдоте. Ваше недонесительство контрреволюционно, и Вы подлежите осуждению по пункту 12 статьи 58-й.

Я не мог согласиться с этими установками следствия. Убеждения — не преступление, настроения — не преступление. Преступление — только фактическая деятельность.

Во время одного длительного ночного допроса прозвучало ужасное обвинение.

— После убийства Кирова в Вашем выступлении на факультетском студенческом собрании прозвучал очень тонко замаскированный призыв к массовому террору против Советского правительства. Вы утверждали, что террористические акты неэффективны и не могут быть эффективны потому, что совершаются отдельными лицами. Таким образом, Вы призывали к массовому террору. Этот призыв подпадает под пункт 8 статьи 58-й Уголовного кодекса и заслуживает высшей меры наказания.

— Это — ложь. Действительно, я выступал на общефакультетском собрании. Осуждал террор. Требовал беспощадного наказания террористов и борьбы с террором. Говорил о том, что нет ни экономической, ни политической базы, порождающей террор в нашей стране, потому что Советская власть представляет интересы трудящихся, народа и служит ему.

— Однако у нас есть свидетельские показания слушавших Вас студентов о том, что в Вашей речи содержался умно замаскированный призыв к массовому террору.

— Требую очную ставку с лгунами, проверку понимания моего выступления другими студентами.

— В свое время очную ставку Вы получите и будете изобличены.

— Никогда нельзя застраховать себя от ложных и подлых показаний. То, что говорили Ваши осведомители, — наглая ложь и клевета.

В одну из последующих ночей на допросе мне была вручена запись моих показаний. В ней были значительно усилены негативные показания, из которых косвенно складывалось впечатление о моей симпатии к террористам, о будто бы имевших место высказываниях контрреволюционного характера и о вхождении в группу из пяти человек. Двое из них — мой однокурсник-студент и мой товарищ

Николай Капитонович Блохин и мой товарищ по Боровской средней школе Гавриил Данилович Золотарев — были мне хорошо известны, а двое других были товарищами Блохина, и я с ними ни одного раза не виделся.

— Протокол допроса искажает мои показания. Я его не подпишу. Вы вступили на путь подлога документов допроса. Поэтому я с Вами больше разговаривать не буду. На Ваши вопросы отвечать отказываюсь.

— Категорически отказываетесь?

— Категорически отказываюсь.

Конвоир препроводил меня обратно в камеру.

Едва я, перешагивая через тела спящих заключенных, пробрался к своему месту на полу и лег, вновь открылась дверь, и прозвучала моя фамилия: «На допрос!»

Опять я в маленькой, освещенной слабенькой лампочкой комнате следователя. Опять требование подписать протокол. Опять категорический отказ. Опять возвращение в камеру. Опять вызов к следователю. Опять... Опять... После примерно десяти вызовов я увидел, что с нар около окна поднялась и осторожно пошла в мою сторону, перешагивая через тела спящих, знакомая фигура доцента Авиационного института. Подойдя вплотную ко мне, он задал вопрос: «Что с Вами происходит?»

— Я отказался подписать протокол допроса и отвечать на вопросы следователя. И вот меня без конца вызывают и требуют подписать, а я отказываюсь.

— Плохо. Ну хоть принципиально у Вас все это получилось?

— Трудно сказать. Сильно искажена запись протоколов допроса. А вот насколько принципиально и разумно я действую — сомневаюсь.

— Как Вы думаете, что с Вами произойдет?

— Не знаю. Наверное, здесь меня уже не будет.

— Правильно думаете. Желая Вам мужества и самообладания. Всего самого доброго.

Вызовы на допрос продолжались. Забрезжил рассвет. И тогда прозвучало: «Васильев! На допрос. С вещами».

Опять «Черный ворон». Полная темнота. Въезд во двор. На рассвете хмурого утра, выходя из «Ворона», я понял, что нахожусь во дворе Внутренней тюрьмы особого назначения на Лубянке. Опять очень тщательный обыск... Со снятых мною старых ботинок были оторваны подметки и проверены все дырки в поисках будто бы спрятанных там за-



писок. После этого через сложную систему длинных переходов меня ввели в огромный кабинет. За длинным столом сидел полный человек с усталым, отекившим лицом в хорошо сшитой гимнастерке, на воротничке которой поблескивало три ромба. «Только на один ромб меньше, чем у Ворошилова» — пронеслось у меня в голове. Сбоку в кресле сидел мой следователь Радченко. Он сказал: «Заключенный Васильев! С Вами будет говорить начальник Секретно-Политического отдела НКВД».

— Гражданин заключенный! — раздался тихий, низковатый голос. — Почему Вы перестали отвечать на вопросы следователя, разговаривать с ним? Отказываетесь подписать протокол допроса? Вы давали на допросах ложные показания и стараетесь теперь от них отказаться?

— Нет, я давал правдивые показания. Но в записи следователя они искажены. Из них следует, что я враждебен Советской власти. В действительности же я сторонник этой власти, борюсь сейчас и готов бороться в дальнейшем за ее идеалы, за ее программу. Следователь же считает, что я или контрреволюционер, либо сочувствую контрреволюционерам и объективно помогаю им. Чем дальше идет следствие, тем настойчивее меня заставляют признать действия, которых я не совершал, признать вину, хотя я не виноват.

— Вы не допускаете, что объективно своей жизнью, своей деятельностью Вы помогаете контрреволюции? Сами активно не ведете, например, контрреволюционную агитацию, но объективно ей помогаете?

— Нет, не допускаю. Документов, что я способствую контрреволюции, не подпишу.

— Вы молоды. Вы неправильно понимаете обстановку и свое поведение. Мы обладаем большим жизненным опытом. Для нас совершенно ясно, что объективно Вы способствовали и способствуете контрреволюции. Вы не соглашаетесь с нами. Вы нам не верите?

— Я вам не верю. Я и объективно и субъективно и как хотите, я — за Советскую власть, ничего общего не имею с контрреволюцией.

— Как? Вы нам не доверяете? Вы понимаете, что Вы говорите? Вы нам не доверяете?

— Да! Я вам не верю.

— Ну, знаете ли... Вы вспылили, перестали отвечать на вопросы следователя, разговаривать с ним. Это большая ошибка Ваша. Следствие будет продолжено следова-

телем Радченко. Вы останетесь здесь у нас во Внутренней тюрьме особого назначения. Василий Васильевич! Продолжая следствие, обращайтесь больше внимания на политические аспекты, задачи борьбы с контрреволюцией, особенно в связи с убийством товарища Кирова. Поработайте вместе с заключенным над протокольной записью следствия. Добейтесь подписания подследственным уточненной записи допросов.

В дверях показался конвоир.

— Проконвоируйте подследственного во Внутреннюю. Возьмите его документы.

Внутренняя. У ее порога начинается пушистый, яркий, чистый ковер, на котором такими жалкими, жалкими выглядели мои старые, рваные, грязноватые ботинки с оторванными подметками.

— Дайте Ваши очки!

Снял и протянул очки: «Зачем они Вам? В них ничего нет».

— Очки останутся у нас и будут выдаваться Вам при вызове к следователю. Вы курите?

— Нет.

— Пройдемте в камеру. Там громко говорить запрещено.

По мягкому ковру совершенно неслышно мы подошли к одной из дверей. Надзиратель почти бесшумно отпер ее ключом, открыл, пропустил меня и почти неслышно запер ее за мной. В камере стояли четыре металлические койки с бельем. На трех из них сидели заключенные, которые тихо ответили на мое приветствие. Четвертая была пуста — моя. Стены с соседними камерами и батареи отопления были защищены тонкими металлическими сетками. «Чтобы не перестукивались» — пришла мне в голову мысль.

Разместил молча вещички. Маленький седой человек, с усами и небольшой бородкой, сидевший на соседней койке, показал мне на лист бумаги, прикрепленный к стене. Там были написаны правила поведения и распорядок дня. Петть и громко разговаривать запрещается. Подходить к окнам — также. И угроза, что при нарушении часовые стреляют без предупреждения. Но окно было закрыто сплошным металлическим щитом, и лишь на самом верху была узкая щель, пропускавшая дневной свет. Часовой во дворе не мог видеть заключенного, а заключенный — часового. Правила, выходит, безнадежно устарели. И днем и ночью под потолком горела небольшая электрическая лампочка.

Когда я кончил читать «правила», маленький седой сосед обратился ко мне:

— Давайте познакомимся. Я — Рудольф Петрович Абих. Немец, профессор, лингвист. В моем переводе изданы в СССР книги классиков восточной литературы: Фирдоуси, других авторов. Участник Гражданской войны. Член партии с дореволюционным стажем. Привлекаюсь по нескольким пунктам статьи 58. А Вы кто?

— Приятно познакомиться с Вами. Как видите, я стою в самом начале жизненного пути. Студент четвертого, выпускного курса Экономического института. Переведен во Внутреннюю из Бутырок в связи с тем, что перестал отвечать на вопросы следователя, разговаривать с ним, отказался подписать протокол допроса. Сегодня допрос вел начальник СПО. Обвиняюсь по пункту 8 (террор) статьи 58 и по другим пунктам. Васильев Павел Григорьевич.

— Ну, знаете ли, круто Вы повели себя на следствии. Соответственно и следствие обойдется крутенько. Чем закончился Ваш допрос у начальника СПО?

— Следствие будет продолжать прежний следователь. Меня перевели сюда из Бутырок. Согласился продолжать разговор со следователем, отвечать на его вопросы.

— Показания следователю надо давать четкие, правдивые. Нельзя вставлять на путь оговора Ваших однодельцев, как бы ни настаивал на этом следователь. Говорить только правду. Тогда Вам не придется менять свои показания, а менять их нельзя. Если Вы их измените, можете быть привлечены дополнительно к ответственности за ложные показания.

— А Вы? В чем обвиняетесь?

— Мое положение очень тяжелое. Я знал лично Льва Давидовича Троцкого. Участвовал в Гражданской войне. Был награжден орденом Красного Знамени, от получения которого отказался по принципиальным соображениям, так как считаю, что революционер награжден быть не может. Мой знакомый троцкист оговорил меня в совершении преступлений, которые в действительности я не совершал. Очные ставки ни к чему не привели. По делу привлечено несколько человек. Оно очень сложное. Основное обвинение — террор. Его пытаются связать с убийством Кирова. Моя жена пока не арестована, она — в Москве, но наш телефон прослушивается круглосуточно. Теперь о нашем тюремном быте. Вас спросили, курите ли Вы?

— Да! И я сказал, что не курю.

— Жаль. Если бы Вы сказали, что курите, Вам стали бы выдавать папиросы, которые Вы могли бы отдавать заядлым курильщикам, которым папирос не хватает. Никаких передач заключенным Внутренней делать нельзя. Но периодически приносят довольно большую стопку книг, из которой Вы можете выбрать любую. Видите? Вон там лежат книги. Если Вы сдали в канцелярию тюрьмы деньги, которые были при Вас при аресте, то до освобождения Вам не выдадут ни копейки. Вашим родственникам разрешат передавать для Вас периодически небольшие суммы, на которые Вы можете купить продукты. Если Вы, с точки зрения следователя, ведете себя не должным образом, Вас лишат возможности покупать продукты. Очки, как правило, отбирают, чтобы заключенный разбитым стеклом не перерезал себе вены. Если Вы будете вести себя примерно и давать нужные следователю показания, очки Вам могут вернуть. После того как Савинков, бросившись вниз головой в лестничный проем, разбился насмерть, все лестничные перила и проемы закрыты сплошными металлическими сетками. Один раз в полтора-два дня выводят на прогулку на крышу тюрьмы. Периодически надзиратели смотрят за нами в глазок камеры. Он открывается почти бесшумно, но напряжение, особенно ночью в ожидании допросов, настолько велико, что мы при открытии глазка мгновенно просыпаемся. Сделать из хлеба шашки и шахматы и играть в них запрещено. Никакие записи вести нельзя, да и не на чем. Карандаш и небольшой кусочек бумаги Вам выдадут лишь после просьбы написать заявление следователю. В камере один из нас — староста. Распоряжения его обязательны. По очереди каждый становится дежурным, выполняющим необходимые работы по камере.

Конечно, ни я сам и никто другой из заключенных Внутренней тюрьмы даже приблизительно не могли предположить, сколько времени продлится следствие, о ком еще будут спрашивать. Затаенной моей мыслью было давать показания только о лицах и их мнениях, если я был более или менее уверен в том, что эти сведения или уже есть у следствия или наверняка попадут к нему по другим каналам. Но в моей записной книжке, которую забрали при аресте, было много фамилий и адресов, и по каждому записанному следователь вел допрос. Особенно подробно и часто допросы велись о Константине Алексеевиче Шурове —

враче Кремлевской больницы, заместителе академика В.Н. Виноградова.

Спрашивалось и о доценте химического факультета МГУ и Менделеевского института Шалфееве, занимавшемся исследованиями полимеров.

Среди заключенных был кореец, молчаливый человек, обвинявшийся в шпионаже (статья 58, пункт 6). Печально, очень кратко он говорил, что ни в чем не виноват, старался от разговоров уходить. Говорил, что, наверное, он здесь последние дни. Наверное, его осудят, возможно, жестоко. Но он «ни в чем, ни в чем не виноват». Иногда очень тихо, без слов он напевал незнакомые корейские мотивы. Но иногда слышался мотив очень нежный, напоминающий наш:

Карапет мой бедный,  
Почему ты бледный?  
Потому я бледный,  
Что я очень бедный.

Последним на нарах был маленький, всклокоченный и очень экспансивный человек — крупный специалист кожевенной промышленности, который почти выкрикивал как-то в нос короткие фразы.

— На общем собрании завода призывали развертывать стахановское движение. Я сказал, что в кожевенной промышленности такого движения быть не может. Оптимальный процесс брожения в чанах с кожей вырабатывался столетиями. Я гору книг прочитал. Тридцать лет на кожевенных заводах проработал. Убавите срок брожения — кожа ни к черту! Говорил и принародно говорить буду. А мне пункт 10 статьи 58-й. Я здесь недолго буду. Припаяют срок, и в лагерь. Следовательно меня уже и с обвинительным заключением познакомил...

— Убедить, что Вы правы, не удастся?

— Им — кол на голове теши! Заладили одно и то же: контрреволюция. Хорошо хоть не вредительство!

Большую часть дня в камере царила тишина. Кто безмолвно лежал, повернувшись к стене, отдыхая от допросов. Кто бесшумно ходил по коротенькому пространству камеры. Кто читал.

По временам шуршал едва слышно глазок. Если кто-либо был у окна, закрытого извне металлическим листом, звучал приказ: «Отойдите от окна».

На следующий день вошедший надзиратель произнес: «На К!»

— Кулагин.

Встрепенулся, а затем встал перед тюремщиком взе-рошенный Кулагин.

— На допрос!

— Прощайте, товарищи. Я уже в камеру не вернусь. Вещички мои вон в кучке лежат. Прощайте. Вряд ли придется встретиться.

И Кулагин и надзиратель исчезли за тихо закрывшейся дверью. Через несколько минут вернувшийся надзиратель сказал: «Вещи заключенного Кулагина». И получил маленький узелок.

Через некоторое время надзиратель ввел нового заключенного: среднего роста, подтянутого, одетого с претензиями на роскошь. Новые, красиво облегавшие ноги хромовые сапоги. Шерстяная темно-зеленая гимнастерка. Правильный, немного горбоносый профиль лица. Карие глаза. Не спеша осмотрелся. Прошел к свободной койке.

— Полонский. Я здесь по недоразумению. Скоро все выяснится, и меня освободят.

— Не все так просто, как вначале кажется, — тихо сказал ему профессор Абих.

— Конечно, все скоро выяснится. Как-никак я брат члена ЦК нашей партии Полонского.

— Возможно, это осложнит Ваше положение.

Близилась ночь. Открылась дверь: «На П!»

— Полонский.

— На допрос.

Наступила глухая полночь. Мы все лежали на койках. Полонского не было. Бледно, как всегда, горела под потолком электрическая лампочка. Изредка тихо шуршал открываемый волчок. Мы не спали. Полонского не было. Лишь после подъема его с осунувшимся, даже как будто позеленевшим лицом и мешками под глазами привели в камеру. С большим трудом стащил он щегольские сапоги и плюхнулся ничком на койку.

— Вам чем-нибудь помочь?

— Нет. Я объявил голодовку.

Днем пришел надзиратель: «На П.» Ответа не было. «На П!» — прозвучало громче. Полонский лежит на койке лицом к стене. Надзиратель вплотную подошел к койке. Прозвучал громкий металлический голос: «На П!» Полон-

ский с усилием повернулся, медленно сел. «На вопрос!» С трудом надел сапоги. Молча оба вышли. Через несколько минут потребовали вещи Полонского.

На следующий день ввели высокого, по виду физически сильного пожилого человека.

— Член парткома завода Белоусов. — Прозвучало название предприятия, известного всей стране. — Познакомимся... Вы понимаете? Ерунда какая! Обвиняют во вредительстве и контрреволюционной агитации. Да я, понимаете ли, за Советскую власть жизни не пожалею! Правда, по пьяному делу, скользкий анекдотец рассказал. Ну и что? Я рабочий от станка. Более двадцати лет на заводе. Сколько лет ударник. Теперь член парткома известного на всю страну заводища. А тут вдруг: «Ваш анекдот на пользу врагам народа». Тьфу! Конечно, черт меня дернул анекдот рассказать.

— А какой анекдот? Интересно бы узнать.

— Ну уж нет. В другой раз рассказывать анекдоты не буду. Учен. Вот некоторых наших инженеров во вредительстве обвиняют. Это дело.

— А Вас, думаете, за анекдотец простят?

— Признаю свою вину. Покаюсь. Не могут строго наказать.

— Статья 58-я, пункт 10 пахнет лагерем.

— Боюсь, придется понюхать, хоть Вы и рабочий от станка и член парткома заводища, на всю страну известного.

Разговор оборвался. Белоусов лег на койку и повернулся лицом к стене. Поздним вечером его вызвали на допрос. Затем несколько ночей подряд шли допросы. С каждой ночью лицо Белоусова становилось все утомленнее. Под глазами набрякли мешки. Появился бледно-синеватый оттенок на коже лица. С последнего допроса он с трудом возвращался в камеру. Ничком упал на койку. Уткнулся в подушку. Последовали глухие рыдания.

— Что случилось? Держите себя в руках. Что произошло?

— Случилось ужасное. Я оговорил нескольких инженеров, сказал об их вредительстве, хотя не знал уверенно этого. Оговорил себя, что помогал им... Рассказывал контрреволюционные анекдоты. Зная о вредительстве, не доносил об этом органам.

— Зачем же Вы это сделали?

— Меня упрекали в том, что я был слеп, не видел явное вредительство... Мне говорили, что по своей политической незрелости я, рабочий, ошибался. Я ложно признался в том, чего не делал. Подписал, что вредили другие...

Нелогичный, не всегда четкий рассказ прерывался глухими рыданиями. Признание окончено. В камере воцарилась гнетущая тишина, которая изредка прерывалась невнятными восклицаниями: «Зачем, зачем я это сделал! Что я, дурак, наделал?»

Через несколько дней принесли продукты из тюремной лавочки. Мне сказали, что я могу получить их на небольшую сумму. Тетушка узнала, что я на Лубянке, и внесла немного денег. Питание в тюрьме было скудным. Я сразу же стал есть. Абих посмотрел укоризненно на меня: «Вижу, Вы сразу много съедите. Дайте мне Ваши продукты. Я буду выдавать понемногу каждый день, чтобы их хватило до следующей покупки». Беспрекословно я передал ему продукты.

Проходили день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Меня не вызывали на допросы. Будто обо мне совсем забыли. Но с каждым днем, а особенно ночью, когда едва слышно шуршал волчок, сердце все усилиннее билось. «Тук...тук...тук...тук». «На вопрос...» «На вопрос...» Но этих слов так и не произносилось.

Профессор Абих говорил: «Это тактика. Вначале нервируют долгим ожиданием, а потом начинаются жесткие ночные допросы. Сами готовятся, собирают материалы... Не раз, наверное, перечитают Ваши дневники, конспекты. Они готовятся. Готовьтесь и Вы, не давайте ложно истолковать Ваши показания».

Становилось все холоднее, особенно ногам на прогулках — ведь у моих ботинок были срезаны подметки. Но ни одной прогулки на крыше Внутренней тюрьмы я не пропускал, хотя ноги чуть не прилипали к каменному покрытию пола. Всю прогулку я проделывал бегом, чтобы не простудить ног. Как только мы входили во дворик на крыше, часовой перевертывал песочные часы. Конец пересыпания песка означал окончание прогулки.

Как-то незаметно вызвали на допрос корейца, а затем потребовали его вещи. Исчез из нашего поля зрения очень молчаливый, замкнутый человек. На его место был введен маленький заключенный с непропорционально большой, почти голой головой. Поздоровался, быстро осмот-



рел камеру, направился уверенно и сел на свободную койку. Внимательно осмотрел всех и с видом бывалого человека обратился к нам. «Я поляк Янковский, — произнес он с явным акцентом. — За участие в революционном движении в Польше дважды был приговорен к смертной казни».

— Как же Вы уцелели?

— Жизнь имеет круты повороты. Надо иметь большую силу воли и гибкий, быстро действующий ум, чтобы усидеть в своей телеге жизни, не быть выброшенным из нее. В последний раз я, работник Коминтерна, был обменян на крупного польского шпиона, арестованного в СССР.

— Как же Вы оказались здесь на Лубянке?

— За анекдотку.

— Расскажите нам подробнее о своей жизни.

— Может быть, позднее что-нибудь, если будет настроение. К тому же многое до сих пор секретно, не должно быть ни рассказано, ни записано.

Янковский оказался человеком с неприятным, злобным характером. Часто придирался по пустякам, зло высмеивал сокамерников, дразнил.

Однажды я был дежурным по камере и попросил его сделать какую-то работу. В ответ последовало: «Не буду, не хочу. Что Вы со мной сделаете?» Дальше последовали обидные, насмешливые замечания, издевательские реплики. Нервы у меня были крайне напряжены. Проявилась унаследованная от деда Павла неудержимая вспыльчивость. Резко повернувшись к Янковскому, я нанес ему изо всей силы удар под дых. Он судорожно втянул воздух, как-то бессильно скользнул вниз и растянулся на полу. «Что Вы сделали, — крикнул мне профессор Абих. — Вы так можете убить человека. Понимаете? Убить!» Я молчал, очень сожалея о том, что сделал. Янковский, подтянув ноги к животу, лежал, не двигаясь. Через некоторое время с трудом встал, подошел ко мне и с размаха ударил меня по щеке. Я сильно напрягся. Но сдержался. Абих и Белоусов подскочили к нам:

— Что вы делаете? Самое легкое наказание за драку — карцер! Хуже — фиксирование факта в обвинительном заключении и увеличение срока. Особенно для Вас, Янковский! Вы не выполнили поручение дежурного и пытаетесь избивать его. Прекратите и смотрите, не возобновите ссору, Янковский! Твердо запомните, здесь не польская тюрьма, а Внутренняя особого назначения. Режим здесь строже.

Я попросил извинения у Янковского. Он молча отошел и сел на свою койку. Долго после этого он со мной не разговаривал.

В одну из ночей вызвали на допрос Белоусова. В камеру он не вернулся. На следующий день на его место привели высокого, поджарого, с красивыми, вьющимися черными волосами, красивым профилем и большим горбатым носом инженера Голланда.

— Меня обвиняют в шпионаже по статье 58-й, пункт 6, — начал он свой рассказ на совершенно грамотном, без какого бы то ни было акцента, русском языке. — Блестяще окончил Парижский Политехнический институт. Женился на дочери парижского миллиардера Ротшильда. В совершенстве владею тремя языками: русским, французским, немецким. А вы знаете, что такое в совершенстве владеть языком? Это значит не только свободно понимать и переводить с одного языка на другой. Этого мало. Надо уметь думать на языке. В зависимости от темы раздумий я свободно мыслю на русском, французском, немецком языках. Откуда такое знание языков? Я происхожу из семьи культурных евреев среднего достатка, которые вначале жили в России, а в годы Гражданской войны перебрались во Францию, сохранив свой небольшой капитал. В мои детские годы в семье свободно говорили на трех языках. Почему и как женился на дочери Ротшильда? Жажда денег? Прежде всего не это. Полюбили друг друга. После окончания Парижского Политехнического поступил на службу в военное ведомство. Занимался конструированием подводных лодок. Жалованье было достаточное. Тесть считал наш брак мезальянсом и не стремился втянуть меня в операции крупного бизнеса. Мы поселились в хорошей квартире, стены которой были расписаны модными художниками. Я увлекался конструкциями. Мне импонировали социалистические идеи СССР. Жена все более скучала. Я не замечал этого. Вдруг почувствовал, что заражен гонореей. В это время я не имел контактов с другими женщинами. Единственный источник — жена, которую я любил. Это потрясло меня. Брак был расторгнут. Я решил уйти со службы и переехать в СССР. Что и сделал. Здесь я поступил в военное ведомство. Еще более успешно занимался конструкциями, связанными с подводным флотом. Материально жил гораздо скромнее, чем во Франции, но обстановкой на служ-

бе и дома был доволен. И вот обвинение в шпионаже. Статья 58-я, пункт 6. Гром среди ясного неба и вот... я вместе с вами. И громадное количество отягчающих обстоятельств. Все, что я привожу в свое оправдание, «защиту», как здесь говорят, на следствии «отметается» напроць. Вот краткая справка о том, кто и что такое инженер Голланд.

— Теперь о вас. Вот Вы, например, — кивок в мою сторону, — Вы очень молоды. Наверное, студент?

— Да. Студент последнего курса Экономического института.

— Интересно. Как учитесь?

— Вначале, когда был на вечернем факультете и одновременно работал, учился довольно посредственно. Теперь, когда перешел на дневной факультет, — все «отлично», кроме «Бухгалтерского учета». По этой дисциплине — «хорошо».

— Жаль, что мы встречаемся здесь. Если бы мы встретились на воле, я пригласил бы Вас к себе «Бурросос» писать. Мне очень нужен для этого толковый человек.

— Что такое «Бурросос»?

— Ах, не знаете? «Бурный рост социалистического строительства» — введение к обоснованию технического проекта. Его теперь здесь обязательно надо начинать с характеристики бурного роста социалистического строительства. Ха...ха...ха! А как вы, молодые студенты, увлекаетесь женским полом?

— Мне, например, надо было и работать и учиться, а потом подгонять недоученное на младших курсах.

— У Вас не было ни одной любовницы?

— Нет.

— Вот и познакомились. А студенты Парижского Политехнического и пошутить и созорничать и любили и умели. Мы, например, одной весенней ночью переделали так стрелки показателей уличного движения, что все автомашины должны были ехать в центр Парижа, а выезда из города нигде не было. Ранним утром следующего дня центр Парижа был забит автомашинами. Они стояли, надрывно гудели и не могли выехать из своеобразной мышеловки. Полиции потребовалось некоторое время, чтобы ликвидировать искусственную пробку.

Улыбка внезапно сбежала с его лица. Он замолчал. Продолжал нервно ходить по маленькой плешинке в середине камеры.

— Вы мужественно себя держите. Улыбаетесь. Даже шутите по временам. Не думаете, что Вам грозит смертельная опасность?

— Я — оптимист. Абсолютно не виновен. Шпионажем не занимался. Должно же это выясниться! Даже если это обвинение не отпадет — мне сохранят жизнь. У меня большие способности к конструированию. То, что я делаю для подводного флота, никто другой сделать не может. Понимаете, никто! В военном ведомстве это понимают. Для того чтобы я продуктивно работал, меня должны нормально кормить и обеспечивать сон. А обвинения... со временем, в конце концов, выяснится, что они ложны. Меня же здесь поражает то, что в ваших тюрьмах сидит лучшее настоящее и в еще большей мере лучшее будущее России. Даже правильнее сказать, убивается лучшее будущее страны.

Наступило глубокое молчание.

В один из последовавших дней профессор Абих обратился ко мне: «Я заметил, что Вы пишете стихи. Не могли бы их мне прочитать? Или всем нам?»

— Пожалуйста. — И я прочел написанное в горькие минуты.

За городом кладбище есть недалеко.  
И там, как проходят года,  
Одна за другой вырастают могилы.  
Туда я хожу иногда.

И раньше, бывало, бродить я любил  
Средь плит и камней молчаливых.  
И много я встретил, ох, много, могил  
Таких же, как я, сиротливых.

Иные покрыты зеленой травой,  
Иные уже обвалились.  
Обойдены шумной людскою молвой,  
Другие навеки забылись.

И веют над ними метели зимой,  
Их осень дождем поливает,  
А яркое солнышко ранней весной  
Их светом своим согревает.

Два свежие холмика ярким песком  
Невольню мой взор привлекают,

А рядом зеленым мохнатым ковром  
Могилы трава покрывает.

А холмики эти... Скрывают они,  
Что было когда-то так дорого мне.  
Под ними покоятся мать и отец.  
И, часто о них вспоминая,  
Сплетаю из мыслей надгробный венец,  
На холмик его возлагаю.

И часто сижу я на камне один...  
И лица встают предо мною.  
Извилины вижу знакомых морщин,  
А лоб обрамлен сединою.

И помню, ребенком нередко, бывало,  
Бродил я с отцом по полям и лугам.  
И счастья и радости помню немало,  
А горе нечасто врывалось к нам.

О годы, счастливые детские годы!  
Как в ночи осенней огни,  
Вы маните, маните в дни непогоды,  
Вы мне говорите: «Усни!  
Устал ты. Мы сном золотистым  
Закроем ресницы твои.

Пройдут пред тобою родные картины,  
Леса, косогоры, луга,  
Домишко твой белый с кустами малины,  
Крутые реки берега».

И я засыпаю... И снятся  
Мне чудные детские сны.  
И с лепетом тихим стремятся,  
Как ранней весною, ручьи.

— Что ж! Если бы Ваши стихи попали мне, когда я работал в редакции или был редактором периодического издания, я бы их или рекомендовал к печати или напечатал. Они не без шероховатостей, но в них есть образность. Есть чувство музыкальности стиха. Если учиться, быть требовательным к себе, упражняться, у Вас могут появиться хорошие стихи, но и эти заслуживают поощрения. Не бросайте этого увлечения. Задатки есть.

Прошло более четырех месяцев моего пребывания на Лубянке.

Ночью чуть слышно зашуршал глазок. Открылась дверь.

— На В.

— Васильев.

— На допрос.

Как всегда, бесшумно, по коврам, длинными коридорами мы пошли к комнате следователя.

В коридоре нам встретились два чекиста. На гимнастерке одного из них — толстого, с маленькой красивой бородакой и усиками — сверкнули на воротничке два ромба.

— Смотри, смотри, — громко сказал он своему спутнику, кивнув на меня, — какой толстенький боровак попался! Ха... Ха... Ха!

К тому времени, хотя я немного подкармливался за счет скудных харчей в тюремной лавочке, видимо, в связи с появлением острой гипертонии, сильными головными болями начались отеки лица (у сокамерников таких отеков не было). На лице были и признаки цинги. Начали кровоточить десны. Я обратился к тюремному зубному врачу. Он стал вызывать меня к себе через день-два и обрабатывать десны, из которых обильно шла кровь.

В кабинете следователь встретил меня словами:

— Достаточно прошло времени. Надумали откровенно и подробно отвечать? Дать дополнительные показания?

— Существенных дополнений у меня нет.

— Тогда я задам Вам конкретные вопросы, — с угрозой, почти прокричал следователь. — Кто такой Смит?

— Какой Смит? Я не знаю никакого Смита.

— Вы знаете Смита. Вы даже о нем пишете!

— Не знаю никакого Смита. Нигде о нем не писал.

— Вы пишете о нем даже в своем дневнике. Могу показать Вам.

Долгая пауза. Я мучительно думал, старался догадаться, что следователь имеет в виду... Он пристально смотрел мне в глаза с некоторым торжеством, ожидая испуга у меня. Испуга не было. Было искреннее недоумение. Вдруг меня озарила догадка:

— Вы имеете в виду то место дневника, где я писал о классике буржуазной политической экономии Адаме Смите. Давайте дневник. Из его контекста будет ясно, что речь идет не о каком-то шпионе Смите.

Торжествующий взгляд следователя сразу погас. Он понял и поверил, что я говорю правду.

Сразу же последовал быстрый вопрос:

— Что говорил отец Вашего товарища по институту Николая Капитон Капитонович Блохин о товарище Сталине?

Моя мысль заметалась как пойманная в клетку птица. Значит, следовательно что-то уже знает. Значит, отрицать резко негативную оценку Сталина Капитоном Капитоновичем нельзя. Иначе будет обвинение в ложных показаниях. Это был крючок, на который я попался. В поле зрения следствия появился новый, неизвестный ранее человек. Я дал показания, что характеристика Сталина была негативной. Последовал ряд вопросов и о Капитоне Капитоновиче, от которых мне было очень трудно уходить. Я говорил правду, но она была убийственна... Явно проступал пункт 10 о контрреволюционной агитации. С очень тяжелым чувством я возвращался в камеру.

В одну из очередных ночей следователь сказал, что будет очная ставка с Блохиным-старшим, который категорически отрицал мои показания. В конце очной ставки Капитон Капитонович, глядя мне в глаза, сказал: «Послушал бы Ваш отец упокойник Григорий Григорьевич, как Вы меня оболгали».

Сдавленным голосом, чуть не плача, я сказал, что «говорил правду», хотя понял, что правду говорить было нельзя.

Капитон Капитонович не был включен в число обвиняемых по нашему делу. Его судила тройка, и он был выслан из Москвы в Среднюю Азию. До конца жизни я не мог простить себе своей наивности в те годы, обвинение и страдания его.

Через несколько дней следователь ознакомил меня с обвинительным заключением. Меня обвиняли в терроре, контрреволюционной агитации и пропаганде, недоносительстве (три пункта: 8, 10 и 12 статьи 58). «Черный ворон» отвез меня обратно в Бутырскую тюрьму, где под громкий звон запоров «Трах... Трах...» поместили в маленькую опрятную одиночную камеру. Предстоял суд Военного трибунала Московского военного округа.

---

---

## ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ

Примерно пять месяцев продолжалось следствие по нашему делу. Большую часть этого периода я провел во Внутренней тюрьме особого назначения на Лубянке. Мне было предъявлено обвинение по 58-й статье Уголовного кодекса: пункт 8 — подготовка террора, пункт 10 — контрреволюционная пропаганда, пункт 11 — участие в контрреволюционной организации, пункт 12 — доноительство. Три пункта обвинения я категорически отвергал, признал только, что, зная об осуждении личности Сталина и его политики, не сообщил об этом. Обвинительное заключение было предъявлено мне под расписку. Судить нас будет Военный трибунал Московского военного округа.

Было ясно, что я нахожусь последние дни в камере Лубянской тюрьмы. Кроме меня, там было еще трое заключенных: старый партиец и участник Гражданской войны профессор Абих, инженер Голланд и партийный работник Белоусов. Как это бывает на каждом важном пороге жизненного пути, я испытывал огромное нервное напряжение. Сочувствовали мне, переживали и все остальные заключенные камеры, понимая, что нам осталось пробыть вместе считанные дни, а быть может, и часы. Затем ураганом тогдашней жизни разбросает нас, как сухие желтые осенние листочки, по необъятным просторам страны, и мы никогда больше не увидимся. А возможно, кому-то осталось и прожить очень немного времени: ведь все привлекались по 58-й статье, а в ней, что ни пункт — высшая мера наказания...

Поздним вечером зашуршал смотровой глазок нашей камеры, и тихий голос тюремщика в открывшуюся дверь произнес:



— На В.

— Васильев.

— На допрос.

— Прощайте, товарищи. Вон лежат мои собранные вещички. Не поминайте лихом. Пусть вам будет сохранена жизнь.

— Прощайте, товарищ Васильев, — произнесли в ответ три тихие голоса.

Ковры заглушили звук удаляющихся шагов. Были доставлены мои вещи. Внизу «Черный ворон» поглотил меня и несколько других незнакомцев. После езды в крошечной тьме «Ворон» привез нас во двор какого-то здания. Это была Бутырская тюрьма. Но теперь меня поместили в другой корпус, где были одиночные камеры. Одно напоминало первое заключение в эту тюрьму — громкое хлопанье замков. «Трах-трах» — звучало, когда подводили к двери, и она открывалась. «Трах-трах» — раздавалось, когда дверь захлопывалась.

Утром принесли ведро и щетку — убирать камеру. Спросили, что я хочу читать. Я попросил немецко-русский словарь и книгу на немецком языке. Просьба была выполнена. В полном одиночестве прошло три дня.

Рано утром четвертого дня меня подняли и сказали, что повезут в Трибунал. В маленькой камере внизу сначала я был один. Затем ввели друга по институту Николая Капитоновича Блохина. После ареста мы с ним не виделись ни разу. Далее привели моего школьного друга из Боровска Гавриила Даниловича Золотарева. Мы с ним тоже не виделись после ареста ни разу. Наконец, ввели двух неизвестных мне друзей Николая Капитоновича. Я их видел лишь раз в жизни — во время поездки в Военный трибунал и на его заседании.

Как я обрадовался, когда увидел двух своих друзей! Мы коротко перемолвились об обвинительном заключении и наших показаниях. Ни один из обвиняемых не стал на путь оговора друг друга. Что же касается осуждения личности и политики Сталина и его окружения, то эти мысли были записаны Николаем и его двумя товарищами в бумагах, отобранных при обыске и аресте. Мы почувствовали, что пять месяцев допросов не сломили нас морально, не заставили сделать ложные оговоры. Было ясно, что обвинение в организации террористического акта недоказуемо. Будто упал с плеч тяжелейший груз. Ведь ни один человек, утверждавший об организации нами террористического акта и о призыве к террору, назван не был.

Моя речь на суде неоднократно прерывалась членом Трибунала Сюльдиным. Несколько раз он повторил, что если я не донес об осуждении личности Сталина и его окружения, то я не только сочувствовал, но и помогал контрреволюционной деятельности. Я отвечал, что подсудимые заблуждались, но не нанесли вреда Советской власти. Правдивость моих слов подтверждается моими дневниками, которые были изъяты при обыске. Показания мои в основном не отличались от официальной оценки происходивших событий и от того, что утверждали в своих показаниях однодельцы. В то время я был настолько наивен, что верил в правильность политики Сталина и его окружения. Дневниковые записи давали мне прочную опору для защиты, и, как ни кричал на меня и других обвиняемых Сюльдин, мы, как и на следствии, не дали оговаривающих показаний и твердо отрицали существование группы, подготавливавшей террористический акт. В приговоре обо мне было записано, что я знал о контрреволюционной агитации подсудимых, но не сообщил органам НКВД и поэтому виновен в недонесительстве (по пункту 12 статьи 58), приговорен к году исправительно-трудовых работ с зачетом пятимесячного предварительного заключения (из расчета: один день пребывания в тюрьме за три дня исправительно-трудовых работ). Вследствие отбытия наказания должен быть освобожден из-под стражи. После оглашения приговора ко мне подошел начальник конвоя и, вытянувшись по стойке «смирно», отчеканил: «Гражданин Васильев! Вы будете освобождены из Бутырской тюрьмы».

В это время к нам подошел следователь. Начальник конвоя повернулся к нему и резко сказал, что с заключенными разговаривать не разрешается. Следователь не спеша достал из кармана и показал свое удостоверение. Начальник конвоя опять вытянулся по стойке «смирно»: «Продолжайте беседовать». И отошел в сторону.

Появился конвой. Его начальник — молоденький паренек в форме внутренних войск, с едва пробившимися маленькими усиками — спросил, почему нет еще одного конвоира. Последовал ответ, что ему поручено другое дело, и он не прибудет.

— Ну так что ж? Всех возьмем или разделим на две части?

— Конечно, всех сразу. Куда они денутся?!

— Тогда через одного марш!

Был ясный солнечный день середины марта 1936 года. Синее, синее небо без единого облачка.

«Ворон» привез нас к небольшому красивому дому на Арбате, где в то время находился Военный трибунал Московского военного округа (теперь в этом здании — Музей А.С. Пушкина). Ввели в пустой зал заседаний. Вскоре раздалась команда:

— Встать! Суд идет!

Вошли три члена Военного трибунала, его секретарь и затем в темно-синем гражданском костюме наш следователь с Лубянки, который в процессе следствия был всегда одет в форму, и на ее воротничке был ромб.

Зачитали обвинительное заключение. В качествеотягчающего обстоятельства было указано, что отец мой — дворянин, а мать — помещица, что я на студенческом митинге в связи с убийством С.М. Кирова пытался проташить тонко замаскированную мысль о необходимости массового террора против Советской власти.

В ходе перекрестного допроса на суде и в предоставленном мне заключительном слове я подтвердил, что отец, действительно, был дворянин, но он по поручению Советской власти провел национализацию частных банков в Боровске, был комиссаром, но об этом ничего не сказано в обвинительном заключении. На студенческом же митинге я говорил, что Советская власть — власть трудового народа и террористические акты обречены на провал и должны беспощадно пресекаться и заранее обнаруживаться органами власти.

— В Вашем дневнике и записках много неправильного и спорного, — сказал следователь, — но там есть интересные мысли и проявлена способность к литературной работе. Поэтому начальник Секретно-Политического отдела НКВД разрешил вернуть Вам часть рукописи, из которой мы кое-что изъяли. Куда направить уцелевшее?

Я дал боровский адрес тетушки, который был тут же записан следователем в его блокнот.

Наступал вечер. Несмотря на огромное нервное напряжение, мы почувствовали голод. Ведь нам с утра не дали ни кусочка хлеба, ни глотка воды. И тут Гавриил Данилович Золотарев достал из кармана небольшую краюшку черного хлеба. Очень аккуратно, стараясь не уронить ни крошки, он разломил его на пять равных частей, и каждый получил по маленькому кусочку. Как же эта краюшка уцелела у него? Он ничего не сказал об этом. Его исключительная

доброта и доброжелательность резко повысили настроение каждого из нас. Высказывалась мысль обжаловать приговор Трибунала. Все, кроме меня, решили написать. Мне же не хотелось писать прошение, ждать ответ. Наказание казалось небольшим, клеймо судимого по 58-й статье не представлялось непреодолимой помехой для дальнейшей учебы и работы. Подтверждение самого факта недоносительства, как в записях обвиняемых, так и в показаниях в суде представлялось непреодолимым препятствием к отмене приговора. А о смягчении могла ли идти речь, если срок моего фактического пребывания в тюрьме был больше определенного в приговоре? Сдачу получить, как это бывает в торговой сделке, было невозможно. И страх! Страх ужесточения наказания при вторичном рассмотрении дела.

Обсуждалась и целесообразность переписки. Поскольку на следствии нам инкриминировалась организация контрреволюционной группы, решили переписку между собой не вести.

Опять «Ворон» привез нас в Бутырскую тюрьму, и вечером я вновь был в одиночной камере. Утром я спросил тюремщика об освобождении. Он ответил, что по приговору все будет сделано, когда придут документы. Прошел день, второй... Документы не поступили. Я волновался, нервничал, ходил из угла в угол своей одиночки, и все назойливее одолевала мысль: а выпустят ли меня, в конце концов? Ни немецкой книгой, ни словарем не занимался. Ежедневно меня кормили и поили. Я убирал комнату. В середине третьего для тюремщик сказал, чтобы я собирался с вещами. В комнате первого этажа за столом с большим количеством бумаг сидел человек в командирской форме. Внимательно разглядывая меня, он удостоверился по бумагам, что перед ним тот самый Васильев, который подлежит освобождению. Протянул мне выписку из приговора Военного трибунала, справку о пребывании в тюрьме и об освобождении на основании приговора, паспорт и студенческий билет.

И опять был мартовский солнечный день. Не было конвоя. С небольшим свертком стареньких вещичек я шел в осеннем пальто, в туфлях со срезанными подметками. Шел по весенней шумной улице к трамвайной остановке и ликовал: свобода, предстоящее окончание института — пусть с опозданием, интересная работа в Госбанке. Позади — тяжелейший отрезок жизненного пути. Правда, кровоточат десны, сильные головные боли, бессонница. Но все это пре-

одолимо, пройдет. А теперь — в общежитие института, в нашу комнату в Алексеевском студенческом городке.

Остановка за остановкой проплывали перед моими глазами. А вот и та, где надо сойти, а затем пройти пешком до двухэтажного засыпного дома-барака, где помещается комната, в которой мы жили.

Отворил знакомую входную дверь с улицы. С бьющимся сердцем поднялся на второй этаж, подошел к нашей комнате и без стука, уверенно открыл дверь. За столом в середине четырехкочной студенческой комнаты сидел мой коллега, студент Комаров.

Как я узнал позже, тот самый, который утром дня моего ареста, войдя в аудиторию, прокричал: «Сегодня ночью «скорая помощь» увезла нашего Васильева под конвоем. Ха! Ха! Ха!»

— Что ты говоришь? Рехнулся? Как может «скорая» увозить под конвоем?

— Оказывается, может. Ха! Ха! Ха! Пораскинъ-ка хорошенько умишком и поймешь, что еще как может!

Недоуменно переглядываясь, студенты замолкли. И вдруг поняли. Гробовая тишина повисла в аудитории. В ней одиноко звучал демонический хохот. Стали перешептываться. Некоторые отводили глаза друг от друга. Хохот смолк. Комаров понял, что многие студенты, ох, многие не склонны радоваться. «А еще кто? — Кто еще?» — прозвучал шепот.

Все это я узнал значительно позднее. Но тогда, ничего не подозревая, обрадовался знакомому лицу и дружелюбно сказал:

— Здравствуй, Комаров!

Недоумевающими глазами он уставился на меня, вскочив.

— Здравствуй, Комаров, — повторил я. — Ты не узнал меня?

— Нет, почему же? Узнал.

— Так здравствуй. Не ожидал увидеть?

— Не ожидал. Здравствуй.

Я стал внимательно оглядывать комнату. На моей тумбочке лежали не мои книги и конспекты. На моей койке лежали чужие вещи.

— Черт возьми! Почему на моей тумбочке и постели лежат чужие вещи?

— Здесь поселили другого студента.

— А мои вещи? Мои новые желтые ботинки? Я их еще ни разу не надевал. Мои книги?

— Да все это долго здесь валялось. Давай посмотрим под кроватью. Вроде бы там были твои ботинки. А потом нам поселили на твое место нового студента. Ты ведь знаешь, как трудно у нас с местами в общежитии.

Никаких моих вещей в комнате не оказалось.

— А ты разве не знаешь, что исключен из института? — спросил Комаров.

— Нет. Давно? И за что?

— Да вскоре после твоего ареста был приказ директора.

— Незаконный приказ. Почему же исключили, если не было судебного решения?

— Ну этого я не знаю. Тебе здесь оставаться нельзя. Здесь поселили другого студента. А тебе есть, где переночевать?

— Возможно, на вокзале.

— Тогда я позвоню заместителю директора по хозяйственной части и спрошу у заведующей общежитием. А ты подожди меня тут.

Долго я сидел в бывшей нашей комнате. Вечерело. Чем дольше шло время, тем тяжелее становилось у меня на душе. Будто чья-то жесткая холодная рука все сильнее сжимала сердце. Мысль работала четко и беспощадно. Оказывается, впереди меня ждет много горя и страданий. Радужные надежды рассеялись.

Я начал вспоминать знакомых, у которых можно было приютиться на ночлег... Наконец, быстро вбежавший Комаров нервозно сказал, что ни заместитель директора, ни заведующая общежитием не разрешают переночевать мне здесь. Казалось, он был действительно расстроен происшедшим. Он стал просить прощения за то, что они, мои бывшие товарищи, не сберегли мои вещи. Мне же казалось, что потеря моих вещичек не имеет никакого значения. Жизнь приоткрылась мне как необозримо незнакомое море, беспощадно пожирающее людей, калечащее их судьбы и приносящее им нестерпимую боль.

Вспомнилась кума моей няни. Квалифицированная ткачиха, воспитывавшая с трудом двух дочек, родившихся от разных мужчин, — доверчивая и добрая, жившая в большой комнате коммунальной квартиры на первом этаже двухэтажного дома на Большой Почтовой улице. Наверняка, она, старая кадровая работница, не побоится пустить меня на ночлег. Когда я постучал поздним вечером в ее дверь, она

без излишних расспросов, с улыбкой приютила меня, сказав, что и в следующие дни я могу приходить к ней ночевать, удивилась лишь, какие ужасные на мне туфли с обрезанными подметками и что со мной так мало вещей. Постелила мне на сундуке, на котором я у нее спал раньше, сожалея, что нет у нее для меня подходящих туфель.

Утром следующего дня я был в приемной директора института. Конечно, как всякое большое начальство, он приходил значительно позже начала рабочего дня. С изумлением и даже страхом смотрели на меня знакомые студенты и сотрудники института. Весть о том, что я освобожден, очевидно, пришла уже вчера, но никто не пытался заговорить со мной, хотя на мое приветствие большинство встретившихся знакомых сдержанно отвечали.

Раз нет на месте ректора, надо идти к секретарю партийной организации. Некоторое время мы с ним учились в одной студенческой группе. «Конечно, он меня помнит», — размышлял я. Дверь кабинета не заперта. Сумрачный, усталый секретарь один сидел за столом. Он немного повернул в мою сторону голову, сдержанно, кивком головы ответил на мое приветствие, спросил:

— С чем пришли?

— Пришел просить поддержать мою просьбу о восстановлении в институте.

Посмотрев на пачку документов, которые были в моей руке, он молча протянул за ними свою руку. Прочитал их раз, другой и все время молча.

— Так о чем же Вы просите?

— Прошу отменить приказ о незаконном исключении меня из института до судебного решения по моему делу.

— Об этом и речи быть не может. Вы осуждены по 58-й статье. Да ведь и год учебный кончается.

— Тогда поддержите мою просьбу о сдаче курсовых экзаменов и защите диплома в порядке экстерната.

Секретарь молча долго смотрел на лежащие на столе мои документы, не поднимая глаз. На его лице застыло выражение усталости и какой-то окаменелости.

— Может быть, Вы сомневаетесь, смогу ли я сдать экзамены, написать и защитить диплом в порядке экстерната? Я буду работать и учиться.

— В этом никто не может сомневаться. Вы хорошо учились, — сказал секретарь, впервые посмотрев мне в лицо долгим, пристальным взглядом.

— Тогда почему же? Или Вы думаете, что, получив диплом, я могу нанести ущерб государству?

— Именно это самое.

— Тогда нам с Вами не о чем разговаривать, — произнес я, забирая свои бумаги.

В приемной директора мне было сказано, что он пришел, но примет меня через некоторое время.

Долго и терпеливо не один час я ждал приема. Наконец, меня пригласили к директору. Раздраженный ответом секретаря и долгим ожиданием, я резко спросил:

— На каком основании Вы исключили меня из института, не имея судебного решения по моему делу?

— Вон Вы как заговорили! Давайте Ваши документы. Я должен посоветоваться по этому делу. Через три дня Вам передадут мой ответ.

— Очень прошу Вас не тянуть с ответом. Посмотрите, в какой ужасной обуви пришел я к Вам. Мне негде жить в Москве. Если Вы не сочтете возможным восстановить меня студентом института — дайте разрешение сдавать мне экзамены и писать диплом в порядке экстерната. Буду работать и учиться.

— Вам ясно сказано, что ответ Вам передадут через три дня. Это небольшой срок. Разговор окончен.

— До свидания.

Директор ничего не ответил и проводил меня злым взглядом.

В Боровск! В мой любимый маленький городок. В отчий домишко, где найдутся для меня и старые ботинки, хоть некрасивые, но с подошвами, старое чистое белье, картошка, капуста, возможно, даже хлеб и свежее, густое козье молоко. А главное, главное — ласковое слово, стремление угадать и выполнить мои желания, своевременно выстирать, починить белье, заштопать носки, посмотреть на меня долгим любящим взглядом. Все это обещало мне общество старушек — немногих, уцелевших от некогда больших семей Васильевых и Капыриных.

В тот же вечер, проехав 100 километров на поезде, пройдя пешком 17 километров от станции Балабаново, я взялся за металлическое кольцо калитки нашего домишки. Как всегда, она оказалась запертой изнутри на засов ветхих ворот. Подошел к окну. В комнате сидела бабушка, вязала чулок и не замечала меня. Я тихо постучал. Услышав стук, она удивленно всматривалась в окно и вдруг с неожидан-



ным проворством и радостной улыбкой вскочила и громко крикнула: «Паня пришел!»

Послышался быстрый бег, шум отодвинутого засова. Калитка раскрылась. Натруженные, жесткие руки обхватили мою шею, и сквозь град горячих поцелуев звучало: «Милый мой, милый мой! Вернулся! Вернулся! Хочешь есть? Расскажи нам. Расскажи все».

Вымытый в корыте, одетый в чистое белье, в старых башмаках, но с подошвами, я неторопливо ел, затем пил чай. Коротко, без подробностей переживаний, прошедших и предстоящих, рассказывал...

Затем поздней ночью был сон — тревожный, с яркими картинками, прерывистый, но все же сравнительно долгий и освежающий.

После трех дней отдыха в назначенное время я опять был в приемной директора. Мне возвратили документы без единой записки на них, с сообщением, что приказ остается в силе, ни о каком экстернате речи быть не может. Разговора со мной больше не будет.

— Кому можно обжаловать приказ директора?

— Никому. Хотя... Вы можете обратиться в Управление учебных заведений Правления Госбанка СССР.

«Нет, — думалось мне. — там ничего не решат. Надо выяснить, что делать с просроченным паспортом...»

Начальник паспортного отдела милиции быстро принял меня. Очень внимательно рассмотрел паспорт и спросил:

— Что Вы с ним делали? Он у Вас попал в воду?

— Да. Я ездил в гости к дядюшке Димитрию. Мама зашила паспорт в карманчик трусов, чтобы я не потерял его. День был жаркий. У станции протекала речушка. Я забыл про зашитый паспорт, стал купаться и намочил его.

— Как называется речка, в которой Вы купались?

— Барыш.

— Странное название. Где она протекает?

— В Ульяновской области около городка Карсун. Там живет мой дядя.

Он опять внимательно просмотрел паспорт, перелистал каждую страницу и задержался на моей фотографии.

— Паспорт подлинный, подделок в нем нет. Выдан отделением милиции Москвы. Прописан в нашем отделении. Все так. Справка из тюрьмы тоже подлинная. А где выписка из приговора Военного трибунала?

— Мне не дали никакой выписки.

— Почему?

— Не знаю. Может быть, потому, что приговор был вынесен на закрытом заседании.

— Непорядок.

— Так ведь документы мне выдавала тюрьма. А приговор выносился в другом месте в помещении Трибунала на Арбате.

— Все равно. Оставьте Ваши документы. Мы запросим Трибунал. Через недельку-другую все выяснится.

— Зачем же такая волокита? Я возьму свои документы, съезжу в Трибунал, попрошу выписку из приговора и привезу Вам.

— А если Ваша выписка осталась в Бутырской тюрьме? Вам придется ехать туда.

— Ничего. Я съезжу и туда и сюда. Не ждате же две недели.

И храбро взял с его стола и паспорт и справку. Сердчишко же бурно билось: «Вдруг не отдаст?»

После недолгого раздумья он сказал, что можно и так.

Постояв и подумав на улице несколько минут, я решил, что надо идти к военному прокурору с просьбой об отмене приказа ректора. В его приемной мне сказали, что могут записать на прием лишь через несколько дней, но сомнительно, чтобы он занялся отменой приказа ректора гражданского учреждения. Все же я записался, так как меня судил Военный трибунал.

Я решил обратиться к адвокату в юридическую консультацию, находившуюся недалеко от площади Дзержинского. Сидевший в общей комнате пожилой человек с большой лысиной, интеллигентным лицом и очень умными, пронизательными глазами, узнав, что я хочу проконсультроваться о судимости по 58-й статье, внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Посидите немного здесь.

Подошел к сотруднику, записывавшему на консультацию, спросил, свободна ли комната номер шесть. «Да, она свободна». — «Дайте мне от нее ключ».

Подойдя с ключом ко мне, он сказал: «Идите за мной».

Мы прошли по коридору. Он отпер дверь маленькой изолированной комнатки и, пригласив меня войти, сказал:

— Здесь нам не помешают. Расскажите кратко и точно содержание допросов Вас следователем, ход заседания Трибунала и его приговор.

— Но ведь копия приговора у Вас в руках.

— Да, я внимательно прочитал этот документ. В нем содержится лишь краткая справка об осуждении Вас... Никаких сведений о самом деле, числе привлеченных. Совет можно давать, зная точно об обстоятельствах дела, хотя бы в общем кратком изложении.

На меня смотрели умные, очень внимательные глаза, умудренные опытом. Когда я рассказывал, он не перебивал меня, но чутко реагировал небольшими движениями головы и правой руки.

— Вы признали обвинение, что знали о контрреволюционных высказываниях Ваших знакомых? Подписали протоколы допросов и обвинение на заседании Трибунала?

— Да.

— Вы допустили большую ошибку.

— В чем она? Я показал, как и все подсудимые, правду. Эти данные содержатся в записках самих привлеченных и их показаниях. Никто из нас никого не оговорил. Мы не подписали ложное обвинение в подготовляемых террористических актах, в существовании контрреволюционной организации.

— Это последнее делает Вам честь. Далеко не все выдерживают систему допросов. Многие по духовной слабости дают ложные показания, сами дают возможность суду или какой-то другой инстанции вынести приговор. Вы сделали роковую ошибку.

— Ошибку дать правдивые показания?

— Вы уверены, что из Ваших правдивых показаний были сделаны правильные выводы? Сами же Вы сказали, что в Бутырской тюрьме отказались от дальнейшей дачи показаний и подписи допроса и Вас перевели на Лубянку. Значит, Вы, мягко говоря, сомневались в чем-то. Может быть, что правду Ваших показаний следователь превращает в неправду по существу дела.

— Что же надо было делать?

— Не давать показаний, которые могут быть неправильно истолкованы. В ходе следствия и суда, особенно по политическим делам, твердо помнить, что многое сообщалось Вашими знакомыми лично Вам.

— Что же мне делать теперь, чтобы мне дали возможность сдавать экзамены, защищать диплом в порядке экстерната?

— Ни военная, ни гражданская прокуратура не опротестуют приказ директора о Вашем исключении, не дадут

указания о допуске Вас к экстернату. Для проверки моего мнения и успокоения совести попробуйте записаться на прием в Прокуратуре, но, кроме потери времени и дополнительных нервных напряжений, это ничего не даст.

— Тогда что же делать?

— Обычный путь в такой ситуации — получить за пределами Москвы скромную работу с небольшой оплатой и скромным жильем. Самостоятельно писать диплом и ждать... ждать. Затем опять просить об экстернате. И все время быть очень осторожным. Очень. Постоянно помнить, что много неизвестных глаз постоянно следят за Вами. Среди них будет немало внимательных, считающих своей задачей отметить каждый Ваш, казалось бы, невинный промах.

— И ничего лучшего?

— Возможно и лучшее, правда, сомнительное и мало надежное. Попробуйте попасть на прием к заведующей Бюро жалоб Комиссии Советского контроля Совнаркома — Марии Ильиничне Ульяновой.

— Сестре Ленина?

— Да. Жалуйтесь на то, что Вам не дают закончить институт экстерном. Попасть к ней очень трудно, но теперь это, возможно, главное дело Вашей жизни.

— Большое, большое спасибо. Сколько заплатить Вам за столь ценную консультацию?

— Что может заплатить нищий студент? Я с Вас ничего не возьму.

Я был потрясен.

— Но ведь Вы потратили много времени, дали ценнейшие советы. И не только строго по делу, но и о том, как жить, о критериях и обстоятельствах жизни.

— Советы о жизни... О какой цене может идти речь... Но к ним мало кто прислушивается и правильно анализирует их и свои поступки. А консультация по делу... Я ничего не возьму с нищего студента.

Внимательно оглядел смятую кепчонку в руке, старенькое пальтишко, весьма поношенные ботинки. Решительно и быстро встал.

— Желаю Вам терпения и успеха в жизни.

Некоторое время, потрясенный, я стоял у запертой двери, смотрел на быстро удаляющуюся фигуру человека и думал: «Земной тебе поклон. Умному, доброму, отзывчивому, укрепляющему веру в справедливость, вселяющему надежды».

Больше мы с ним никогда не виделись.

Теперь в приемную Марии Ильиничны! Она помещалась тогда в Охотном Ряду в недавно построенном огромном здании, на фасаде которого менялись вывески: «Дом Совета Министров СССР», «Госплан СССР». Вошел в небольшую комнату. На ее двери было несколько надписей. Запись на прием к Марии Ильиничне по таким-то дням недели, в таких-то комнатах, в такое-то время. По квартирным вопросам приема нет. Запись на прием, который будет происходить после такого-то числа. Я понял, что это после записи.

Вход в первую комнату приемной был свободен. Никаких документов предъявлять не надо. Люди входили, выходили, стояли, перебрисывались короткими фразами. Я понял, что после записи я попаду на прием через неделю-две.

В Военной прокуратуре была возможность переговорить раньше записи на прием к Марии Ильиничне.

В приемной Военного прокурора было всего два человека, и очень быстро подошла моя очередь. Пробежав глазами содержание моих документов, прокурор недоуменно посмотрел на меня:

— Вы обращаетесь не по адресу. По этому вопросу должно принять решение гражданское учреждение, а Вы пришли в Военную прокуратуру.

— Но ведь решение должно быть на основании приговора Военного трибунала. Следовательно, так или иначе оно подведомственно Вам.

— Ничуть. — Он взял мое заявление, разорвал и бросил в корзину для ненужных бумаг. — Вы на следствие не жалуетесь. Решение Военного трибунала не оспариваете. С военным ведомством Ваши контакты прекращены. Обращайтесь в гражданские учреждения, которым подведомственен Ваш институт.

Кнопка звонка была нажата. Секретарь получил указание просить следующего.

В день записи на прием к Марии Ильиничне, несмотря на мой ранний приход, у приемной на тротуаре была значительная группка людей. С недовольством некоторые говорили, что записывать будут не всех подряд. Вначале надо побеседовать с одним из референтов, и только он может или записать на прием или отказать.

После долгого ожидания я очутился в небольшой комнатке, где сидел человек средних лет, назвавший себя Карповым. Он попросил меня сесть и коротко рассказать, на что я жалуюсь. Внимательно прослушав начало, прогово-

рил: «Надо короче и яснее. Особенно о том, что надо отметить и как решить».

После окончания моего рассказа он участливо посмотрел на меня:

— Ваше дело может решить только сама Мария Ильинична. Я запишу Вас к ней на прием на такое-то число и в такое-то время в приемный день. Явитесь, не опаздывая. Расскажите все точно, но значительно короче, чем мне.

— Надо принести заявление или письменное изложение?

— Нет, никакого заявления, никакой записки. Мария Ильинична записывает все сама со слов жалующихся.

Я опять уехал в Боровск до дня приема.

Приехал обратно к приемной рано. И опять застал кучку людей. Мне объяснили, что будут приняты только записанные. После сравнительно недолгого ожидания я услышал, что вызывают Васильева. Впереди меня встал седоватый худой человек и пошел к приоткрытой двери, и за ним хотел пройти и я. Но послышалось предупреждение:

— Куда Вы идете? Ведь приглашали же Васильева.

— Я и есть Васильев, — и полез в карман за паспортом.

— А кто прошел перед Вами?

— Не знаю.

— Товарищ, товарищ! Подождите! Куда Вы идете?

— К Марии Ильиничне.

— Как Ваша фамилия?

— Васильев.

— Ах, да, тут два Васильевых! Тогда пройдите оба в эту комнату. Мы выясним, какого Васильева приглашает Мария Ильинична.

Мы вошли в небольшую комнату, где стучали пять машинисток. Подумал, какая же из них Мария Ильинична? Но все они были сравнительно молоды. Лицо ни одной из них не имело хотя бы отдаленных черт семьи Ульяновых. «Ее здесь нет», — подумалось мне. В это время открылась огромная дверь белого дуба, и пожилая женщина, появившаяся из-за нее, произнесла:

— Мария Ильинична просит пройти к ней студента Васильева.

Я вошел в огромную комнату, у задней стены которой стоял большой коричневый, вероятно, старинный стол, а впритык к нему — длинный, почти во всю комнату узкий стол, покрытый зеленым сукном. Вдоль него и двух боковых сторон комнаты стояли ряды простых венских стульев.

Из-за коричневого стола поднялась совершенно седая, маленького роста старушка в простом, скромном коричневом платье с белым воротничком. Сверх платья была надета старенькая мягкая кофта из верблюжьей шерсти с сильно вытянувшимися полами и большим отвисшим карманом, из которого выглядывал кончик белого носового платка. Никакого украшения ни на платье, ни на кофте не было. Именно такой и виделась она мне в воображении — типичной Ульяновой, сестрой Владимира Ильича.

Я поздоровался. Она ответила кивком головы и сказала:

— Что же Вы остановились в дверях: проходите к моему столу. Нам будет неудобно разговаривать, находясь в разных концах комнаты.

Я быстро подошел и остановился у ее стола.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она, и сама села после того, как сел я. Открыла толстую книгу, лежавшую на столе, взяла ручку и приготовилась записывать. — На что Вы жалуетесь? — Мысль работала четко и ясно. Мария Ильинична все время что-то записывала. Когда я дошел до описания хода судебного дела и сказал, что Трибунал переименовал пункт десятый 58-й статьи на двенадцатый, она прервала меня: «Вы выразились неправильно. Надо было сказать не «переименовал», а «переквалифицировал».

В этот момент открылась дверь, и секретарь сказала:

— Мария Ильинична, товарищ Антипов просит соединиться с Вами по внутреннему телефону.

— Извините, мне нужно переговорить по телефону.

Я поднялся и быстро вышел из кабинета. Меня спросили, окончился ли мой разговор с Марией Ильиничной.

— Нас прервала телефонная беседа.

— Тогда надо подождать и окончить Ваше дело.

Через несколько минут дверь кабинета открылась, и появившаяся Мария Ильинична сказала: «Товарищ Васильев, проходите, пожалуйста. Нам надо окончить разговор».

Держась за ручку двери, она пропустила меня вперед, и сама закрыла за мной дверь, прошла к столу, знаком пригласила меня сесть, и затем села сама.

Я закончил рассказ о своем исключении из института и отказе в разрешении сдавать экзамены, защищать диплом в порядке экстерната.

— Не понимаю, почему человек, отбывший наказание, не может учиться и работать. — Раскрыла свой блокнот, записав в нем что-то. — Приходите ко мне утром сюда

же в такой-то день. — Это был неприятный день примерно через неделю. Ликующий, полный глубочайшей благодарности и теплящейся надежды, я попрощался.

В напряженном ожидании провел я неделю опять в Боровске. Колол дрова, занимался мелкими починками забора, надворных построек, самого старенького домика с кирпичными стенами и ветхими деревянными сенями, видевшими, по преданию, самого Наполеона. А недоделок и нужд в их починке накапливается, ой, как много, особенно когда в доме нет умелой, сильной мужской руки, и долго живут одни престарелые женщины.

Утром назначенного дня ни на улице, ни в приемной, куда меня впустили, никого из посетителей не было. Сказали, что надо подождать в комнате, где сидели и напряженно стучали машинистки. Вошел директор. Я встал и поздоровался. Он не ответил, повернулся ко мне спиной и сел у противоположной стены. Через небольшой промежуток времени из кабинета Марии Ильиничны вышла пожилая седеющая женщина и обратилась к директору: «Товарищ Ширяев, Мария Ильинична просит Вас зайти к ней».

Через несколько минут та же женщина обратилась ко мне: «Товарищ Васильев, Мария Ильинична ждет Вас».

— Товарищ Васильев, — с приветливой улыбкой сказала Мария Ильинична. — Ваше дело решено. Вам предоставляется право сдавать курсовые экзамены, писать и защищать диплом в порядке экстерната. Вам будет разрешено работать по специальности в Госбанке.

Директор вскочил.

— Но я же докладывал Вам, что член Правления Госбанка СССР, начальник управления кадров, член партии с 1918 года товарищ Грандсберг категорически возражает против этого решения.

Лицо Марии Ильиничны изменилось. Рывком она повернулась к директору и жестко произнесла:

— Передайте члену партии с 1918 года товарищу Грандсбергу, что он в порядке партийной дисциплины неукоснительно должен выполнить решение высшего советского и партийного органа. — И затем опять с улыбкой обратилась ко мне:

— Желаю Вам хорошо учиться и успешно трудиться в банке. До свидания.

— Большущее, большущее Вам спасибо, Мария Ильинична. Вы вернули меня к настоящей жизни.



Ликующий, почти выбежал я из кабинета и решил, что завтра с утра я буду в Правлении Госбанка у Грандсберга просить направление на работу.

Следующий день встретил меня пасмурно. По небу ветер гнал сплошные низкие облака, из которых по временам побрызгивал неприятный, холодный, мелкий дождичек. Приемная, в которую я вошел по выданному мне на первом этаже пропуску, произвела еще более неприветливое впечатление из-за плотных, зеленых полуопущенных штор. Хорошо одетая секретарь со строгим, холодным лицом, взяв и просмотрев мои документы, сказала, что надо подождать. Присев в уголке, я ждал. Проходили разные люди — то стремительно, торопливо, то солидно и медленно, с важным видом персоны. Шел час, другой. Наконец, секретарь сказала, что мне можно пройти.

За столом такой же сумрачной комнаты в хорошем костюме сидел маленький полуседой человек. Я поздоровался. Он небрежно и быстро кивнул головой.

— Вы получите направление в Мезень лес кредитовать. Там давно нет нужного человека, — без какого-либо предисловия, тоном приказа распорядился он.

Ошеломленно я старался вспомнить географическое положение этого населенного пункта на далеком Севере.

— Как же я буду добираться оттуда в Москву сдавать экзамены? Летом по реке? Зимой на собаках?

— Это Ваше дело.

— Нельзя ли назвать другое, пусть и суровое и отдаленное место, куда можно бы добраться по железной дороге?

— Другого места у меня для Вас нет.

В голове пронеслось: «Саботаж. Ярко выраженный саботаж». Четко и быстро созрело решение, на которое я не отважился бы в другое время.

— Буду жаловаться на Вас в Комиссию Советского контроля. Вы, член партии с 1918 года, саботируете выполнение решения высшего советского и партийного органа, — почти прокричал я.

Была огромная вспышка гнева. Преодолев ее огромным напряжением воли, я, не прощаясь, медленно пошел к двери и услышал: «Подождите. Если Вас кто-нибудь возьмет в Банке без моего направления, возражать не буду».

---

---

## НАЗНАЧЕНИЕ И ПОЕЗДКА В ПЛАВСК

Куда же теперь? Конечно, в Московскую областную контору, расположенную в этом же корпусе здания на Неглинной, 12. Спустился и нашел дверь небольшой комнаты с надписью «Отдел кадров». Постучал. «Войдите».

Была уже вторая половина дня, стало сумрачно. За огромным столом, заваленным ворохом бумаг, сидел большой толстый человек с отечностью на лице и толстыми пальцами рук, видимо, больной. Сбоку на венском стульчике спиной к окну сидел другой человек, ниже среднего роста, по силуэту — худощавый и стройный.

Коротко, в который уже раз я изложил свои беды и просьбу принять меня на службу экономистом в одно из отделений Госбанка Московской области, желательно туда, где есть хороший экономист с большим опытом практической работы, у которого можно было бы поучиться и откуда легко можно было бы добраться до института сдавать экзамены. Слушали меня внимательно и молча. Худощавый стройный человек порывисто встал, быстро подошел к большой географической карте, занимавшей почти всю противоположную стену комнаты, и показал карандашом мало заметную точку.

— Поедем ко мне в Плавск, небольшой, но важный городок. Он вплотную примыкает к станции «Паточная» Курской железной дороги, примерно километров на 70 южнее Тулы.

— Согласен.

— Да что ты, Александр Сергеевич, нельзя же так решать важный вопрос. Надо все проверить, что он сказал, посоветоваться.

— Он наговорил на себя столько, что уже больше наговорить невозможно, и чувствую, наговорил правду. Если боишься — схожу к управляющему конторой...

— Не твое дело идти с таким вопросом к управляющему. Давайте посидим и поговорим поподробнее.

Все трое сели у стола толстяка.

— Вы, товарищ Васильев, анализ баланса хорошо знаете?

— По зачетной институтской книжке — хорошо, а практически — нет. Баланс действующего предприятия ни разу не анализировал.

— Вот, видишь, Александр Сергеевич? А учились как?

— И на «удовлетворительно», и на «хорошо», и на «отлично».

— С Вами зачетная книжка?

— Да.

— Покажите ее.

Вдвоем они стали ее рассматривать.

— Пестрая картина, — сказал толстяк, перелистывая страницы. — То сплошь «удовлетворительно», то почти одни хорошие оценки, а последнюю сессию сдали на «отлично», за исключением одного предмета. Почему так?

— Потому что я начинал занятия на вечернем отделении. Одновременно работал. Трудно. Были только тройки. Потом перешел на дневное и стал набирать темп.

— Лапко у тебя, Александр Сергеевич, не тянет? Ведь он же у тебя несколько лет.

— Не тянет. К тому же у него квартира в Москве. По четыре раза в год просится отпустить в Москву.

— Есть ли мне у кого поучиться там?

— Нет. Учиться будут у Вас и не только в Плавске, но и в шести других отделениях, которые по кредитованию свиновхозов подчиняются Плавскому. Ведь оно Головное.

— Трудно мне будет.

— Да, трудно. Но ведь у Вас и позади были большие трудности. Выдюжите, — засмеялся Александр Сергеевич. — Когда можете выехать?

— Через день после получения направления.

— Вот и хорошо, что дело решаете оперативно. Направление будет у Вас сегодня. Послезавтра — воскресенье. Постарайтесь приехать в воскресенье утром. Осмотритесь, обустройтесь на скорую руку. В понедельник примете дела.

Светло и спокойно было на душе, когда я ехал из Боровска. Хотя и был всего лишь бедный студент, но вещи заполнили большущий чемоданище: и сапоги, и валенки, и куча белья, и свернутый коврик, и маленькие портретики папы и мамы, и книги по специальности для сдачи пос-

ледних экзаменов (ведь их могло не оказаться в Плавске). Сверток записей лекций, сделанных каллиграфическим почерком моим другом Виктором Чуриковым, которые он мне дал, так как не по всем дисциплинам были учебники (их еще не успели написать и издать, особенно по экономическим дисциплинам). Он отлично учился, был видным комсомольцем института и смелым человеком, не побоялся продолжать дружбу с «запятнанным» студентом.

На Курском вокзале сравнительно быстро я купил билет в общий вагон местного поезда и пошел сдавать вещи в багаж, но их вес оказался больше предельно установленного. Кладовщик наотрез отказался принять мой багаж, грубо наорал на меня, грозя позвать милиционера: «Не мешайте работать». Но его жуликоватая физиономия говорила о далеко не безнадежном моем положении. Я отошел в сторонку и стал ждать. Когда все разошлись, со свернутой десяткой в полусжатой руке я довольно смело подошел опять.

— Тащи скорей багаж! Вес его я укажу в квитанции предельный, но ниже запрещенного инструкцией и ниже фактического. На станции назначения выходи из положения сам. Но меня не выдавай. Ни, ни! Понял?

С маленьким зеленым фанерным баульчиком эллипсоидной формы в руках я пошел на платформу. Пришлось ждать долго. Собралась большая толпа пассажиров, которых, по моему мнению, должно быть не так много: ведь сегодня Святая Великая суббота. Впереди меня поторавливались навстречу подходящему поезду два крестьянина с огромными мешками. Вдруг второй закричал первому:

— Кум, кум! Стой! Течет!

— О!

Кумовья бросились в сторону.

— Развязывай мешок!

Были сброшены оба мешка. Я задержался, чтобы посмотреть, что будет. Из развязанного мешка была вытащена поллитровка водки, значительная часть которой пролилась.

— Гляди, кум! Такие они сякие, разэдакие! В бутылку всунули такую пробку! Ведь чуть не половина разлилась.

— Что ж теперь делать?

— Известно что. Выпить!

— Дак ведь закусить нечем. Закуска у мене в мешке в самом низу, нешто в такой суматохе достанешь?

— А мы без закуски. Впервой что ль?

— Дак ведь и стакана нет.

— А мы из горлушка. Заметь пальцем на бутылке и выпей. Остальное — мне.

— Ну кум, за твое здоровье!

— Спасибо, ладно, пей скорей.

Задержка с кумовьями дорого мне стоила. Когда я подошел к своему вагону, у него столпилась небольшая, но весьма агрессивная кучка пассажиров, которые, отталкивая друг друга, стремились влезть и захватить удобное место — в билетах были проставлены только вагоны, номера же мест не указывались. Вклинившись в толкучку, я не заметил, что на спине у лезущего впереди пассажира у скобки чемодана был острый торчащий конец. Впереди лезущий внезапно резко повернулся, зацепил острым концом полу моего пальтеца, рванул и прорвал здоровенную дыру.

В вагоне, досадуя на свою нерасторопность, я забрался на верхнюю полку, подложил под голову баул и шапку и заснул. Спал чутко, неоднократно просыпаясь.

Проснулся на рассвете Светлого Христова Воскресенья. Слез с полки. Заметив по часам, что скоро поезд прибудет к станции «Паточная», подошел к двери вагона. Наконец, увидел станционное строение и ясную надпись «Паточная».

Вышел. На станции поблизости от меня не было ни одного человека. Прохладный, влажный ветер гнал низкие кучевые облака и пряный, весенний запах растаявшей земли. Поезд ушел. Замаячила фигура человека в картузе с топориками на околыше и в весьма поношенной форме железнодорожника, двигавшаяся по платформе в мою сторону. Когда он приблизился, я поздоровался и спросил, как пройти в Плавск.

— Да вон, видите, к станции подходит узкая шоссейная дорога. Она Вас прямо до Плавска и доведет. Только Вы по ней, пожалуй, не пройдете, — остановившись, в раздумье сказал он. Видимо, он был словоохотливым человеком, дежурным, и спешить ему было не нужно.

— Почему?

— Потому что она идет низом и к самому низу Курской шоссейной магистрали. Там теперь после таяния снега скопилось целое озеро жидкой грязищи. Пожалуй, и в русских сапогах не пройдешь. А у Вас вот ботинки с калошами. Вы не только калоши зальете, но и в верх ботинок и в носки грязи зачерпнете. Да Вам куда в Плавске-то нужно?

— В Отделение Госбанка.

— Неудачно Вы приехали в такую рань. Да и банк сегодня не откроют. Ведь Пасха.

— Я еду туда работать.

— Тогда дело другое. Видите, впереди направо семафор стоит? Вот к нему Вы и идите прямо по путям. Там опять направо будет железнодорожная ветка. Вы по ней идите, никуда не сворачивая, до ворот большого забора завода «Смычка». Ворота сегодня закрыты. Проходная, наверное, тоже закрыта. Дежурного и того с этой стороны завода, наверное, нет. От ворот налево пойдет пешеходная тропинка. Длинная... Завод-то большой. Стоит на пригорке и подходит фасадом к самой Курской магистрали. В этом месте грязи большой не бывает. На другой стороне шоссе белое двухэтажное здание. Вот там и помещается Плавское отделение Госбанка. Кем же Вы будете работать в банке?

— Старшим экономистом.

— Желаю успеха. Там хороший управляющий. Его хвалят.

— Благодарю за подробные, ясные указания.

Я снял свою кепчонку, помахал ею и быстро пошел указанной дорогой.

Дойдя до шоссе, почти не запачкав калош, увидел на другой стороне белое здание. «Наверное, банк», — подумал я. Затем увидел вывеску и обрадовался, что пришел без плутаний.

Нижняя парадная дверь была не заперта. По широкой лестнице вошел на второй этаж, подошел к железной двери с глазком, прикрытым изнутри железной пластинкой. Нажал на кнопку звонка. Послышались шаги сапог, подбитых железными подковками.

— Кто идет? — прозвучал громкий, жесткий голос из-за двери.

— Васильев Павел Григорьевич.

Зашуршала пластинка, закрывавшая глазок.

— Документы!

Я просунул в глазок свернутое в трубочку командировочное удостоверение. «Трах-трах» — зазвучал замок отпертой двери, которая с легким шумом медленно распахнулась. Сбоку, у раскрытой двери, в форме защитного цвета, подпоясанный ремнем с португеей через плечо и наганом в кобуре стоял улыбающийся усатый охранник. Представился: «Охранник Слюнястик Иван Яковлевич. Ждем. Здравствуйте. С приездом». «Рад познакомиться, — сказал я, думая: — Бывают же такие фамилии да еще у охранника». Прогрохотал запирающийся замок.

— Проходите в кабинет управляющего. Он приказал, чтобы мы постелили Вам там постель. Подушка с наволочкой, матрац, простыня, одеяло с пододеяльником. Все там постелено, чистое. Там Вы и жить будете, пока Лапко не уедет. Прилягте с дороги, поспите, а днем управляющий сам сюда придет. На нижнем этаже этого банковского дома все начальство живет: управляющий, главный бухгалтер, старший экономист. А всю кухню я с семьей занимаю. Если надо умыться, спуститесь на первый этаж в кухню. Там умывальник, мыло. Утром мы ставим большой самовар — на всех хватает. Вы ведь к нам надолго, работать приехали. Дверь я на первый этаж отпру.

Глубоко тронутый приветливым приемом, радушием, приготовленной постелью, я быстро умылся, лег и заснул.

Проснулся поздно утром от каких-то неясных звуков. Быстро оделся. Подошел к окну, выходящему в большой двор банковского дома, где с левой стороны стояли впритык к стене банка пять обширных закут для содержания животных. У задней части двора высился добротный забор с широким навесом. Справа расположился каменный домик под железной крышей. От него до самого правого угла банка опять тянулся плотный забор с навесом. В самой середине двора лежала большущая куча навоза.

Послышалось движение в кухне. Спустившись туда, я встретился с полным румянощеким украинцем, приветствующим меня широкой улыбкой и возгласом:

— Приветствую появившуюся смену! Васильев Павел Григорьевич?

— Здравствуйте! Старший экономист Лапко?

— Он самый. Я ведь пять лет ждал смены. Да все не отпускали.

Мы дружелюбно пожали друг другу руки.

— Пойдемте ко мне. Посмотрите Вашу будущую квартиру. Посидим, поговорим, выпьем чаю. Самовар кипит вовсю. Я еще не пил чаю, не завтракал.

— Не откажусь.

— Вот и хорошо.

Лапко широко распахнул дверь. Глазам представилась аккуратно прибранная комнатка с окном во двор и с видом на навозную кучу. Железная кровать с железным же сетчатым матрацем у правой стены. В середине — четырехугольный стол, три стареньких венских стула. Слева — шкаф для одежды, комодик для белья, шкаф для посуды.

— Небогато и тесновато. Вы прожили здесь пять лет?

— Да ведь прислали меня сюда будто бы на один год. Служба и работа в одном доме — удобно. Утром и вечером всегда горячий чай из большущего самовара. Обедаю в столовой райпотребсоюза недалеко от банка в одно и то же время — довольно вкусно. Конечно, у банка есть еще два дома. Там можно было бы большую квартиру получить. Да зачем она мне? Чуть не каждую ночь снилась моя московская комната. Кроме того, с большой квартирой забот много — дрова, ежедневная топка печки зимой, а то и двух. Покупка продуктов, приготовление пищи. Я же холост. Зачем мне все это? И Вам советую. Пока не женитесь — живите в моей комнате. Печки здесь всем топят. Об уборке комнаты и стирке белья договоритесь. Много не возьмут.

Он заварил и принес чай, простую закуску. Стали чаевничать и неторопливо разговаривать.

— Правда, самое лучшее мне поселиться в Вашей комнате. А вот как с обстановкой? Ведь у меня ничего нет, кроме белья, верхней одежды и книг.

— Проще простого. Купите мою простенькую... В Москву ее везти нет никакого смысла. Я ее продам задешево. Вам не надо затрачивать времени на покупку и перевозку. Когда переговорите с управляющим, приходите ко мне. Пойдем вместе обедать.

Сделка была заключена тут же за чашкой чая.

Вскоре я поднялся на второй этаж. В своем кабинете управляющий Александр Сергеевич Соколов читал доставленную почту. При дневном освещении в простом костюме он оказался красивым человеком. Стройный, ниже среднего роста, с правильными чертами лица, небольшой горбинкой носа, светлыми приветливыми глазами и волнистыми русыми волосами.

— Как хорошо, что Вы точно и, как мне говорили, успешно добрались до нашего Плавска. Поздравляю. — Улыбнулся, встал, протянул мне руку и сердечно пожал мою.

— Что касается точности, то это верно. Успешность же, можно сказать, относительная — разорвал при посадке в вагон полу пальто.

— Неприятность не роковая, — мы оба засмеялись. — Чувствую, что Вы уже более или менее осмотрелись. Временное жилище в этой комнате годится?

— Конечно.

— Перемещение в дальнейшем в комнату Лапко и проживание там подходит?



— Несомненно.

— Когда думаете принимать дела?

— Полагаю, начать надо завтра. Но затратить придется несколько дней. Дело мне практически незнакомое. Да и Лапко надо дать время, чтобы собраться. Мне — познакомиться с сотрудниками кредитного отдела.

— А вот на это времени отводить не надо. Завтра утром представлю Вас всем сотрудникам. Знакомство произойдет само собой в процессе работы. Сегодня сам коротко охарактеризую каждого. Главное в Вашем положении в том, что сильных работников в отделе нет. Сразу берите управление твердо в свои руки. Не стесняйтесь обращаться за советами ко мне. В теоретическом отношении я Вам помочь мало в чем могу. Высшего образования не имею. Практику банковской работы знаю и помогать буду с удовольствием. Опыт у меня значителен. Относительно сотрудников на первых порах учтите следующее. Самый надежный и подготовленный человек — Вера Евдокимовна Кузевич — приемная дочь директора свиноводческого треста, старого партийца, чиновца, уважаемого человека. Трудолюбива, честна, давно работает, кредитование и торговли и заготовок знает. Теоретическая подготовка, анализ деятельности предприятий, которые кредитует, — ниже среднего уровня. Изучение этих отраслей и практическую работу в предприятиях на первых порах полностью отдайте ей. Вмешивайтесь только в случаях конфликтных ситуаций и если она сама попросит защиты или совета.

Второй сотрудник Паровозов Петр Захарович — машинист первого класса. Перешел к нам в связи с ухудшением зрения и возрастом. Общая грамотность высокая. Теоретической экономической подготовки — никакой. С практикой банковской работы познакомился в нашем отделении за три года. Солидный, надежный человек. Пусть занимается операциями с мелкой клиентурой и текущими делами. Несмотря на возраст, охотно ездит на лошади и ходит на проверки пешком.

Третий Ваш сотрудник — Гуськов, экономист по колхозам и банковским операциям. Легкий на подъем человек. За год обязательно объедет все колхозы — а их более полутораста. Вскрывает несложные финансовые махинации и злоупотребления председателей и счетоводов, быстро реагирует на жалобы колхозников. Хорошо контактирует с работниками райкома партии и райисполкома. Но как финансист подготовлен недостаточно.

Все операции по бюджетному финансированию и оплатам двум Машинно-тракторным станциям за работы в колхозах Вам придется взять в свои руки и опираться на контролера бюджетно-расчетной группы Зайцева Василия Алексеевича. Он пьяница, но дело знает. Горд, честен. В его дела и брань с операционистами не вмешивайтесь. Пусть идут ко мне, а в мое отсутствие — к главному бухгалтеру Лошевскому Палладию Васильевичу.

Наконец, Вы. Сосредоточьте главное внимание на двух стержневых вопросах работы Плавского отделения. Оно — Головное по кредитованию и финансированию 22 крупных совхозов свиноводческого треста, расположенных на территории семи районов. Одних краткосрочных кредитов у треста десятки миллионов.

— Мне никогда не приходилось выдавать такие огромные суммы денег. Жутко становится.

— Не один же Вы будете приводить в действие этот огромный механизм и отвечать за его работу. Вы перестали быть студентом. Вы стали государственным служащим, на которого возлагаются огромная работа и ответственность за эффективное и правильное ее исполнение. Все совхозы на территории Плавского района кредитовать и финансировать будете лично Вы. Контроль ложится также на Вас. Указания нашего Головного отделения обязательны для исполнения всеми шестью отделениями. Внимательно изучите инструкции. Совхозы треста находятся в тяжелом финансовом положении. Главный бухгалтер треста Дарьин и экономист Ярыгин — квалифицированные люди, но жуликоваты. Учитесь внимательно анализировать их материалы, а ведь они будут представлять простыни по 22 совхозам... К мелочам не придирайтесь, но учитесь не допускать серьезных ошибок.

Второй стержень — финансирование капитальных вложений. Кредитование и финансирование всех строительных объектов района также будете вести лично Вы, за исключением одного ответственного направления, — строительства Комитета резервов Совета Министров СССР. Они находятся на территориях нескольких районов, но все подчинены Плавскому НКВД. Это направление первое время буду вести я сам. Позже оно перейдет к Вам. Все же остальные объекты финансирования капитальных вложений немедленно сосредоточатся у Вас, за исключением строительства в колхозах. Его будет вести Гуськов. Сложность финансирования капитальных вложений заключается не только в том, что там очень много объектов и они

принадлежат разным ведомствам и даже не в том, что они имеют огромное народнохозяйственное значение и в строительстве происходит много злоупотреблений, а в том именно, что финансирование осуществляется за счет средств четырех банков: Промбанка, Сельхозбанка, Торгбанка и Цекомбанка. У всех этих банков действуют свои системы учета, отчетности и различны порядки проведения операций и инструкций. Завтра возьмите у Лапко инструкции... Недели две отведите целиком на знакомство с деятельностью Кредитного отдела, потом первую половину дня, то-есть банковский рабочий день, — работе в банке, а вечер — на подготовку к экзаменам.

— Большое спасибо.

— С бытовыми вопросами наметили, как устроиться?

— Думаю жить в комнате Лапко, когда он уедет. Еду на завтрак и ужин буду покупать в столовой. Горячий чай — в нашей общей кухне. Обед — в столовой райпотребсоюза. Со стиркой белья и уборкой комнаты с кем Вы посоветуете договориться?

— Всю кухню занимает семья охранника. В этой семье сравнительно свободные и сильные две молодые женщины. Они Вас и обстирают и хорошо уберут комнату. Есть еще какие-нибудь просьбы?

— Конечно, есть. Я договорился с Лапко купить у него мебель. Нужны деньги. Их у меня нет. Он уезжает и просит сразу заплатить. Надо получить деньги и расплатиться.

— Сколько же Вам нужно денег? На какое время?

— Думаю, тысячи две с половиной.

— Зачем так много? Давайте посчитаем.

— Когда я ехал сюда, занял 800 рублей. Лапко за обстановку надо заплатить 1500. До полочки придется истратить на питание рублей 150. Срочно своим старушкам послать рублей 200. Вот и все мои расходы. Примерно 3000 рублей.

— А доходы?

— Мое жалованье составит 400 рублей в месяц.

— Это не все. Вам полагаются подъемные. Мы возместим Вам расходы по переезду. Завтра зайдите к заместителю главного бухгалтера. Он Вам оплатит расходы по проезду в Плавск и подъемные. Поэтому Вам потребуется меньше денег, чем Вы определили, и нужную Вам сумму мы достанем.

Я поблагодарил, зашел за Лапко. Мы хорошо пообедали, и я спокойно уснул.

Следующий день прошел очень напряженно в ознакомлении с положением кредитных дел отделения, прове-

дении текущих операций, разбором инструкций, которые надо было изучить в первую очередь. Очень усталый, в конце дня я доложил управляющему, что завтра утром должен идти к начальнику милиции для оформления паспорта, так как он просрочен из-за пребывания в тюрьме.

— Дайте мне еще раз посмотреть Ваши документы.

Я положил на стол паспорт, командировочное удостоверение, справку о пребывании в тюрьме и освобождении по приговору Военного трибунала, копию приговора.

— А где копия решения Бюро жалоб Комиссии Советского контроля?

— Так Вы помните, наверное, что этот документ мне на руки не был передан. Один экземпляр направлен в институт, второй — Управлению кадров Правления Госбанка СССР.

— Как же Вы думаете объясняться с начальником Отделения милиции?

— Предъявлю просроченный паспорт и командировку в Плавское отделение и попрошу выдать новый паспорт или продлить старый.

— Как объяснить причину просрочки паспорта? Не получится ли задержки?

— Тогда придется предъявить справку об освобождении из тюрьмы на основании приговора Военного трибунала.

— Это осложнит дело. Может завариться такая каша, которую трудно будет расхлебать.

— По-моему, нет другого пути. Надо говорить, что есть. Пусть проверяют. Подождем, потерпим. В конце концов, дело решала сама Мария Ильинична Ульянова.

— Пожалуй, Вы рассуждаете правильно. Не заходя в банк, с утра идите к начальнику милиции, а оттуда — прямо ко мне.

Утром следующего дня я вошел в отделение милиции, которое было в нижнем этаже белого двухэтажного каменного дома. В небольшой комнате сидел полный, среднего роста человек в милицмейской форме с четырьмя кубарями на воротничке, с морщинистым круглым лицом, сероватыми, мутноватыми глазами и носом, напоминающим картошку средней величины.

— Здравствуйте! Приехал работать в Плавское отделение Госбанка старшим экономистом. Вот мое командировочное удостоверение.

Толстая рука потянулась за ним.

— У меня просрочен паспорт. Прошу выдать новый или отсрочить этот.

Толстая рука внимательно перелистывала каждую страницу. Листы же с подписями и особенно лист с фотографией рассматривались с разных положений.

— Почему он у Вас такой? Подмоченный что ли?

— Забыл вытащить из кармана трусов, когда купался. Вот он и намок.

— Почему просрочили?

— Потому что сидел в тюрьме. Ни за что. Освобожден по приговору Военного трибунала. Вот справка.

Лицо стало очень внимательным и злым.

— Выписка из приговора Военного трибунала. Таак! И на основании такой выписки командировали на работу к нам в Плавск?

— Не сразу. Вначале не хотели. Обратился в Бюро жалоб Комиссии Советского контроля. Решала вопрос Мария Ильинична Ульянова.

— Копия выписки из решения Комиссии Советского контроля при Вас?

— Никакой выписки жалующемуся не дают. Решение было направлено в Управление кадров Правления Госбанка и в институт.

— Значит, выписки из решения Бюро жалоб у Вас на руках нет?

— Нет.

— Тогда приказываю Вам в 24 часа уехать из Плавска. Если не уедете — арестую.

— Я уже принял дела. Вы можете запросить Комиссию Советского контроля. Все решится оперативно.

— Вам сказано: уехать из Плавска в 24 часа. Не уедете — арестую.

Крайне расстроенный, забрав документы, я медленно возвращался в банк. Уже на пороге Александр Сергеевич понял, что дело окончилось плохо.

Я грустно окончил свой рассказ требованием начальника милиции покинуть Плавск в 24 часа.

— Скверно, даже очень скверно. Но не все потеряно. Пойдемте на прием к самому начальнику НКВД Путрину. У него ромб. Работал с Дзержинским. Возглавляет здесь участок работы огромной важности. Ему подчиняются многие районные отделы НКВД нескольких областей. Страшно? Риск? А что мы теряем? Ровным счетом ничего.

Управляющий решительно поднял телефонную трубку. «Приемная Путрина? Передайте ему, что управляющему Плав-

ским отделением Госбанка Соколову нужно срочно переговорить с ним». Трубка тихо произнесла: «Путрин слушает Вас».

— Товарищ Путрин, мне и моему новому сотруднику Васильеву, которого Вы еще не знаете, необходимо переговорить с Вами по неотложному делу.

— Приходите.

Мы поднялись и пошли. Продолжался хмурый, пасмурный день. Упорно поддувал холодноватый ветерок, то и дело обрызгивая нас маленькими капельками дождя.

— В разговоре нам надо настаивать на том, что дела Вы уже приняли, к работе приступили. Сотрудник, на место которого Вы приехали, назначение получил. Вещи собрал, на этих днях уедет. Если Вы перестанете трудиться на ответственном участке работы, возникнут сложности в деятельности банка.

— Александр Сергеевич, для него эти доводы, может быть, покажутся мало убедительными?

— А что Вы предлагаете? (Это была очень хорошая черта Александра Сергеевича. Он очень часто спрашивал: «Ваше мнение? Что Вы предлагаете?»)

— Следует, видимо, не один раз подчеркнуть, что дело-то ведь решала Мария Ильинична лично.

— Это, конечно, очень важно, но ведь письменного документа у нас на руках нет.

— Многое зависит от ранга начальника и его осведомленности о том, как такого характера дела решаются. Мало вероятно, что лицо областного масштаба, не имея на то серьезного основания, подпишет документ, который связан с делом политического характера. Да и сам Путрин осведомлен куда больше, чем начальник милиции. Тогда и моя командировка будет весомее. В крайнем случае, просить сделать запрос в Комиссию Советского контроля.

— Все учтем. Основное содержание изложу я, а Вы будете отвечать на вопросы. А потом само дело подскажет, как вести себя.

Мы вошли в парадный подъезд того самого дома, где в нижнем этаже я был у начальника милиции. В вестибюле стоял часовой и держал винтовку с примкнутым штыком.

— Кто и к кому идет?

— Соколов и Васильев к Путрину.

— Проходите прямо по лестнице на второй этаж. Первая дверь.

— Знаем, не заблудимся, — улыбнулся Александр Сергеевич.

На середине лестницы нам встретился быстро идущий сотрудник с тремя шпалами в петлице.

— Александр Сергеевич, какими судьбами в наши края?

— Представлять нового сотрудника Вашему начальству.

— Доброе дело. Желаю успеха.

Вот и большая дверь кабинета. Легкий стук. «Войдите!»

Длинная комната во всю боковую стену здания. В дальнем конце ее, освещенный правым и левым боковыми окнами, стоял большой коричневый письменный стол, накрытый широким листом стекла. Впритык к нему длиной во всю комнату помещался второй узкий стол, покрытый зеленым сукном. Вся левая стена была прорезана большими окнами с чистыми, толстыми стеклами. В каждом простенке стоял негноримый шкаф. Один из них был открыт. Внутри него лежало оружие. На столике рядом находился полуразобранный револьвер, над которым в форме и надетом на нее рабочем халате склонился сотрудник. За письменным столом, у самой стены, в исключительно аккуратной форме сидел очень худой человек, в петлицах которого тускло мерцал ромб. Чисто выбритая кожа, казалось, поблескивала и туго обтягивала кости лица. Быстрым кивком головы он ответил на наши приветствия и движением руки предложил сесть. Видно, он был немногословен. Как только Александр Сергеевич дошел до середины рассказа, стальные, серые, жесткие глаза Путрина внимательно передвинулись на мое лицо и стали неподвижно смотреть на него. Все было рассказано.

— Документы, — рука потянулась ко мне.

Бегло просмотрев их, Путрин достал из среднего ящика письменного стола лупу и молча сквозь нее стал рассматривать каждый документ, особенно печати. Затем аккуратно сложил их на своем столе.

— Мария Ильинична лично принимала Вас?

— Да!

— Сколько раз Вы беседовали с нею?

— Два раза. Первый, когда я излагал жалобу, и второй — в присутствии директора института, когда мне было объявлено разрешение сдавать экзамены в порядке экстерната и работать по специальности в учреждениях Госбанка.

— В выписке из приговора Военного трибунала Московского Военного округа сказано, что вы привлекались к судебной ответственности по пункту 13 статьи 58-й, то есть за экономическую контрреволюцию, осуждены и вследствие отбытия наказания освобождены. Привлеченным по этому пункту

запрещено работать в ряде учреждений. Вам нельзя работать в Плавском отделении Госбанка. Начальник отделения милиции правильно отказал Вам в замене паспорта, и его приказание о выезде из Плавска в 24 часа должно быть выполнено.

— Вы не правы. Я осужден по пункту 12 статьи 58-й, то есть за «недоносительство».

— Проверим.

Он взял Уголовный кодекс, выписку из приговора Военного трибунала, внимательно еще раз через лупу проверил пункты статьи 58-й. Посмотрел мне в глаза, губы его дрогнули, изобразив нечто, отдаленно напоминающее улыбку.

— Вы правы. Осужденные по 12-му пункту имеют право работать в Госбанке.

Его рука потянулась к телефонной трубке. «Петров? К тебе придет Васильев. Выдай ему паспорт». — Трубка хрипло и неразборчиво рокотала и вдруг замолчала. — «А я тебе говорю: выдай ему паспорт». — Трубка раздраженно и долго рокотала. Наконец, замолчала. — «А я тебе сказал: выдай ему паспорт!» — Быстрым движением руки трубка была положена на рычаг.

— Идите получать паспорт.

Мы встали, поблагодарили и вышли из кабинета.

— Хорошо и быстро получилось! — улыбнулся мне управляющий. — Теперь идите в милицию, а я буду ждать Вас в банке.

Начальник милиции встретил меня, казалось, весьма недовольным взглядом и протянул руку за документами.

— Часто вот так получается. Паспорт-то выдавать не надо было. Время-то вон какое суровое, того и гляди, в такую кашу угодишь, что не знаешь, как и выберешься...

— Так ведь Вам приказали!

— Мало бы что приказали! А он подписал? Сам видишь, ничего не написал. Случись что, кто будет отвечать? Я!

— Неужели человек такого положения может отказаться от своего приказа? Было у Вас такое?

— Положим, такого у меня не было. А если его переведут? Тогда лови ветра в поле!

— Попросить написать распоряжение нельзя?

— Попробуй, попроси! У него — ромб, а у меня четыре кубаря. Попросишь — своих не соберешь. Маша! — закричал он, глядя на дощатую перегородку соседней комнаты. — Зайди ко мне. Надо постоянный паспорт выписать и прописать в главном банковском доме.



Мгновенно появилась Маша в милицейской форме. Небольшого роста, кругленькая, с широким румянцем на щеках. Схватив документы, исчезла за дверью.

Хотя начальник милиции ворчал и его лицо выражало неудовольствие, даже мне было видно, что он в глубине души был доволен. Ответственность за решение трудного дела он перевалил на плечи большого начальника и без особых осложнений. Но через несколько мгновений Маша опять появилась в дверях, в недоумении поглядывая то на меня, то на начальство.

— Чего тебе?

— Макар Иванович, Вы внимательно читали документы?

— Да.

Маша шустро шмыгнула за стол начальника, сунула ему выписку из приговора Военного трибунала и ткнула пальчик в одно из мест.

— Путрин приказал, — проворчал Макар Иванович.

— А, а, а, а!

— Маш! Оформляй быстрее! У нас там никого из ожидающих нет?

— Нет!

— Тогда Вы тут у меня в кабинете посидите, пока она оформит. Мы сейчас же Вас и пропишем, а домовую книгу завтра с охранником пришлете. — Перешел с «ты» на более уважительное «Вы» начальник.

Вскоре появилась Маша, любезно протянула начальнику мой паспорт, а мне улыбнулась. Получилось, что вроде мы и познакомились.

После пережитых волнений такого бурного дня решил зайти в столовую пообедать.

Медленно шел и любовался красивым пейзажем. Внизу катил мутные волны Плава. На противоположном высоком берегу ее раскинулся роскошный парк с набухшими почками. За ним — фруктовый сад. На самом берегу, над водой высился светло-желтый дворец князей Гагариных. Слева пониже красовалась небольшая церковь — усыпальница этих князей. Зазвенели куранты, стоявшие на колокольне. Остановился. Красивая колокольная мелодия свободно плыла над речкой. Часы отбивали четверть, половину и полное количество часов. Я понял, что отныне, по крайней мере, год эти куранты будут управлять моей жизнью. И работу в банке, и подготовку к экзаменам, и писание дипломной работы, и

поездки в Москву на сессии — везде это звучание равномерно и неумолимо будет гнать мою жизнь.

К вечеру я пришел в банк, показал управляющему новый прописанный паспорт. Оба мы засмеялись, радуясь, что за один день выбрались из, казалось бы, безвыходного положения.

Через три дня Лапко уехал, а я стал напряженно работать прежде всего над кредитованием и финансированием совхозов пятого свиноводческого треста. Все совхозы находились в тяжелейшем финансовом положении. У всех была огромная просроченная задолженность отделениям банка и комбикормовым заводам. Мне удалось выяснить, что продажные цены на свиное мясо, сдаваемое совхозами потребителям, не покрывают затрат на покупку свиного молодняка (поросят) и их откорм. Все до одного совхоза были убыточны. Я пошел к экономисту треста Ярыгину со своими расчетами и таблицами треста, и мы выяснили, что, если цены не будут повышены, неизбежно банкротство всех совхозов.

— Как же можно вести хозяйство к неизбежной гибели?

— Недавно было всесоюзное совещание по результатам работы за прошлый год, которое проводил А.И. Микоян. Знаете, чем он закончил заключительное слово? Маркс неоднократно говорил, что бытие определяет сознание. Руководители довели свиноводческую отрасль до такого состояния, что можно надеяться только на то, что битие определит сознание. Никто не смеялся жесткому остроумному изречению.

— Как же выйдет отрасль из такого положения, даже если будет в широких масштабах применяться «битие»?

— Эк, Павел Григорьевич! Не первый год бьемся с этим делом. Бюджетные средства будут даны, да и зачеты взаимные проведем. Кардинального улучшения не будет, но передохнуть совхозам дадим. Закрывать-то ведь их нельзя.

Вечером за долгим и безуспешным обсуждением положения в тресте никакого выхода найти не удалось.

Когда прозвучали отпираемые мне замки, и железная дверь банка открылась, охранник сказал, что управляющий просит срочно зайти к нему.

— Пока Вы в тресте старались что-то выяснить, у нас, у самих произошла неприятность, с которой Вам с утра надо будет разбираться. Просматривая результаты регулирования спецсудных счетов по шести отделениям, я заметил чрезвычайное происшествие в Черни. Там со спецсуд-

ного счета<sup>1</sup> при регулировании у самого слабого совхоза оплатили всю просроченную задолженность комбикормовым заводам за корма, по просроченным кредитам банку уплатили задолженность по заработной плате рабочим и служащим, да и на расчетном счете появилась небольшая сумма наличных денег. Экономист там молодой. Работает всего две недели. Наверняка допущена грубая ошибка. Утром заказывайте по телефону Чернь и попытайтесь разобраться. Не разберетесь по телефону — завтра же поезжайте туда. Постарайтесь выяснить, что там случилось и послезавтра вернитесь в Плавск.

На следующий день утром меня соединили по телефону с Чернью.

— Павел Григорьевич, — послышался молодой, радостный женский голос, — думаю, мы вышли на первое место по кредитованию свиноводческих совхозов пятого треста.

— Объясните, как Вы отрегулировали специальный ссудный счет по кредитованию совхоза?

— Очень просто. Сопоставила задолженность совхоза по всем видам банковских ссуд со стоимостью всего обеспечения, то есть всех видов кормов, поголовья откармливаемого скота. Получилось превышение обеспечения над задолженностью более чем на пятьсот тысяч рублей, оплатила всю просроченную задолженность банку, по счетам комбикормовых заводов и по заработной плате рабочим и служащим совхоза, а небольшую сумму оставшегося свободного обеспечения зачислила на расчетный счет.

— А сумму норматива не приняли во внимание?

— Какую сумму норматива?

— Совхозу дается государством сумма, то есть величина норматива собственных оборотных средств, которой покрывается часть материальных ценностей, затрат на привес свиного мяса. Если этой суммы мало для покрытия кормов, стоимости прироста веса свиней и других затрат, тогда банк может выдать ссуду на излишек обеспечения. А Вы сумму норматива не учли и выдали совхозу более пятисот тысяч излишних денег, то есть перекредитовали совхоз на огромную сумму.

---

<sup>1</sup> Со специального ссудного счета, открывавшегося совхозу, Госбанк оплачивал покупаемые материальные ценности и свиноголовье, а на него зачислял выручку за продаваемую продукцию, периодически сопоставляя задолженность по нему со стоимостью фактического наличия поголовья свиней и материальных ценностей, что называлось «регулированием».

— Что же теперь делать?

— Немедленно исправить ошибку при регулировании спецсудного счета: снять деньги с расчетного счета, на сумму нехватки обеспечения уменьшить сумму срочных кредитов и перевести их на счет просроченных ссуд. Наказание за ошибку определит управляющий Плавским отделением Госбанка. Вашу ошибку не мог не заметить главный бухгалтер совхоза. Его должен наказать управляющий трестом.

— Какая неприятность! Какое же наказание ждет меня?

— Думаю, наказание не будет жестким. Вы молодой работник. Если хотите, схожу к управляющему и спрошу.

— Нет, подождите. Но словечко за меня замолвите, пожалуйста.

Сейчас же я пошел к управляющему.

— Разобрались, или надо ехать в Чернь?

— Все ясно. Перекредитовали совхоз больше чем на половину миллиона.

— В чем ошибка?

— Не учли норматив. Сказал, чтобы исправили регулирование, сняли все деньги с расчетного счета, а перекредитованную сумму перенесли на счет просроченных ссуд. Вам же следовало бы переговорить с управляющим трестом, чтобы наказали бухгалтера совхоза. Ошибка элементарная. Не мог же он ее проворонить. Знал и посчитал, что надо воспользоваться неопытностью банковского экономиста. Совхоз был в тяжелейшем положении. Заработную плату систематически задерживали. Просроченная задолженность по ссудам банка у него постоянная. Просроченная задолженность заводам по комбикормам длится более шести месяцев.

— Быстро Вы разобрались. А что, по-вашему, делать с нашим экономистом в Черни?

— Применить самую легкую меру наказания — выговор. Работает всего две недели. А потом надо бы съездить туда на несколько дней, подучить наглядно кое-чему. Только, как Вы понимаете, мне в ближайшие два месяца ехать туда нельзя. Огромная работа и в Плавске и в других шести отделениях.

— Понимаю.

На следующий день мы распрощались с Лапко.

Иван Яковлевич Слюнястиков получил мою багажную квитанцию и должен был ехать на станцию за вещами. Но на банковской лошади экономист Гуськов уехал в колхоз и к утру, как обещал, почему-то не вернулся. На райфовской лошади также уехали. Третья лошадь сберегательной кассы

стояла в конюшне, но Иван Яковлевич пришел ко мне и сказал, что ехать нельзя, потому что лошадь с норовом: «Грязно на улице. Не застрять бы». — «Надо ехать», — безапелляционно сказал я. «Ну раз ехать — поедем».

Запряг Иван Яковлевич легонькую тележку, уехал и... пропал. Прошло много времени. Зазвонил телефон: «Пал Григорьевич — ты? Твоих вещей не отдають. Вес не сходится. В вещах вес больше, чем в квитанции. Приходи на станцию, отпирай чемодан. Ты будешь говорить, какие вещи, они проверять. Может, чемоданы-то перепутали. Чужие вещи тогда могут попасть тебе, а твои — другому. Тогда совсем не разберешься».

— А упротить — нельзя?

— Кладовщик — ни в какую.

Пошел знакомой дорогой мимо завода «Смычка» и думал: «Вот оно где откликнулось несоответствие. Придется поканителиться».

Кладовщик попался занозистый. Уголок десятички не подействовал. Пришлось звать дежурного по станции. Он посмотрел на мой новый паспорт, выданный Плавским отделением милиции и прописанный в Плавске, новенькое удостоверение старшего экономиста Госбанка, где были перечислены основные права — от проверки выручки до проверки материальных ценностей, — сердито посмотрел на кладовщика и сказал: «Зачем канитель затеял? Незачем было за мной ходить. Человек к нам работать приехал. Видишь, какие ему права даны. Он — кивок в мою сторону, — знаешь, сколько может крови попортить и начальнику станции, и мне, и тебе самому. И хоть бы дело было серьезное, а то тьфу!»

— Дык, Прокофь Иваныч, сколько с багажом историй бывало.

— Дык, дык. Голова у тебя на плечах или глиняный горшок? Соображать надо, а не канитель разводить. Извините нас...

Небрежно, не глядя, подмахнул акт на выдачу мне вещей и пошел по своим делам.

Взгромождали мы на легонькую тележку мою кладь, уселись поудобнее и поехали. Иван Яковлевич не один раз посмотрел на мои сравнительно чистые штиблеты, покачал головой и сказал:

— И как это ты при такой грязище свои штиблеты с калошами почти совсем не замарал? Где шел-то?

— Мимо завода «Смычка».

— А нам ведь на тележке туда не проехать. Там рельсы и шпалы. Поедем на Курскую магистраль, а там не то что грязь — утопище.

Доехали мы и до «утопища», и на самой середине его лошаденка встала. Иван Яковлевич легонько тряхнул вожжами, затем свистнул. Лошаденка лишь недовольно махнула хвостом. Тогда раздался хлесткий удар по задку. В ответ прозвенел сильный удар задних подкованных копыт по передку тележки. Иван Яковлевич резво спрыгнул в глубокую грязь, чуть не захлебнул сапоги.

— Трр, трр, трр! Ишь норовистый черт! Того и гляди, либо передок сломает, либо ноги себе искалечит. Ведь ты черт, черт!

Несколько подтянув вожжи, он опять хлестнул лошаденку, и опять подковы двух задних копыт звякнули о передок тележки, так что искра промелькнула.

— Трр, трр, трр! Черт тебе в живот залезь. А ты что сидишь, Пал Григорич! Слезай!

— Да куда же я слезу? Не только калоши, но и ботинки полные грязи захлебну.

— Если не слезешь, мы тогда тут насовсем застряли.

— Иван Яковлевич! Бери чемодан и тащи на сухое место. Тут не так глубоко, чтобы сапоги залить. Потом перетащим другие вещички. Ну, а дальше бери лошаденку под уздцы. Переедем на место посуше. Положим вещи на тележку. Я пойду пешком. Ты возьмешь лошаденку под уздцы. Доберемся до банка. Там перетащим все в коридор. Я за день-два все разложу по местам у себя в комнате.

— Моя провинность. К станции мы хорошо проехали, но ведь на тележке-то был один я. Ни тебя, ни вещей. Думал, все за один раз через это утопище перемахнем. Вот-те и перемахнули.

— Хорошо, что ни ты, ни я ни сапогами, ни ботинками грязи не зачерпнули.

Потом начались будни банковской деятельности и подготовки к экзамену. Утром, минут без десяти — без пяти девять, четыре человека: управляющий, главный бухгалтер, старший кассир и охранник — подходили к опечатанной сургучными печатями двери кладовой, осматривали целостность печатей. Управляющий и главный бухгалтер отпирали каждый своим ключом два замка двери кладовой, весившей 200 килограммов и закрывавшей почти герметически вход, с усилием открывали дверь. Кассиры от-

крывали своими ключами сейфы, где хранились банковские счета, которые операционисты относили на рабочие места. Наконец, отпирались сейфы с наличными деньгами, и их упаковки доставлялись к кассовым окошечкам. В это время начинали бить часы. «Трах, трах» — слышалось звучание замков входной железной двери банка, она отворялась, и клиенты входили в банк. Экономисты занимали свои места в кредитном отделе.

Операции с клиентурой проводились до обеда. Потом допуск клиентов прекращался, в случае необходимости осуществлялся по специальному разрешению. Работа велась в это время, как правило, только с документами. Каждый день оканчивался подсчетом сумм проделанных операций, составлением оборотной ведомости (то есть документа, в котором с точностью до копейки должна была соответствовать величина поступлений денег в отделение Госбанка и расходов с учетом фактического остатка кассы). Проверенные, сшитые в пачки и опечатанные в пачках сургучными печатями документы помещались в кладовую. Расчетные, ссудные и другие счета всех предприятий также помещались в кладовую. Наличные деньги, заклеенные бандеролями, помещались в сейфы. Наконец, дверь кладовой закрывалась, опечатывалась и сдавалась охраннику под расписку.

После окончания работы в банке я спускался в свою комнатку, перекусывал, выпивал чайку, садился за конспекты. Читал рекомендованную литературу. Немногочисленные учебники, некоторые из которых убийственно раскритиковывались вскоре после выхода в свет. Поэтому я обращал особое внимание на произведения Маркса и Ленина, конспектировал их.

Около одиннадцати часов быстрым шагом я выходил из банка, слушал, как с грохотом запирается дверь, делал кружок вокруг гагаринского парка, затрачивая на это около часа времени. Наслаждался через каждые пятнадцать минут боем курантов. Около двенадцати часов охранник открывал мне, а затем запирали железную дверь. Я выпивал стакан молока с хлебом и быстро засыпал.

Иногда ночью я просыпался и слушал стук железных подковок мерно ходившего надо мной охранника. Когда дежурил Слюнястик, слышалась его любимая песня:

По Доону гуляет, по Доону гуляет  
Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук

Потом наступало молчание, и лишь изредка доносился едва слышный бой курантов.

По Дону гуляет ка-зак молодой.

И опять: тук, тук, тук, тук.

Так проходили день за днем. Напряженно, но — не без курьезов. В одну из суббот я решил вымыться в бане. Она стояла в гагаринском парке, который, как и все улицы Плавска в то время, едва-едва был освещен электричеством. Решили, в конце концов, вырыть ямы для деревянных столбов, привезти, вкопать их и наслаждаться ярким электрическим светом. Мечтал и радовался со всеми и я. Но, как это частенько бывало, все вдруг приостановилось. Шел я в сумерках в баню и бормотал про себя о том, какой это дурак прорыл здоровенные канавины для столбов как раз по самой середине тропинки, что идет к бане. Наверняка не один прохожий «вбухается» в потемках в какую-нибудь ямину, почти до краев полную весенней грязной воды. Не забыть бы и мне про эту опасность, когда буду возвращаться.

Хорошо я помылся, надел чистое белье, натянул русские кожаные сапоги с высокими голенищами и пошел домой. Вот, думаю, напьюсь чаю и лягу спать, чтобы завтра с утра хорошо потрудиться. В этот момент почувствовал, что куда-то падаю. Раздался всплеск воды, и сапоги и брюки оказались наполненными жидкой грязью. Руки и рукава пальто — также. Вылез из канавины, отряхнул рукава и руки, вылил грязную воду из сапог и с испорченным настроением доплелся до банка. Сменил одежду и под «ойканье» женской половины семейства охранника и смех ребятишек управляющего вымыл ноги. И... рассмеялся над собой. Как обычно, выпил на сон грядущий молока с хлебом и проспал до утра.

Просыпался я обычно около восьми часов, умывался, завтракал, пил чай и около девяти был уже на месте службы в кредитном отделе. Но это утро было особенное: светило солнце, пахло весной. Окно выходило на юго-восток. Теплый ветерок, тихонько поддувая в полуоткрытую форточку, рябил воду на обширной луже, доходившей до самого крыльца банка. Около лужи, перескакивая с кирпича на кирпич в грязных сапожонках, вертелся шустренький мальчишка с веснушчатым носом и озорнящими карими глазами навывкате. «Наверняка собирается сделать какую-нибудь подлость», — думалось мне. Нежась на солнышке, я



пристально наблюдал за ним. Из-за угла показалась торопящаяся, несколько принаряженная женская фигурка. Экономист банка по товарообороту Вера Евдокимовна. «Опаздывает, вероятно, на несколько минут», — думал я, поправляя рукав рубашки, и взглянул на часы. Так и есть. В этот момент мальчишка, нацелившись на самое глубокое место лужи, изо всей силы топнул ногой и окатил беднягу фонтаном грязной воды, отпрянул, показал язык и захотал... И вдруг в окне увидел меня, на мгновение замер и пустился бежать. Рассерженная, со слезами на глазах вбежала Вера Евдокимовна в нашу комнату. Мы старались утешить ее. Но она очень хотела узнать, что же это за мальчишка, и его обязательно наказать. Меня же упрекала, что до сих пор не знаю мальчишек-баловников округи.

Но второй случай не прошел безнаказанным. Через несколько дней из рогатки камушком в банковском туалете было выбито стекло. По распоряжению управляющего оно было вставлено. Началась своеобразная хулиганственная и очень интересная «игра» мальчишек с банковскими работниками. Однажды под вечер, утомленный тяжелым днем, я вышел прогуляться и услышал, что с задней стороны двора камень просвистел и ударился в стену туалета. Подойдя тихонько со стороны реки к забору банковского дома, я увидел на пригорке группку ребят лет одиннадцати-двенадцати. У двух из них были рогатки, а карманы набиты камешками. Ребят поддразнивали, пересмеиваясь, три девчонки лет по четырнадцати. Паренек прицелился, и очередной камешек из рогатки был выпущен в окно туалета, но опять попал в стену. Делая вид, что иду по своему делу и не обращаю на них внимания, я вплотную подошел к пареньку с рогаткой, крепко схватил его за руку, резким рывком вырвал рогатку и крикнул: «Как твоя фамилия?» Парень рванулся изо всей силы. Рукав расползся по шву, но остался в моей руке: «Как твоя фамилия?» Паренек, сбывчившись, злобно смотрел на меня. «Ну, Сенькин!» — «Зачем врешь? — взвизгнула девчонка. — Это наша фамилия, а его фамилия Дурнев».

— Где он живет?

— Вот в том доме, — и назвала номер этого дома.

— Фамилия парня, который убежал с рогаткой?

— Где живет Косорылин?

— Вон в том доме, — ткнула она рукой и назвала его номер.

Из отбежавшей группы парней слышались выкрики: «Предательница. Мы вам покажем. В школу не пройдете! Такие-сякие...»

— Девчата, не бойтесь. Они будут иметь дело не с учителями, а с охраной банка и милицией.

Отпустив паренька с разорванным рукавом, я пошел к управляющему. Положил ему на стол отобранную рогатку.

— Оказывается, Вы расторопный ловец! — засмеялся он. — Что будем делать?

— Завтра утром с охранником в форме и при оружии отправим на бланках банка родителям повестку явиться к Вам вечером для объяснений по поводу хулиганства сыновей и возмещения ущерба за разбитое стекло.

— Павел Григорьевич, — вмешалась жена управляющего, — нельзя так! Знаете, какие здесь жестокие отцы. Изобьют до потери сознания.

— Нет, Лида, ты не права. Хулиганские поступки были неоднократно. Надо пресечь их. Завтра пошлем повестки.

Через день оба мальчишки впервые были высечены в полную меру отцовского возмущения. Нападения на банковские стекла как рукой сняло.

\* \* \*

Наступила вторая половина мая — время поездки в институт для сдачи экзаменов. Опять у входа в институт на Неглинной 12 сердце тревожно забилось. Старого декана факультета уже не было. Новый декан Высочанский — худощавый, высокий человек с интеллигентным лицом — принял меня приветливо. Услыхав короткий рассказ о моей «истории», улыбаясь, сказал, что ему показалось с момента появления меня на пороге его кабинета: «С этим человеком что-то случилось». — «Почему же это Вам показалось?»

— Возможно, интуиция, а возможно то, что Вы выглядите не как обычный студент. Теперь договоримся, как будете сдавать экзамены. Из вывешенных расписаний Вы узнаете, какой преподаватель, в какой день и в какое время будет в институте, в какой аудитории. Приходите в нужный день пораньше к методисту, и она договорится с преподавателем о сдаче экзамена. Если что-нибудь не будет получаться — приходите ко мне. Необходимы ли Вам консультации?

— Думаю, нет. Я изучил конспекты лекций, записи практических занятий и семинаров своих бывших сокурс-

ников. Прочитал внимательно рекомендованную литературу. Осечки не должно быть. Учился хорошо.

— Желаю успеха. Попросите ко мне методиста. Мы оформим документы.

Менее чем через час документы были готовы.

Ходил по коридору и выписывал время занятий преподавателей. И вдруг в конце коридора появилась очень знакомая мне, несколько сгорбленная фигура человека. Совсем седая голова, маленькие подстриженные усики и бородка клинышком. Глубоко задумавшись, профессор Василий Тихонович Кротков шел мне навстречу. Внезапно он поднял голову и приостановился, казалось, в некоторой растерянности. Почти одновременно мы узнали друг друга. Почти автоматически я поздоровался. Ему же, видимо, хотелось поговорить со мной, узнать о том, что произошло в моей жизни, но как очень деликатный человек, он не решился заговорить. Пройдя несколько шагов, мы внезапно повернулись друг к другу. Василий Тихонович со страдальческой улыбкой всматривался в мое лицо. Быстро я подошел к нему и, улыбаясь, сказал:

— Как хорошо, что мы повстречались. Василий Тихонович, не можете ли Вы принять у меня экзамен в порядке экстерната?

— Когда?

— Да хоть сейчас.

— У Вас есть направление?

— У меня есть экзаменационная ведомость, а направление методист быстро выпишет.

— Пойдемте. Вот, кажется, свободная аудитория.

И тут на лице Василия Тихоновича появилась печальная улыбка. Он взял мою зачетную книжку, ведомость: «Я не взял экзаменационные билеты».

— Задайте любые вопросы экспромтом. А я сейчас оформлю направление на экзамен.

— Первый вопрос. Виды банков в Англии или в другой стране, по вашему выбору. Второй. Основные изменения в денежно-кредитной системе капитализма в период империализма.

Видимо, профессору очень хотелось, чтобы вопросы были понятны, легки и экзаменуемый на них ответил.

— Можно отвечать?

— Если Вы готовы, пожалуйста.

Я сжато и четко излагал ответ. Лицо экзаменатора вначале было внимательным и бесстрастным. Потом последо-

вал легкий кивок головой, глаза стали живыми, заинтересованными.

— Какие основные различия денежно-кредитных систем Англии и США? — последовал дополнительный вопрос.

Не дослушав ответа, сказал: «Переходите ко второму вопросу».

Василий Тихонович все чаще улыбался и кивал мне головой.

— Перечислите основные валютные блоки и назовите их участников. — Ответ закончен. Василий Тихонович и в зачетной книжке и в экзаменационном листе четко вывел: «отлично». Встал, протянул руку: «Желаю, чтобы все экзамены, которые Вам предстоит сдать экстерном, получили такие же оценки. Теперь перейдем к личным вопросам. По какой статье Вы привлекались к ответственности?»

— По статье 58-й, осуждающей за контрреволюционную деятельность и террор, недоносительство. Если бы хоть кто-нибудь пошел по пути ложного оговора, я не сдавал бы теперь Вам экзамены.

— Вы очень счастливо отделались. Очень счастливо. Я знаю несколько человек, которым пришлось маршировать. Пришлось маршировать. Желаю Вам доброго здоровья, успешной сдачи экзаменов, счастья.

Но пожелание успешной сдачи экзаменов выполнить не удалось. Хотя все экзамены были сданы с первого захода, оценки большинства были удовлетворительными. Объяснялось это прежде всего отсутствием учебников. Не обошлось дело и без лукавого мудрствования экзаменаторов.

Радостно было, что теоретический курс института окончен, хоть и с невысокими оценками. Оставалось написать и защитить диплом. В институте мне предложили тему о финансировании Машинно-тракторных станций по материалам Плавского района. В этом районе были две станции, но ими с грехом пополам занимались экономист по работе с колхозами Гуськов, не окончивший даже специального техникума, и контролер бюджетной группы бухгалтерии Зайцев, тоже не имевший экономического образования. По временам пытался разбираться в вопросах финансирования и я, но это случилось либо тогда, когда Машинно-тракторные станции попали в очень тяжелое финансовое положение, либо поступало ругательное письмо из Московской областной конторы Госбанка и появлялась угроза административного наказания.

Приказом по институту мне был назначен научный руководитель по дипломной работе. Он дал мне связочку инструкций по финансированию, несколько материалов по анализу, сделанных работниками других отделений Госбанка. Сказал, что предварительный разговор смысла не имеет. «И времени у нас нет здесь, в Москве, и возвращаться в отделение Вам надо. Посидите над тем, что я Вам дал, месяц-другой, составьте план дипломной работы и приезжайте сюда дня на два-три, созвонившись предварительно со мной». Как мне не хотелось писать диплом по финансированию Машинно-тракторных станций! Новое дело, да и научный руководитель мне не импонировал. По финансированию же и кредитованию свиносовхозов у меня накопился большой практический и аналитический материал: переписка, графики и по 22 совхозам треста и по семи отделениям Госбанка. Да и материалом я овладел основательно. Но доказывать свою правоту мне было очень трудно, да и времени на это не было.

Когда я приехал в Плавск, получил сердечное поздравление от Александра Сергеевича с окончанием мною теоретической части курса Института и сообщение о том, что через одну-две недели он направляется на новое место службы в Дальневосточный край. Последнее сообщение меня очень огорчило.

\* \* \*

Плавский военкомат прислал мне повестку о призыве в армию и прохождении военно-медицинской комиссии. Уже через несколько дней я был на этой комиссии. Возглавлял ее военком с четырьмя кубиками в петлицах. Справа от него сидел очень знакомый мне, весьма молчаливый человек с самым высоким воинским званием (сравнительно с присутствующими). На его воротничке было три шпалы. Мучительно я старался вспомнить, где я его видел, но вспомнить так и не мог. Сидели несколько врачей в белых халатах во главе с главным терапевтом района Хитрово. Около некоторых врачей стояли совершенно голые допризывники. Писари заполняли личные дела.

Одним из первых было зачитано мое личное дело. Затем военком сообщил, что должен зачитать ответ, поступивший из Боровского райвоенкомата на запрос. Четко и ясно звучало каждое слово этого документа, и все более гнетущей становилась тишина в зале. В ответе говорилось,

что Васильев П.Г. — сын дворянина и помещицы, владевшей имением в тысячу десятин леса, в котором работали по разделке леса более тысячи человек, тремя большими прудами, где разводились карпы, и фруктовыми садами.

— Что Вы можете сказать по поводу ответа на запрос?

— О работе более тысячи человек в лесу, принадлежавшем трем сестрам, одной из которых была моя мать, я услышал впервые здесь, в Плавске. Это сообщение ложно. Отец мой действительно был личным дворянином. Но он был и комиссаром, который по поручению Советской власти национализировал два частных банка. За отлично-усердную службу Советская власть наградила его званием Героя Труда. Отвечавший на вопрос сообщил часть правильных сведений о нашей семье, но и ложные данные, имеющие целью опорочить ее. Умолчал о заслугах отца, умышленно искажил факты. Ответ необходимо проверить.

Затем я подошел к председателю медицинской комиссии доктору Хитрову.

— Ваши очки! Какая громадная диоптрия! Сколько?

— Минус четырнадцать.

— Оба глаза видят одинаково?

— Правый похуже. Но диоптрия одинаковая.

— Астигматизм?

— Обоих глаз. Цилиндры 2,5.

— Несомненно — белый билет со снятием с военного учета.

— Может быть, все же нестроевая? Ведь почти законченное высшее образование, осталось защитить диплом? — спросил военком.

— Никакого сомнения — белый билет со снятием с учета, — подтвердил председатель комиссии.

— Можете одеваться и подождите оформления документов.

Весьма расстроенный обсуждением моих биографических данных, я вышел в приемную военкомата. Вслед за мной вышел военный с тремя шпалами в петлицах, подошел ко мне и тихо сказал: «Товарищ Васильев, нам с Вами надо поговорить. Отойдите вон туда, к скамейке. Вы особенно не расстраивайтесь по поводу сведений, сообщенных Боровским райвоенкоматом. Помните, что Вы в нашем поле зрения».

Точно луч света ярко озарил мои воспоминания. Ведь именно его, человека с тремя шпалами на петлицах ворот-

ничка гимнастерки, встретили мы с управляющим, когда шли в кабинет Путрина, и он пожелал нам успеха. Теперь он улыбнулся и вернулся в комнату, где продолжалось освидетельствование и оформление личных дел призывников.

\* \* \*

Наступило жаркое лето 1936 года. Александр Сергеевич, провожаемый сожалением всех сотрудников банка, местного начальства, руководителей предприятий и учреждений района, не дождавшись приезда нового управляющего, уехал на Дальний Восток.

Особенно тяжело переживал разлуку с ним я. Это был умный, добрый, замечательно относившийся ко мне человек, пользовавшийся огромным авторитетом в районе.

Временно исполняющим обязанности управляющего стал главный бухгалтер отделения Палладий Васильевич Лошевский — очень опытный специалист, но беспартийный, категорически отказывавшийся решать принципиальные кредитные вопросы. Огромная ответственность выпала на мою долю, возросла и нагрузка. Как ни манили меня солнце, прохладная вода Плавы, на берегу которой стоял банк, я лишь в очень редких случаях позволял себе принять участие в воскресной поездке сотрудников в лес или в игре в волейбол. Учебные же дела в институте после ознакомления с материалами, полученными у научного руководителя в Москве по финансированию МТС, привели к твердому выводу, что мои материалы по кредитованию совхозов несравненно богаче. Я самостоятельно разработал план дипломной работы и стал писать текст, составлять таблицы и чертить очень интересные графики, характеризующие кредитные вложения семи отделений Государственного банка и основные финансовые показатели треста за прошлый год и истекшие месяцы текущего года.

Появилась и общественная работа. Меня избрали редактором стенной газеты. Это увеличило объем занятости, но льстило моему самолюбию. Не так отнесся к этому событию Василий Алексеевич Зайцев — контролер операционной группы. Он тихо подошел ко мне и с большим пришепетыванием сказал мне на ухо: «По-моему, стенная газета — это одна склока».

— Постараемся так вести дело, чтоб склоки не было.

— Ох, не получится. Помянете не раз мое слово. Наживете Вы с этой газетой много беды — и, покачивая голо-

вой, медленно отошел от меня. К сожалению, он был прав. Стенная газета принесла мне много бед, о которых я даже смутно не догадывался. По работе редакции моим лучшим помощником стала очень грамотная и трудолюбивая пожилая операционист Хитрово — сестра главного врача района.

В один из очень жарких воскресных дней я напряженно работал на втором этаже банка, где были открыты окна. Там же трудился главный бухгалтер и дежурил охранник. Почувствовав запах дыма, не придав этому значения. Однако вскоре ко мне подошел охранник и сказал: «Где-то начался большой пожар. И в такую сушь! И ветерок поддувает. Ведь на термометре больше тридцати градусов».

Мы оба подошли к открытому окну, позвали Палладия Васильевича. По магистрали Москва — Курск между домами ветер нес клубы дыма. «Где-то сильно горит и, должно быть, не в самом Плавске», — сказал охранник. В этот момент мы увидели фигуру Путрина — как всегда, очень аккуратно одетого, мчащегося во весь опор верхом на лошади. Через небольшой промежуток времени проскакал охлюпкой небрежно одетый начальник милиции. Затем быстро отворились ворота противоположного банку дома Плавского райисполкома, и оттуда вскачь вынеслась легонькая красивая тележка с председателем исполкома и его заместителем.

— Позвоню в дежурную часть милиции, узнаю, что такое случилось, — сказал охранник и после ответа по телефону закричал нам:

— Беда! Горит в соседнем колхозе ток. От трактора, из выхлопной трубы которого сыпались искры, загорелась скирда озимой пшеницы. Скирды поставили рядом, и теперь полыхает несколько скирд — ветер. Воды близко нет, пожарной машины тоже нет. Вся надежда в такую сушь была на урожай озими. Теперь все выгорит. Беда!

На следующий день мы знали подробности пожара и огромную сумму ущерба, которую он нанес колхозу. Были арестованы несколько человек. Банковские работники не были затронуты.

Старая пословица говорит, что беда не приходит одна. Утром одного из следующих дней меня срочно позвали к телефону. Нервный голос экономиста Ярыгина сообщил, что вспыхнула эпидемия свиной чумы. «Вчера вечером и



сегодня в ночь в совхозе «Первомайский» забито более шестисот голов свиней. Мясо надо срочно солить: жара больше тридцати градусов. Есть сведения о чуме и в других совхозах. Соли в тресте нет. Сельпо без оплаты соль отпустить отказались. Все совхозы имеют долговременную просроченную задолженность банку, и поэтому отделения Госбанка кредита на оплату соли не дадут. Срочно помогите, иначе будут миллионные потери».

— Попробую заказать срочный телефонный разговор с Московской областной конторой Госбанка, чтобы разрешили кредитовать оплату соли, получаемой совхозами из магазинов сельпо, при наличии просроченной банковской задолженности.

Через несколько минут меня соединили с Сельскохозяйственным отделом Московской областной конторы Госбанка. Мне ответил заведующий отделом: «Дать разрешение на кредитование оплаты соли совхозами сельпо при наличии просроченной задолженности банку не могу. Управляющий конторой такое распоряжение не подпишет. Свяжемся по этому вопросу с Правлением Госбанка СССР».

— А мясо тем временем испортится. Миллионные потери. Ведь переговоры продлятся не меньше трех дней. Холодильников в совхозах нет.

— Вы сами-то выяснили, можно ли соленое чумное мясо свиней употреблять?

— Работники треста заверяют, что можно.

— Без разрешения Правления Госбанка мы такое распоряжение не дадим.

— Что Вы сделаете со мной, если я за своей подписью дам такую директиву подчиненным нам отделениям Госбанка? Выполнят ее отделения?

— Отделения приказ выполняют. Но на Вас мы наложим строгое взыскание вплоть до увольнения и привлечения к уголовной ответственности.

Разговор окончился, но остались тяжелые раздумья.

— Палладий Васильевич, Вы подпишете вместе со мной распоряжения филиалам об оплате соли совхозам за счет банковского кредита?

— Нет. Но запрещать Вам подписать такой приказ не буду. Всю ответственность берите на себя.

— А что Вы посоветуете делать мне?

— Положение очень сложное и ответственность огромная. Никакого совета дать не могу.

— Подпишите за управляющего распоряжение нашим операционистам об оплате со спецсудных счетов совхозов оплату соли магазинам сельпо Плавского района?

— Не подпишу. Ведь Вы же сами имеете право первой подписи. Подпишите Вы первой подписью, а второй — пусть подпишет Вера Евдокимовна. Препятствовать выполнению Ваших распоряжений операционистами я не буду.

Молча, в глубоких раздумьях прошел я в комнату кредитного отдела. Ведь моя ответственность в случае неправильного решения усугубится. Продумал все еще раз. Спрос с меня при любой моей оплошности с учетом недавней судимости многократно возрастет. Но положение безвыходное. Надо решать немедленно.

Уверенно снял трубку телефона.

— Товарищ Ярыгин! Скажите управляющему трестом, чтобы он и Вы срочно подписали обращенное Плавскому отделению Госбанка письмо: «В связи со стихийным бедствием — эпидемией свиной чумы — разрешить оплачивать со спецсудных счетов свиноводческих совхозов при наличии просроченной задолженности банку соль сельпо и дать приказ отделениям Госбанка районов оплачивать с их спецсудных счетов соль сельпо».

— И тогда Вы подпишете распоряжение об оплате соли магазинам сельпо со спецсудных счетов совхозов?

— Да!

— В таком случае основные проблемы по сохранению мяса вынужденно забитых свиней мы решим. Большое Вам спасибо.

Сейчас же я написал телеграммы всем подчиненным нам отделениям Госбанка.

Надо было написать, решил я, и в областную контору Госбанка и... Над этим я долго размышлял. И все-таки решил написать и в Московский Комитет партии. Сообщал об экстремальных условиях. Чума может перекинуться и в другие районы области, и там могут возникнуть осложнения с кредитованием и расчетами, аналогичные нашим. Когда я показал письмо Палладию Васильевичу, он категорически возразил против его отправки.

— Вы понимаете, что собираетесь делать? Так или иначе Вы сигнализируете о непорядках в системе областной конторы. Не советую посылать письмо. Вам вообще не следует привлекать внимание к своей персоне, особенно в современных условиях.

Молодость! Исключительная оперативность решения за последнее время очень сложных вопросов породила неоправданную самоуверенность. Я не послушал разумного совета и письмо отправил.

Несколько дней никаких событий не происходило. Счета на соль оплачивались. Вынужденный забой заболевших свиней и засолка, консервирование их мяса продолжались. Во все совхозы была завезена противочумная сыворотка (правда, как оказалось, мало эффективная).

Примерно через неделю раздался телефонный звонок из Москвы. Срочно звали к телефону меня. В трубке прозвучал резкий, недовольный голос старшего экономиста кредитования свиновхозов.

— Вы понимаете, какую неприятность Вы нам сделали? И управляющего конторой и заведующего сектором вызывали и упрекали, что мы неоперативно работаем. Постараемся в ближайшее время приехать к вам, прислать инспекторов. И старших экономистов всех шести районов в Плавск вызовем. Инструктаж проведем.

— Прошу Вас не сердиться на меня. У нас ведь нет управляющего. Я работаю всего несколько месяцев, оканчиваю институт. Меры нужно было принимать безотлагательно.

— Предупреждаю Вас, в банке надо работать строго по инструкциям. Неосмотрительная самодеятельность наказуема. Все неординарные вопросы решайте, только согласовывая с нами.

Палладий Васильевич иронически улыбался, слушая наш разговор, но ничего мне не сказал.

---

---

## РАБОТА С НОВЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ

В августе Палладий Васильевич сказал мне, что получен приказ о назначении в наше отделение нового управляющего Фокина Семена Федоровича. На мой вопрос, кто он таков и что можно ждать от этого назначения, Палладий Васильевич, как всегда, сдержанно отвечал: «Поживем — увидим!» Но по тому жесту, который последовал после этого ответа, было ясно, что человека, подобного бывшему управляющему, ожидать не придется. Вскоре появился он сам: выше среднего роста, среднего возраста, плотного телосложения, с чисто выбритой головой и большим носом. К людям присматривался внимательно, держался ровно, выражение лица говорило о твердом характере.

До приезда его семьи, пока он еще не осмотрелся, не привык к бытовым условиям, я пошел навстречу его пожеланиям: решили жить с ним общим домом. В большой комнате его квартиры поставили стол и раскладушку для него. Я принес свою посуду, которой успел кое-как обзавестись к тому времени. На меня была возложена обязанность закупать в столовой продукцию на завтрак и ужин. Уговорились вместе ходить обедать.

Он быстро понял, что я уже освоился в основном с кредитной работой отделения, держу ее крепкой рукой и что грамотных экономистов, кроме меня, в банке нет. Привык он и к жесткому распорядку моего рабочего дня: первую половину дня тружусь в банке и очень редко — и лишь в очень нужных случаях ухожу для проверки на предприятия и в организации, — а весь вечер, как правило, до одиннадцати часов пишу дипломную работу. Первые дни он вечером приходил ко мне звать на ужин, склоняя на долгие

беседы на жизненные темы, но вскоре мы привыкли после ужина расходиться по своим делам.

Примерно через неделю к управляющему приехала беременная женщина. Она появлялась часто с заплаканными глазами. Я понял, что в их жизни существуют какие-то сложности. Естественно, что наше совместное питание прекратилось. Коротко мы перемолвились с Палладием Васильевичем о предполагаемой причине перевода управляющего в наш банк.

В субботу вечером управляющий попросил меня поехать в воскресенье втроем в лесок, к студеному чистому ручью и домику лесника. Иван Яковлевич запряг в легонькую тележку прекрасную банковскую, бывшую кавалерийскую кобылу, и мы хорошо провели этот день в лесу. Но наша спутница была печальна, и на глазах ее не раз были слезы. Было понятно, что это прощальная встреча. В начале следующей недели наша спутница незаметно исчезла, и я ее никогда больше не видел.

Поздним вечером, как я понял, в день ее отъезда, управляющий пришел ко мне: «Пойдем, поговорить надо», — перешел он на «ты». Мы вошли в его квартиру. На столе стояла бутылка водки и закуска.

— Вот мы с тобой опять переходим на коллективное питание, — невесело улыбнулся он. — Садись, давай водку пить.

— Спасибо, но водку пить я не буду.

— Нет, сегодня такой день, что мне обязательно надо выпить. Не одному же мне пить.

Не говоря больше ни слова, он взял половинку, ковырнул пробку, которая оказалась трухлявенькой, сильно ударил правой рукой в тыльную часть бутылки. Пробка вылетела, и несколько капель пролилось на стол. Поставил на стол рядом две чайные чашки и налил в них водку. Поднял одну чашку, показал мне на вторую: «Ну, бери. Давай пить».

Я поднял чашку: «Давайте чокнемся. Я пригублю. Скажем или подумаем о нашем желании, но пить я не буду».

— Не ожидал, что ты такой человек. В трудную минуту, когда мне обязательно надо выпить, не выпьешь со мной.

— За Ваше здоровье и счастье, а горе пусть размыкается. По мере сил моих помогу Вам в этом.

Мы чокнулись. Он залпом выпил чашку. Я пригубил.

— Обидел ты меня. Ну, да ладно. — И налил себе вторую чашку.

— На прощанье скажу тебе. Никогда не женись. Вот я. Женился. Двое детей у нас. И вдруг жена умерла. Погоревал. Но одному с детьми не способно. Присмотрелся. Женился второй раз на учительнице школьной, преподающей в старших классах. Живем. Но вижу, дело не идет. Я и так и сяк... А дело не идет. А тут еще одна, молоденькая. Вот та, что сегодня уехала. Забеременела. Аборта делать не захотела. А тут жена — в райком. Мне — строгаха. Насилу упросил — перевели сюда. А молоденькая за мной сюда: «Жить, говорит, без тебя не могу». В воскресенье вот простились с ней. Разговор у нас с тобой сегодня — первый и последний раз. Верю тебе, что об этом с другими ни одного слова. Ни... ни... Теперь давай чокнемся, ты опять хоть пригубь — за тебя. Чтобы у тебя хорошо сложилось. А то ведь сам ты из какой ямины еле выбираешься. И еще как получится — вот вопрос. По острию идешь.

Мы опять чокнулись. Он залпом выпил свою чашку, звонко стукнув ею по столу и громко крикнув. Понюхал кусочек хлеба. Отломил корочку и стал неторопливо пожевывать ее, склонив голову.

— И вот что я тебе опять скажу — никогда не женись. Крепко запомни. Разговор у нас с тобой первый и последний. Никогда я больше тебе «ты» не скажу. А теперь иди. Крепко ты обидел меня. Пренебрег.

Он отвернулся и махнул рукой. Я встал и несколько помедлил. «Спасибо за добрые слова, за совет. Все запомнил. Но пренебрежения и капли не было и нет». Он, не поворачиваясь ко мне, опять вяло махнул рукой: «Иди».

\* \* \*

Через несколько дней, когда стояла очень душная погода, как это вошло у меня в привычку, сбросив одежду в своей комнате, в одних трусах прямо из дверей банка я бегом пустился к Плаве и с удовольствием выкупался в ее прохладной мутноватой воде. Как только после обеда в столовой я вернулся в комнату кредитного отдела, ко мне подошел охранник: «Павел Григорьевич, управляющий просит зайти к нему».

— Вы неправильно себя ведете, — на самом пороге его кабинета сказал недовольно управляющий. — В одних трусах, почти под самыми окнами райисполкома, мимо клиентов Вы бежите и купаетесь в реке. Времена студенчества прошли. Вы ответственный служащий. Надо вести себя со-

ответствующим образом. Конечно, в жаркую погоду Вы можете выкупаться. Но зайдите за банк, в малинник, разденьтесь там и спокойно выкупайтесь, не демонстрируя себя почти в голом виде районному начальству и клиентуре.

— Спасибо за совет.

— Вы свободны.

Еще несколько дней спустя я получил внушение от охранника. Во второй половине дня, когда вход клиентов в банк был уже прекращен, втроем с двумя главными бухгалтерами райторготдела и райпотребсоюза мы подошли к запертой двери банка. Я позвонил, а когда открылась дверь, сказал: «Будем обсуждать наши проблемы в банке, если туда нас пропустит охранник». Реакция наступила быстро и жестко. Охранник особо подтянутым встал в дверях: «Сам я пропущу в банк только Вас. Спутников Ваших не пропущу. Если Вы прикажете, пропущу».

— Приказываю Вам, товарищ охранник, пропустить в банк главных бухгалтеров райторга и райпотребсоюза.

— Вот так и с самого начала надо было, Павел Григорьевич, — укоризненно сказал охранник. Так постепенно происходил переход мой из положения скромного студента к положению государственного служащего — можно сказать — фигуры в районном масштабе.

Лето близилось к концу, когда охранник вновь попросил меня к управляющему. В его кабинете по стойке «смирно» стоял командир в голубой фуражке с тремя кубарями в петлицах.

— Поручаю Вам финансирование ответственных строек оборонного значения. Стройки ведет учреждение НКВД, которое находится в Плавске, под руководством чекиста Путрина, а сами стройки расположены на территории нескольких областей. Возьмите и вскрыйте этот конверт.

Я взял большой темно-желтый плотный конверт, опечатанный пятью сургучными печатями с надписью: «Срочно. Секретно. Управляющему Плавским отделением Госбанка». Во вскрытом мною конверте лежало несколько плотных листков белой бумаги. На первом, написанном на машинке, значилось: «Срочно. Секретно. Экземпляр №. Титульный список строительных Комитета резервов Совета Министров СССР». Дальше шел список строительных: элеватор на станции Горбачево с его краткой характеристикой и перечнем конкретных объектов, элеватор на станции Вязьма и ряд других объектов.

— Вся документация по этим стройкам будет находиться вот в этом секретном несгораемом шкафу, ключ от которого будет у меня. Когда Вам будут нужны документы по финансированию, я их буду Вам выдавать, а по окончании мы их будем запирать в сейф. Товарищ старший лейтенант! Ваши дела будет вести старший экономист Васильев Павел Григорьевич, которого я Вам представляю. Если мне придется по срочному делу уезжать из отделения, ключи от сейфа я буду передавать ему, и Вы под расписку ему же будете передавать документы.

Таким образом, на меня были возложены самые главные расчетно-финансово-кредитные операции капитального строительства, которое было в ведении нашего банка.

В начале сентября я связался с институтом и договорился с управляющим о поездке в Москву для консультации по вопросам дипломной работы.

Когда я рассказал в институте о самостоятельной перемене темы диплома методисту, она была возмущена, но в конце концов, сказала, чтобы я доложил о своем самоуправстве декану. Я дождался декана Высочанского, показал ему графики, план диплома и часть написанного текста. Видимо, эти заготовки ему понравились, и он сказал, что против перемены темы он возражать не будет, но с этим вопросом я сам должен пойти к заместителю директора профессору Владимиру Васильевичу Иконникову и, самое сложное, договориться о руководстве дипломной работой по кредитованию свиновхозов — он такого специалиста не знает.

Перешел я в другой корпус здания Госбанка на Неглинной 12, где находилось Управление по кредитованию и финансированию подотраслей сельского хозяйства. Такое управление я довольно быстро нашел, и пожилая приветливая женщина сказала, что очень хорошим руководителем был бы сам начальник управления Филлер, но он очень занят и вряд ли возьмется за такую работу. «Впрочем, я доложу ему через некоторое время о Вас».

Я притулился в уголке приемной и стал ждать. Скоро из кабинета вышла группа пожилых озабоченных мужчин, и туда юркнула сотрудница, с которой я разговаривал. Она быстро вышла и кивнула мне головой: «Ваше счастье. Идите».

В небольшом, скромно обставленном кабинете на меня поднял полное, бритое, усталое лицо человек с большой



проседью в волосах и умными глазами. «Покажите, что Вы начали писать в своем дипломе». На стол легло несколько листов графиков. Внимательно, медленно посмотрев их, Филлер сказал: «Интересно. План». Бегло прочитал план. Полистал текст.

— Подойдет. Надо кое-что уточнить. Но все это Вы должны делать сами. Помогать Вам не смогу. Но готовый, отпечатанный текст внимательно прочитаю. Сделаю замечания. Судя по началу, создалось впечатление, что самостоятельно написать диплом Вы сможете. Приезжайте с готовым текстом дней за десять или за неделю до защиты. К этому времени должно быть написано и Ваше вступительное слово. Рисуем? Да, риск есть. Но при напряженной работе, думаю, у Вас получится. Лучше было бы, если бы Вас отпустили недельки за три до защиты. Какие у Вас взаимоотношения с управляющим?

— Приемлемые.

— В таком положении отношения должны быть хорошими. Грамотные экономисты в отделении есть?

— К сожалению, сильнее меня нет.

— Управляющий имеет высшее экономическое образование?

— Нет.

— Отделение большое?

— Головное. Ему подчиняются шесть отделений по кредитованию свиновосхозов.

— Как же получилось, что Вас отправили на работу до окончания института? Плохо учились?

— Учился хорошо. Наказан за провинность. Это длинная и тяжелая история. Разрешите мне о ней не рассказывать.

— Согласен. Думаю, диплом Вы напишете. Передайте заместителю директора Института по научной работе, что я согласен быть Вашим руководителем.

— Спасибо, большое спасибо.

— Желаю успешно завершить работу.

Был конец рабочего дня, и профессор В.В. Иконников и декан факультета уже ушли домой. Зашел к бывшему своему научному руководителю. С извинениями вернул ему полученные от него инструкции и материалы. С большим неудовольствием он произнес: «Ожидал уже получения части дипломной работы. Разочарован и обижен на Вас». Я еще раз искренне извинился, не стараясь убе-

дить его в правильности моего решения. Мне казалось, что это бесполезно. Да, в способности отстоять свою тему диплома в самом начале я чувствовал себя не на должной высоте.

Утром следующего дня пришлось долго ждать профессора Иконникова. Он пришел только после обеда. Быстро принял меня, бегло просмотрел графики, полистал план и страницы написанного. Вызвал секретаря, продиктовал текст приказа об изменении темы дипломной работы и назначении Филлера моим научным руководителем.

— Можете возвращаться в свое отделение. Все будет оформлено без Вас. Желаю успеха.

Ранним утром следующего дня я уже был у себя дома. Как только открыли кладовую, и управляющий прошел в свой кабинет, я ему с радостью доложил об успешных результатах поездки.

— У нас тоже приятные новости. И сразу две. Во-первых, нам неожиданно увеличили штат кредитного отдела на одну единицу экономиста.

— Это же замечательно! Как этого Вам удалось добиться, Семен Федорович?

— Как, как? Секрет. И есть подходящая кандидатура на это место — вторая новость. Молодая женщина, недавно окончившая экономический техникум. Жена инженера завода «Смычка».

— Работала где-нибудь?

— Примерно год на этом же заводе. А тут — ревизия. Говорят, нельзя, чтобы близкие родственники или муж и жена работали на одном предприятии на ответственной работе. Ее там увольняют с хорошей характеристикой. Разговаривал с ней. Произвела хорошее впечатление. Вроде бы грамотный и разумный человек. Да Вы сами сегодня с ней поговорите.

— Подвоха тут никакого нет?

— Насколько я анализировал дело и по разговору с директором завода выходит, что подвоха не предвидится. А у Вас сомнения?

— Да как Вам сказать? Определенного ничего нет. Но ведь теперь большой дефицит дипломированных специалистов. А ее легко отпускают. Червячок сомнений у меня есть.

После обеда ко мне пришла молоденькая, румянощечкая, полноватая женщина выше среднего роста. Из разговора выяснилось, что она более или менее знает экономи-

ку промышленного предприятия, хочет работать в банке и обладает средними способностями.

На следующий день приказ о ее зачислении был подписан с испытательным сроком в один месяц. Но негативный подводный камень этой кандидатуры ни я, ни управляющий заметить не могли, и он обнаружился значительно позже.

В первые же дни работы выяснилось, что она аккуратна, добросовестно относится к работе и очень дорожит своим временем. С точностью до минут приходит и уходит из банка (это хорошая черта), но бывает очень недовольна задержке хоть на несколько минут. Эта ее черта в банке, где, как мне тогда казалось, рабочий день не может быть нормирован, очень не понравилась. Из банка нельзя уйти, особенно оперативным работникам, до тех пор, пока не будет сделана и точно сбалансирована оборотная ведомость за день. Попытка каждый день уходить домой вовремя казалась мне нетерпимой.

Недели через три после приезда управляющего в ясный осенний день к банку подъехала автомашина, нагруженная мебелью. «Смотрите, Павел Григорьевич, — сказала Вера Евдокимовна, — по-моему, семья управляющего приехала. Да вот и он сам бежит». С переднего сиденья машины спрыгнула довольно красивая, стройная, одетая в яркое платье женщина. Я сказал сотрудникам кредитного отдела, чтобы они продолжали работать, а сам пошел помочь перетаскать мебель. Познакомились прежде всего с женщиной — женой управляющего. У нее оказались большие серые жесткие глаза. Затем — с дочерью — симпатичной ученицей последнего класса средней школы, и с угловатым юношей — школьником с таким же большим носом, как и у его отца. Вместе с охранниками мебель мы быстро разгрузили и разместили в квартире. При этом у жены управляющего обнаружился хороший вкус и смекалка. Ее руки умели прочно держать весь обиход семейной жизни. Для четырех человек квартира управляющего казалась маловатой, но весьма уютно обставленной. Через несколько дней (по моим понятиям, очень быстро) в банке встало все на свои места. Наладился, казалось, и быт четырех семей, живущих на первом этаже большого банковского дома.

Однако спустя неделю-другую взаимоотношения управляющего с Гуськовым — экономистом по работе с колхозами — становились напряженными. Одна за другой сле-

довали придирки, как мне казалось, по мелочным поводам. Гуськов резко отвечал. Я решил выяснить существо дела и спросил, когда мы были с управляющим вдвоем, о ненормальности взаимоотношений. Конечно, Гуськов слабо подготовлен и, по большому счету, не соответствует занимаемой должности. Но он честен, трудолюбив и более или менее удовлетворительно тянет свою ношу.

— Вы же сами сказали, что он слабо подготовлен. Надо укреплять аппарат.

— Намерения у Вас хорошие. Но своевременно ли это делать? И есть ли надежда на успех?

— Вы мне в этом деле не мешайте, Павел Григорьевич.

— Хорошо, не буду. У Вас бóльший жизненный опыт, чем у меня.

Из этого короткого разговора у меня интуитивно сложилось убеждение, что управляющий все же неправ.

Примерно через неделю в квартире управляющего появился молодой человек, хорошо одетый и похожий на него лицом, прежде всего большим носом и некоторыми особенностями поведения. Вера Евдокимовна сейчас же по секрету сказала мне, что к управляющему приехал племянник. Затем вечером, когда в банке, кроме охранника и меня, никого не было, ко мне подсел Гуськов: «Меня управляющий думает уволить. Ему нужно место для своего племянника. Хочу дать Вам заметку в стенгазету о несправедливости отношения ко мне управляющего. Что Вы мне скажете? Пропустите, опубликуете заметку в стенгазете?»

— Дело сложное и неприятное, даже очень неприятное. Человек Вы трудолюбивый, добросовестный, легкий на подъем. Председателей и колхозы района знаете. Серьезных промахов в работе у Вас не было. Поэтому прямых оснований для увольнения Вас нет. Ваш конкурент, насколько я знаю, экономического образования не имеет. Он родственник управляющего, а родственников в одном учреждении быть не должно. Поддерживать управляющего в этом вопросе я не буду. Вашу заметку, если она будет убедительной — пропущу. Но надо начинать с райкома партии, сельскохозяйственного отдела районного исполнительного комитета. Сходите туда сами, проанализируйте, что скажут. А потом — ко мне.

— Значит, Вы сами предварительно с управляющим разговаривать не будете? И просить его оставить меня на

работе не считаете целесообразным, как говорится, на данном этапе?

— Вы все поняли правильно.

— Несправедливо Вы, Павел Григорьевич, поступаете. Бойтесь осложнения отношений с управляющим. Но его племянничек может Вам и работе банка, ой, каким боком выйти. Локти себе кусать будете. Но я сделаю по Вашему совету.

На следующий день вечером, когда, кроме меня и охранника, в банке никого не было, Гуськов опять появился.

— Дело вроде бы решится совсем по-другому. В Сельхозотделе райисполкома есть вакансии и даже с зарплатой чуть повыше. Меня туда зовут. Решил переходить. И управляющему и Вам спокойнее, и мне финансов побольше, да и нервотрепки никакой. Ну а для банка, конечно, ущерб будет. Но ничего не поделаешь. И дело и жизнь, думаю, пойдут у меня лучше. Завтра подам заявление об уходе по собственному желанию. Но ни управляющему, ни Вам — не прощу.

На следующий день Гуськов был освобожден и перешел в Сельхозотдел райисполкома. Еще через день неподготовленного племянника управляющего приказом назначили экономистом по работе с колхозами. Испытательный срок — один месяц, хотя я понимал условность этой оговорки. С этого времени я перестал уважать управляющего.

\* \* \*

Наступала глубокая осень с холодными дождями и заморозками. Из отдаленного совхоза «Диктатура» поступили сигналы, что там финансовые неполадки. Надо было ехать, хоть расстояние большое, — примерно тридцать пять километров. Решил ехать верхом на бывшей строевой, вышколаженной кавалерийской кобыле, выбракованной из армии, так как у нее лопнуло копыто. Накануне подробно разговаривал с бухгалтером совхоза «Плавский» и расспрашивал его о дороге.

— Да Вы как собираетесь ехать?

— Верхом, в хорошем английском седле.

— Вы ездили когда-нибудь верхом на большие расстояния?

— На небольшие ездил. Кобыла прекрасно выезжена: ходит хорошо и аллюром и рысью и иноходью.

— Без привычки не советую ехать на тридцать пять километров верхом. Больным приедете. Все отобьете, как

бы ни была хорошо выезжена лошадь. Категорически не советую. Запрягите тележку и спокойно доедете. Дорога негрязная. Дождя не ожидается.

Как это часто бывает в молодости, я не внял разумному совету. В первой половине следующего дня взгромоздился в седло и лишь улыбнулся Ивану Яковлевичу, когда он сказал: «А в легонькой тележке-то способнее бы ехать-то было бы. Давайте перепрягу». Я лишь покачал головой и этак «молодецки» поскакал по дороге. Проехал километров десять и стал чувствовать, что меня изрядно растрясает. Впереди на дороге завиднелась легонькая тележка, которую трусцой везла тощенькая лошаденка. Я быстро нагнал ее и увидел, что на ней разлеглась среднего роста румяная женщина с кнутиком в руках и соломинкой в зубах. Она лениво повернула немного голову в мою сторону, и ее глаза с любопытством рассматривали меня.

— Скажите, пожалуйста, правильно я этой дорогой еду в совхоз «Диктатура»?

— Правильно. А Вы до самой «Диктатуры» в седле ехать собираетесь?

— Да.

— Так Вас же всего растрясет. Видать, Вы к верховой езде непривычны.

— Надо полагать, что растрясет.

— Тогда пересаживайтесь ко мне в тележку. Нам еще верст десять вместе ехать, а потом мы поедem в разные стороны. И удобнее и веселей будет, и не так уж Вас растрясет.

— Спасибо за приглашение. А сколько с меня за доставку?

— Пол-литру дадите?

— Нет. Пол-литры у меня нет.

— Эх, какой Вы неспособный. И верхом невесть в какую даль отправились и пол-литру не взяли. Ну раз такое дело, то «за так» поедem, — рассмеялась она.

Я соскочил с лошади, привязал ее за повод к задку тележки и сел рядом со своей спутницей. Завязался разговор. Я рассказал коротко, что служу старшим экономистом Плавского Госбанка и еду проверять совхоз «Диктатура». Она — что учит детей в сельской школе и что очень ей скучно одной в деревне. Так мы незаметно проехали десять верст. На развилке двух сельских дорог она остановила лошаденку.

— Теперь моя дорога налево, а Ваша — направо.

Спрыгнул с тележки, отвязал свою лошадь. Держа ее за повод, подошел к тележке, поблагодарил, пожелал здоровья и счастья.

— Жаль расставаться с хорошим человеком. Может быть, в жизни и увидеться не придется.

— Если захотите, напишите. — И назвала свою школу, повторила фамилию, имя и отчество. Я вскочил на лошадь, помахал рукой и поскакал своей дорогой. Сложности жизни разнесли нас по разным путям, и мы больше никогда не виделись.

Через некоторое время дорога раздвоилась. Никакого указателя не было. И ни одного путника. Наугад свернул направо, довольно долго ехал. Наконец, показался путник. На вопрос о дороге он сказал, что я напрасно свернул направо. Надо было налево, но это поправимо. «Впереди у Вас налево будет малоезжая дорога. Вы на нее сверните, и она доведет Вас до совхоза. Правда, сделаете в общем-то верст восемь крюку, но приедете прямо в совхоз».

Я пустил лошадь аллюром и быстро свернул на проселочную дорогу. И тут случилась беда. Поперек дороги лежал лист железа. Лошадь на скаку наступила на него. Он загремел. Лошадь резко бросилась в сторону. Я перелетел через ее голову и сильно ударился о землю обеими руками, содрав с них кожу. Ушибся. Не мог сразу встать и лежал. Лошадь вернулась ко мне и легла рядом. Опершись на нее, я с трудом встал, почувствовав, что ни одна кость не была сломана. С трудом сел в седло. И поскакал по дороге на замаячившие впереди огоньки, как оказалось, поселка совхоза «Диктатура». Как только я подъехал к домику дирекции совхоза и слез с седла, лошадь потянула повод, пожелав валяться. Навстречу мне заковылял директор совхоза — орденоносец, краснознаменец, которому в годы Гражданской войны у одной ноги гранатой оторвало ступню и вторую ногу тоже искалечило.

— Чувствую, что сильно устали, добираясь до нас. Сейчас Вас покормим. Лошадь расседлаем, дадим ей поваляться, а потом тоже накормим, напоим, и конюх сделает ей выводку. В будущем не делайте длительных поездок верхом без тренировок. Завтра посмотрите и проанализируйте данные нашего хозяйства, и разберемся, что делать.

— Мне говорили, что коллектив взволнован, обстановка очень напряженная?

— Чуть не побили рабочие меня и главного бухгалтера — подлеца и вора. Да и слухи он нехорошие распустил (в том числе и о банке и о Вас лично). Пойдемте, закусим — и спать. Если не боитесь простудиться, рекомендую сарай с душистым сеном.

Ночью не раз просыпался — все тело ломило. Встал рано. Позавтракали и пошли смотреть с директором склады кормов. Они были влажные и лишь в некоторых местах стали согреваться.

— Сам знаю — с хранилищами кормов далеко не все в порядке. Перелопачиваем, но не всегда успеваем все сделать вовремя.

— Напишу об этом в акте, но крайнюю меру — прекращение кредитования кормов — применять не будем.

— Есть у меня важный секретный разговор. Пойдем поговорим один на один. Понимаешь ли, главный бухгалтер у меня — вор, бесчестный человек и интриган. Его не только гнать — судить надо. Но не могу. Со счетными работниками из рук вон плохо. Прогоню и арестуем — вся счетная работа остановится. Приходится мне к вам в такую даль, чтобы банковские документы оформить, самому ехать. И мытарно, и здесь в совхозе дела без меня идут через пень-колоду. К тебе — большая и очень ответственная просьба! Даю тебе чистые листы бумаги с моими подписями и печатями для оформления бухгалтерских операций в Плавске в учреждениях банка и бланки документов с печатями и моими подписями для оформления денежных операций. Храни их у себя и выдавай их бухгалтеру строго для оформления каждой операции. Понимаешь, на каждую операцию, и ни одного документа без твоего контроля — тщательного контроля.

— Да ведь брать незаполненные документы работникам банка строго запрещается. Сейфа у меня нет. У письменного стола замок — дрянь, да и тот сейчас не запирается. Большое спасибо за огромное доверие, которое Вы мне оказываете, но взять чистые листы с Вашей подписью и печатью и незаполненные банковские документы с подписями и печатями не могу.

— Нет, можешь. В помещении банка, хоть и в твоём столе с плохим запором, они будут в более сохранном месте, чем у моего вора, — главного бухгалтера. Ему я не верю. Тебе — верю.

— Не могу нарушить инструкцию.



— Инструкция, инструкция! Далась тебе инструкция. Для чего инструкция пишется? Чтобы дело велось лучше, в интересах государства. А теперь она интересам дела вредит. Ведь моя жизнь идет к концу. Жизненный опыт немаленький. С Гражданской войны я член партии и ни одного серьезного взыскания не получил. Научился понимать, что к чему. Поэтому для пользы дела бери документы и ответственность вместе со мной за нарушение чертовой инструкции на себя бери. Учись принимать разумные решения, быть самостоятельным человеком.

Наступило молчание. Я раздумывал. Конечно, неприятность могла быть. Инструкция нарушалась, и за это могли наказать. Ведь я уже не на одной заметке. Но никаких нарушений или тем более преступления я не допущу. Решил — возьму... Кивнул молча головой.

— Спасибо. Теперь подумаем о финансовом положении совхоза и его рабочих. Ведь зарплату несколько месяцев не получают. Кормим их бесплатно в столовой и продукты свои выдаем бесплатно. Вычитаем потом, конечно, из зарплат. Я с тобой говорю в открытую, потому что верю. Но ведь надо же платить, в конце концов?!

— Вы племенных поросят своих будете сдавать откормочным совхозам скоро или уже сдали?

— Сдали.

— Бронирование денег на заработную плату в банке оформили?

— Оформили.

— Кто-нибудь из покупателей какую-то сумму заплатит, хотя их финансовое положение очень тяжелое. Забронированную зарплату наличными из кассы банка выплатим из первых же поступлений на спецсудный счет, как бы ни было трудно в банке с наличными деньгами.

— Большое спасибо.

Как ни велика была занятость и по работе и по написанию диплома, но и то и другое продвигалось сравнительно успешно — молодость брала свое. Хотелось встреч, хотя бы редких встреч с молодежью и, может быть, каких-то развлечений. Надвигалась зима. Встала Плава. Решил попробовать научиться кататься на коньках. Купил ботинки с коньками. Спустился на прозрачный, но еще сравнительно тонкий лед. Однако наука катания не давалась. Ноги разъезжались, коньки подвертывались. Несколько падений последовали одно за другим. Подъехали ко мне

на коньках двое здоровенных парней. «Хотите, поможем Вам научиться кататься на коньках?» — сказал с улыбкой один из них. Оба протянули мне руки и со смехом повезли. Скорость быстро возрастала, все больше появлялось чувство неуверенности. «Потише бы надо», — сказал я. «Нужно не бояться быстро ехать. Иначе долго не научитесь», — со смехом ответили мне.

Вдруг передо мной показалась прорубь и вокруг нее куча льда. Я сильно рванул руки, пытаюсь освободиться, на что последовал смех моих спутников. В мгновение перед самой прорубью они бросили мои руки, хохоча и разъезжаясь в разные стороны. Мне удалось несколько изменить направление скольжения. С размаху я налетел на кучу льда на краю проруби, упал, ушибся, но в воду не попал. Послышался обиженный, сочувственный женский голос:

— Нехорошо, ребята, вы сделали.

Передо мной появилась стройная фигура хорошенькой девушки на коньках.

— Давайте, я помогу Вам встать, — протянула она мне руку. — Очень ушиблись?

— Терпимо. Вроде бы травм нет, а синяки заживут, — с вымученной улыбкой кивнул я ей головой. — Давайте познакомимся. Кто Вы?

— Меня зовут Вера. Я учусь в последней группе средней школы. Моя мама работает в Пятом свиноводтресте.

— Я Васильев Павел Григорьевич из Госбанка, — отряхнув пальто, я во второй раз протянул ей руку. — Приятно познакомиться.

— Мы с мамой давно Вас заметили. Да и многие Вас в Плавске уже знают, а вот лично познакомиться пришлось только сегодня, — улыбаясь, сказала она. — Вас почти никогда не бывает видно. Например, в кино Вы никогда не бываете. И не гуляете. Почему?

— Я очень занят. Осваиваю службу в банке, а по вечерам пишу дипломную работу, чтобы защитить ее экстерном. Скоро срок защиты. Но гулять хожу поздно вечером в парке.

— Ой, как интересно! Пишете диплом экстерном. Никогда не слыхала. Будем продолжать учиться кататься на коньках?

— Нет, к сожалению, не будем. Дебют катания не удался, да и диплом за меня никто не напишет.

— А где Вы пишете диплом?

— Или на втором этаже банка или у себя в комнате на первом этаже.

— Там, где Вы пишете диплом, телефон есть?

— На втором этаже банка телефон есть.

— Можно я Вам иногда буду звонить по телефону?

— Буду рад. Теперь же мы простимся. Я спустился на Плаву прямо на коньках с банковского крыльца. Проводить мне Вас на коньках будет трудно: они накрепко соединены с ботинками. Да, пожалуй, и смешно было бы. Спокойной ночи. Рад был познакомиться.

— До свидания, — и она печально улыбнулась.

Прошло несколько дней. Дочь управляющего в коридорчике, здороваясь, попросила у меня ключ от моей комнаты: «Павел Григорьевич, разрешите мне заниматься в Вашей комнате. Ведь весь рабочий день Вы проводите на втором этаже. А в нашей квартире много людей бывает. Не дают сосредоточиться. Мешают заниматься».

— Пожалуйста. Я не буду запираю свою комнату. Когда меня нет, приходите в любое время и занимайтесь.

— Нет. Так не годится. Если комната будет всегда открыта, вдруг у Вас что-нибудь пропадет? Лучше отдавайте мне ключ утром. Хорошо?

— Можно и так, Аня. Но ведь ценных вещей у меня нет. Одежда скромная. Посуда, ложки, вилки, ножи. Кого привлекут эти вещички? Посторонние здесь не бывают. Банк охраняется, а на нижнем этаже постоянно находится охранник. Лишнюю и ненужную канитель с ключом разводить будем?

— Сделайте, как я прошу. Отдавайте мне ключ каждое утро.

С этого времени началась в моей комнате регулярная подготовка уроков. Часто, возвращаясь после рабочего дня, я заставал у себя в комнате дочь управляющего или она поджидала меня в кухне, сидя на высокой, чистой, теплой русской печи. И не спешила передать мне ключ.

Однажды после долгой работы в кредитном отделе, спустившись, я, как всегда, увидел ее на обычном месте на печи. Семья охранника уже легла спать или спала. Мне захотелось поговорить с Аней. Я забрался на печь и сел рядом с ней. Она взяла мою руку.

— Какие у Вас красивые руки.

— Чем же они красивы?

— Они стройные, с тонкими пальцами и длинными ногтями. И пальцы у Вас не прямые, как почти у всех, а загнутые в противоположную от ладони сторону.

Она загнула и разогнула обеими своими руками мои пальцы, легонько хлопнула по ним и тихонько засмеялась. В это время прекратился стук пишущей машинки. Управляющий окончил печатание своих секретных документов. Он это делал поздно вечером, когда сотрудников не было, и никому не показывал их, пряча в свой личный сейф. Понеслись его шаги. «Спокойной ночи! Папа Ваш окончил уже работу». Мы разошлись по своим местам.

\* \* \*

Погода становилась холоднее. Вечера наступали все раньше. В один из коротких ясных дней, когда из труб домов поднимались высокие прямые струи дыма, нам сказали, что вечером будут на собрании выдвигать кандидатов в местные Советы. Сходились в банк сотрудники райфо, сберегательной кассы. Похлопывали руками и ногами, согривались. Вначале собрание шло без особенностей. Выбрали президиум, утвердили повестку дня. Партийцы назвали фамилии кандидатов. Вдруг неожиданно поднялась молодая незамужняя сотрудница районного финансового отдела и назвала мою фамилию: «Он молодой, оканчивает институт. Как нам говорили, много работает, хорошо относится к своим обязанностям. Пусть поработает депутатом Совета».

Партийцы насторожились и стали переглядываться. «Не к месту это выступление», — подумалось мне. Встал и заявил самоотвод, говоря, что работа для меня новая и очень ответственная. Плавский район знаю недостаточно, а другие шесть районов, где расположены совхозы свиноводтреста, совсем не знаю. Жизненный опыт мал. Написание дипломной работы находится в самой ответственной стадии.

— Благодарю за доверие, но кандидатом в депутаты Совета очень прошу не выдвигать.

Несколько обрадованный председатель собрания обратился к присутствующим: «Есть предложение удовлетворить просьбу о самоотводе». Но выдвинувшая предложение женщина была настойчива. «Считаю, что просьба о самоотводе недостаточно обоснована. Прошу провести голосование».

— Кто за удовлетворение просьбы о самоотводе, прошу поднять руки.

Управляющий банком, заведующий райфинотделом, члены партии, некоторые другие сотрудники подняли руки.

— Раз часть коллектива считает возможным удовлетворить самоотвод, фамилию Васильева не будем включать в список кандидатов в депутаты Совета.

Все, что произошло, подтвердило мои опасения о том, что я нахожусь под пристальным вниманием и должен очень жестко контролировать свое поведение даже в мелочах.

Наличие в моем незапирающемся столе чистых листов бумаги, подписанных директором совхоза «Диктатура» и заверенных печатью, а также незаполненных бланков для оформления банковских операций меня беспокоило. Обратился к управляющему с просьбой, чтобы починили замки стола и самые ящики стола.

— Странно. Бойтесь хищений? Кого-нибудь подозреваете? Может быть, меня? Да и особых ценностей у Вас нет.

— Нет, никого я не подозреваю, но в банке замки должны быть исправны, и мебель должна быть в порядке. А сам думал: «Может, сказать о документах совхоза «Диктатура»? Нет. Если не верю в порядочность управляющего, говорить нельзя».

— Сегодня вечером посмотрим ящики Вашего письменного стола.

После девяти часов вечера раздался стук в мою дверь. На пороге стоял управляющий — в фартуке, со стамеской, молотком, другими инструментами в ящичке, небольшими досточками. Поднялись в комнату кредитного отдела. Разобрали мой стол.

— Да, Ваш стол и ящики действительно — дрянь. Даже шурупам не все замки привернуты. У меня шурупы были. Сейчас привернем замки и кое-что починим.

Он быстро спустился вниз. Принес коробочку шурупов. К двенадцати часам ночи стол был починен. Чувствовалось, что управляющий имел некоторые навыки столярной работы.

— А сами Вы такой ремонт не смогли бы сделать? — обратился он ко мне.

— Пожалуй, не смог бы. Но ведь, Семен Федорович, не такими должны быть запоры и мебель в банке.

— Может быть, Вы и собственный сейф пожелаете иметь?

— И сейф отдельный у кредитного отдела следовало бы иметь.

— Тогда и папки по кредитованию клиентов каждый день в кладовую охапками носить надо?

— Конечно, этого делать не надо. Но ведь все документы по финансированию строительства Комитета резервов Совета Министров Вы держите у себя в особом секретном сейфе? Во всем должна быть разумная мера. Не думал, что Вы сами займетесь починкой моего письменного стола. Пожалуй, с такой просьбой... я не совсем был прав, что обратился к Вам. Но теперь из запертого моего стола документы никто не возьмет. Для охранников они никакой привлекательности не имеют. А вообще, может быть, и дверь комнаты кредитного отдела надо бы запирать на замок? Ведь Вы же свой кабинет запираете? А в общем спасибо Вам за очень оперативное выполнение моей просьбы. А теперь пойдемте спать, — улыбаясь, сказал я. Но на лице управляющего улыбки не было. Оно выражало сомнение и недовольство.

Жизнь банковского коллектива менялась. Возникли трения между управляющим и старшим кассиром. Управляющим была назначена проверка наличия кассы путем пересчета каждой пачки денег, включая обандероленные пачки не только оборотной кассы, но и сейфов запасных фондов (деньги из них нельзя было выпускать в обращение без правительственных телеграмм вышестоящих учреждений Госбанка). Отделение банка не могло прервать свою работу ни на один день, кроме воскресений и дней советских праздников. Поэтому пересчет наличия касс происходил вечером и ночью. В этом пересчете должен был участвовать и я. Как раз в это время позвонила моя знакомая — свидетельница неудачной попытки научиться кататься на коньках. Ей сказали, что я к телефону подойти не могу (из комнаты пересчета денег выходить было запрещено). Она позвонила еще раз — ответ был таким же. Она начала бранить охранника. Он опять подошел к помещению пересчета и попросил управляющего отпустить меня на несколько минут: «Уж очень она ругается по телефону». Управляющий с иронической улыбкой разрешил мне выйти, сопроводив разрешение репликой: «Бывают же такие бессовестные женщины». Я объяснил своей собеседнице, что инструкцией банка в известных условиях запрещено выходить из помещений, где хранятся деньги и происходит их пересчет. Она назвала меня «выдумщиком», но, в конце концов, кажется, поверила, что такие правила могут быть.

По окончании пересчета в один из вечеров ко мне пришел старший кассир и принес резкую заметку в стенную газету — с критикой, главным образом, хозяйственной деятельности управляющего. Фактов перечислено было много. Преступных действий не было, но явные упущения были. На редколлегии решили поместить заметку в газете, несколько смягчив резкость выражений (и под псевдонимом). Трещина моих взаимоотношений с управляющим расширилась. Пришел разговаривать со мной по поводу заметки и заведующий районным финансовым отделом; считал помещение заметки правильным и советовал сообщить свое мнение районному комитету партии. Я в категорической форме просил его не подключать к этому делу партийные органы.

Институт сообщил мне, что через полтора месяца надо приехать сдавать Государственные экзамены и защищать диплом. Я сейчас же передал письмо управляющему, который ответил, что отпуска мне не даст, так как много работы, и ничего не случится, если я поеду сдавать экзамены и защищать диплом весной. «В счет своего очередного отпуска». Я убеждал его, что в банке нет неотложных дел, отпуск на экзамены не оплачивается, я согласен работать в банке во время своего отпуска.

— Вы уже четвертый раз хотите ехать для защиты диплома и окончания института. Это плохо отражается на кредитной работе отделения. Не дам отпуска. Уедете самовольно — уволю и напишу прокурору о привлечении Вас к уголовной ответственности.

— Неужели, Семен Федорович, по такому частному вопросу мне придется писать в Бюро жалоб Комиссии Советского контроля или в областную контору Госбанка?

— Пишите, куда хотите. Отпуска не дам.

В тот же день я послал жалобу в Бюро жалоб Комиссии Советского контроля и очень быстро за подписью референта получил ответ, что по таким частным вопросам, как предоставление отпуска, не следует обращаться в высший партийный и советский орган. Эти вопросы должны решаться на месте.

Ночь прошла почти без сна. Утром следующего дня в операционном зале мы встретились с управляющим.

— Получили ответ на Вашу жалобу? «Откуда он знает? Письмо мое было запечатано, и я никому о нем не говорил. Копия была ему? Скорее всего, именно так».

— Получил.

— С чем Вас и поздравляю. Что думаете делать?

— Совершенствовать диплом. Готовиться к сдаче Государственных экзаменов весной.

— Все будет не так. Я дам Вам отпуск для сдачи экзаменов и защиты диплома в зимнюю сессию.

— Вы изменили свое решение? Большое, большое спасибо.

Мы оба улыбнулись.

Вечером в кухне мы встретились с женой управляющего.

— Поздравляю Вас с положительным решением вопроса об отпуске.

— Вы делаете огромное дело всей Вашей жизни. Но нам надо серьезно переговорить. Пройдемте в Вашу комнату.

Мы сели. Своими жесткими серыми глазами она молча смотрела на меня в упор.

— Вы неправильно ведете себя с Аней. Почти каждый день даете ей ключ от своей комнаты, и она говорит, что делает там уроки. Молоденькой девушке, кончающей среднюю школу, неприлично днями сидеть в квартире молодого одинокого мужчины. У нас было с ней объяснение. Она плакала и говорила, что я несправедливо вмешиваюсь в ее жизнь, мешаю ей хорошо учиться. Я запретила ей просить и брать у Вас ключ. Она ответила, что не выполнит моего запрета. Прошу Вас не давать ей больше ключ от Вашей комнаты и не приглашать ее к себе. Обещайте мне это.

— Обещаю.

— Хорошо, что мы быстро и легко договорились. До свидания.

Однажды вечером я поднялся на второй этаж банка, чтобы взять нужные мне документы. За решеткой в помещении касс были не только старший кассир, принимавший вечернюю выручку, и представитель общественной организации. Там был управляющий и незнакомый мужчина в военной форме, но без знаков различия. «Неужели опять внезапная проверка кассы?» — промелькнула мысль. Я поздоровался. Провожаемый недовольными взглядами, быстро взял документы и, ни с кем не разговаривая, спустился в свою комнату. Дежуривший в эту ночь охранник Слюнястикова молча постукивал подковками своих сапог, прохаживаясь наверху и



не пел песен, как это было раньше. Днем мне стало известно, что при внезапной проверке вечером наличных денег в кассе оказалось на несколько рублей меньше, чем по бухгалтерским данным, и что старший кассир отстранен от исполнения своих обязанностей.

Атмосфера в банке все более и более накалялась.

В следующее воскресенье, возвращаясь из столовой, я услышал невнятный громкий крик: «Пал Григорьевич! Пал Григорьевич! Я жив еще, я жив еще!» На тротуаре в снегу на коленях, опираясь на левую руку, на меня призывно смотрел Василий Алексеевич Зайцев. Он размахивал зажатым в правой руке непочатым литром водки.

— Подойди ко мне. Дай руку. Помоги встать. Ослаб. Проводи домой.

— Василий Алексеевич! Спрячьте литровку-то.

Он засунул литровку в сумку, которая раньше валялась в снегу рядом с ним. Мы встали твердо на ноги и, держась друг за друга, пошли к его дому.

— Пал Григорьевич! Ты знаешь, какой я специалист по бухгалтерии? Нет такого другого ни в одном ближайшем районе. А что толку? Все она, — тряхнул он непочатым литром.

— Еще при старом управляющем Александре Сергеевиче. Бац. Телеграмма. Василию Алексеевичу Зайцеву явиться в Московскую областную контору Госбанка. Явился. Говорят, сам управляющий конторой вызывает. Прохожу, а там главный бухгалтер конторы Щелоков сидит. Поздоровались эдак уважительно. Сесть предложили. И сам управляющий конторой говорит мне: «Думаю я Вас, Василий Алексеевич, главным, понимаешь, главным бухгалтером в Чернь назначить. Как, справитесь?»

— Нет, не справлюсь.

— Почему такое? В бухгалтерии слабина какая есть? Так подучиться можно.

— Нет, бухгалтерию знаю как следует.

— Так почему же?

— Сопьюсь.

Посмотрел управляющий на Щелокова, Щелоков посмотрел на него, а потом оба на меня. «Ну поезжай тогда назад в Плавск на старое место заместителем главного бухгалтера». А сейчас я кто? Контролер бюджетной группы. А Судаков Александр Иванович — заместитель главного бухгалтера — меня пересел. А почему — все она виновата!

— Воздерживаться надо, Василий Алексеевич!

— Знаю, что надо. А старуха-то меня поедом заедает. Говорит и говорит мне: «Ведь голова-то у тебя, дурака, — светлая, и руки-то у тебя — золотые. А вот рот-то у тебя...» Что мой рот? А я ей кричу и даже кулаком по столу стукну или даже к носу ее свой кулак суну...

— До свиданья, Василий Алексеевич. Мы пришли. Идите спать.

— Спать не пойду. Надо добавить.

— Не добавляйте. Довольно. До свиданья.

В сенях слышались торопливые шаги «старухи».

\* \* \*

Перед Новым годом ударили сильные морозы. Под валенками звонко хрустел снег. В основных чертах завершена дипломная работа. Моим старушкам послана небольшая сумма денег. И сделан некоторый запас их на расходы во время поездки для сдачи Государственных экзаменов и защиты диплома.

Ясным утром морозного дня я сошел с поезда на Курском вокзале и приехал в институт. Было уже вывешено расписание Государственных экзаменов, но расписания защиты дипломных работ еще не было. В коридоре встретились с профессором В.В. Иконниковым.

— Написали дипломную работу?

— В основном написал.

— Что значит «в основном»? Она должна быть готова полностью. Читал ее Ваш научный руководитель?

— Сказал, что прочитает после того, как она будет напечатана.

— А отдельные части читал?

— Нет, сказал, что будет читать все целиком. Я написал работу самостоятельно. Он посмотрел только план.

— То, что написали работу самостоятельно, — это хорошо, даже очень. А вот что научный руководитель не прочитал — плохо. Риск. Пойдемте ко мне. Я напишу, чтобы ее напечатали на машинке. После сдачи Вами Государственных экзаменов поставим ее на защиту одной из первых. Как только напечатают — давайте научному руководителю и внешнему рецензенту. Графики, которые мне показывали, хорошо начертили?

— Не рискованно ли нацеливаться на защиту самостоятельно написанной работы одной из первых?

— Риск, риск. Конечно, риск есть. Но у Вас был риск и огромное напряжение все последние месяцы. С работой в банке справились? Справились! Дипломную работу самостоятельно написали? Написали. Интересные графики начертили? Начертили.

Возвращая мне мою работу с надписью «В печать», сказал:

— Идите в Правление Госбанка к машинисткам. И имейте в виду, что против риска есть страховка. Если будут серьезные замечания рецензента и научного руководителя — текст можно быстро переработать, а защиту перенести на более позднее время.

Сердечно поблагодарив, я передал работу, и на второй день она была напечатана. Незамедлительно отнес экземпляры научному руководителю и внешнему рецензенту. Продержав работу всего лишь два дня, научный руководитель Филлер пригласил меня: «Конечно, текст требует доработки. Но Вы написали его совершенно самостоятельно и довольно правильно. Приемлю и Ваше вступительное слово. Работу я допускаю к защите с оценкой «удовлетворительно». Получите мой краткий письменный отзыв. Теперь давайте побеседуем о недостатках, отмеченных в отзыве, и по тексту». Вопросы, которые мне ставились, не были трудны. Я быстро на них отвечал.

— Не ожидал, что Вы так свободно разбираетесь в проблемах. Желаю успешной защиты.

Я сдал предметы Государственных экзаменов на «удовлетворительно». Внешний же рецензент с отзывом все тянул. Вдруг, когда я в очередной раз пришел в институт, методист сказала мне, что внешний рецензент отказывается допустить мою работу к защите. «Ему необходимо переговорить с профессором Иконниковым и с Вами». Я встретился с рецензентом. Он был неприветлив: «Внимательно прочитайте помеченные мною пять страниц и заметки карандашом. Без изменения текста работа не может быть допущена к защите, хотя она оригинальна и интересно анализирует некоторые вопросы».

Весьма расстроенный, ждал я в институте профессора Иконникова. Проходя через приемную, он сразу заметил мой понурый вид и махнул мне рукою, приглашая пройти за ним в кабинет. Снимая пальто, он спросил: «Что случилось?»

— Рецензент не допускает к защите мой диплом. Говорит, на пяти страницах неправильные формулировки.

— Давайте посмотрим.

Быстро и внимательно он прочитал заложенные злополучные пять страниц и замечания.

— И это все?

— Да.

— Пустяки. Идите к машинистке. Продиктуйте пять страниц текста в новой редакции. Покажите измененный текст внешнему рецензенту. Он напишет краткий отзыв. И мы включим Вас в список допущенных к защите. Идите, быстро все делайте. Я позвоню рецензенту.

Через несколько часов пять страниц нового текста были готовы. Я подровнял их к ранее напечатанному тексту и наклеил, не уничтожая первого варианта текста и не вырезая его из уже переплетенной работы. Получилось пять толстых двойных страниц, за что мне и пришлось поплатиться на защите.

Внешний рецензент внимательно и хмуро при мне дважды прочитал новый текст. Написал, что дипломная работа допускается с оценкой «удовлетворительно». «Ну вот видите — все у нас получилось», — с улыбкой сказал профессор Иконников, и в список защищаемых дипломов одного из дней была включена и моя работа.

В день защиты выяснилось, что Председатель Государственной экзаменационной комиссии, вновь назначенный начальник Управления кадров и член Правления Государственного банка СССР отозван по неотложному делу и передал свои обязанности Председателя на этот день члену-корреспонденту Академии наук СССР Михаилу Ивановичу Боголепову. Это был совершенно седой человек с продолговатым, красивым, чисто выбритым лицом, с немного отвисшими щеками желтоватого цвета. Светились пронизательные, молодые, внимательные глаза. Вспомнилось, что членом-корреспондентом он был выбран молодым профессором еще в дореволюционное время и в одной из своих статей назвал революцию 1905 года «печальной русской Смутой». Поэтому многие, в особенности начинающие ученые, стараясь нажать политический капитал, при всяком удобном случае поминали его недобрым словом. Он был самым крупным ученым экономистом-финансистом России, но до Великой Отечественной войны не получил существенного продвижения.

Когда перед защитой дипломной работы зачитали мою краткую автобиографию, он резко поднял голову и сказал:

— В автобиографии содержится несообразность. Дипломы защищают студенты очного Московского института, а местом жительства студента Васильева назван город Плавск Тульского округа Московской области.

— Я защищаю диплом экстерном и проживаю действительно в Плавске.

— Тогда все понятно.

В отведенное время я кратко изложил содержание работы.

— Как Вы собирали такой огромный материал по совхозам, расположенным в семи районах? — последовал вопрос члена-корреспондента.

— Плавское отделение Госбанка — Головное. Ему подчиняются шесть других. Основные материалы отделения регулярно предоставляются в Плавск. Так же и материал треста.

— Как Вы осуществляли связь с научным руководителем?

— Первоначально научному руководителю были представлены в Москве план дипломной работы, часть графиков и начало текста. Перед защитой переданы текст работы и текст вступительного слова.

— Вы виделись с научным руководителем дважды и текст писали самостоятельно, без чьей-либо помощи?

— Да.

— После прочтения текста научным руководителем и рецензентом пришлось значительно переработать написанное?

— Изменено пять страниц.

— Есть к дипломанту вопросы у членов комиссии?

Вопросов не было.

В соседней комнате я ждал решения Государственной экзаменационной комиссии.

Однако там, как стало известно позднее, единого мнения не было. Член комиссии молодой профессор З.В. Атлас, листая работу, обнаружил злополучные пять склеенных страниц, взял лезвие безопасной бритвы и успешно разъединил их. В первом варианте были обнаружены неточные формулировки и даже несколько ошибочных. Они были зачитаны. Поэтому три члена комиссии оценили диплом как удовлетворительный. Председатель М.И. Боголепов на основе свободного вступительного слова дипломанта, графиков и выводов счел дипломную работу самостоятельно

написанной, почти без помощи научного руководителя, содержащей элементы научного исследования и заслуживающей отличной оценки с плюсом. Все четверо твердо стояли на своих позициях и приняли решение считать диплом удовлетворительным, но в связи с тем, что в нем содержатся элементы самостоятельного научного исследования, рекомендовать дипломанту поступить в аспирантуру и работу в техникуме или на курсах повышения квалификации.

На следующий день возвратившийся Председатель принял меня, сказал, что в Орле на курсах по повышению квалификации есть свободная вакансия. Мне надо вернуться в Плавск и ждать вызова на работу в Орел.

Ликующий, во второй половине следующего дня возвратился я в Плавск. Сразу же встретился с управляющим, рассказал об успешной защите диплома и предполагаемом откомандировании меня в Орел. С хмурым видом все это выслушал управляющий. Сухо поздравил с защитой диплома и покачал головой:

— А мы в Ваше отсутствие получили несколько ругательных писем из Московской областной конторы. В частности, с упреками существенными и по кредитной работе. Значит, так... Годок погастролировали в Плавске, отрасли крылышки и теперь хотите полетать? А наше отделение Госбанка? Черт с ним? Буду категорически возражать против перевода Вас в Орел. Вам надо еще значительное время поработать в низовом звене на такой ответственной работе, как здесь. Кредитный отдел у нас не укомплектован. Работники слабые. Финансирование строек Комитета резервов происходит отсюда, а расположены они не в одной области. Шесть районных отделений Госбанка подчинены Вам по кредитованию крупных свиноводческих совхозов. Все планирование и выдачу огромных кредитных вложений и огромных же средств на финансирование оборонных объектов кому передадите? Нет подходящего человека. Повторяю, категорически буду возражать против перевода Вас из Плавска.

Шли дни. Неделя, вторая. Вызова не было. Я написал два письма. Одно — в Управление кадров Правления Госбанка СССР. Второе — в Отдел кадров Московской областной конторы. Ответа не было. Прошло два месяца. Нервничал. Напряжение нарастало. Работал в отделении усердно, готовясь одновременно к занятиям на курсах. Наконец, не выдержал и послал телеграмму в Московскую областную

контору: «Связи неполучением ответа выезжаю Орел не сдав дела».

Через два дня пришла телеграмма. «Управляющему Плавским отделением Госбанка. Предупредите Васильева случае отъезда без сдачи дел назначение Орел заменяется привлечением уголовной ответственности».

Передавая мне эту телеграмму, управляющий иронически улыбнулся. «Как видите, не все обстоит так просто, как Вам представлялось. Что будете делать?»

— Работать в Плавске до получения распоряжения. Надеюсь, у Вас нет оснований считать, что я стал трудиться хуже?

— Так-то оно, пожалуй, так. Серьезных претензий к Вам нет. Но надо бы Вам успокоиться и годок-другой поработать здесь.

А время все шло и шло. Я понимал, что в Орле давно уже шли занятия. Их вел кто-то другой. Луч света, который мне померещился, погас. Значит, надо готовиться к долговременной службе здесь. Неприятность не велика. Мысль, внушенная мне членом-корреспондентом Академии наук СССР об аспирантуре, которая раньше брезжила как мечта, почти несбыточная мечта, переросла в уверенность: надо целеустремленно идти к ней. Она достижима и зависит от себя самого.

# ВОСПОМИНАНИЯ ОПОЛЧЕНЦА

Дорогие мои земляки! Вспомните! Так, как вспоминаю каждый из нас о тех годах. Вспомните! Так, как вспоминаю каждый из нас о тех годах. Вспомните! Так, как вспоминаю каждый из нас о тех годах.

1941 1945

**ПУТЬ К ПОБЕДЕ**  
Военно-историческая экспедиция

50 лет  
**ПОБЕДЫ**

**СБОРНИК ПЕСЕН**



СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ  
ПОСВЯЩАЮ

*Г. Жуков*

Участнику  
Великой Отечественной войны  
Павлу Григорьевичу Васильеву  
в день 30 летия Победы  
9 мая 1975 года

**Г. К. ЖУКОВ**

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ



---

В памяти автора, добровольцем вступившего в Народное ополчение в первые дни Великой Отечественной войны, живы впечатления об очень тяжелых и важных событиях того времени. Память сохраняет их до «сегодня», до 1994 года, хотя и в несколько стершемся виде. Но и такими, думается, как документальный и исторический материал, они могут представлять интерес. Размышления о событиях войны с годами менялись, но атмосферу тех лет автору хотелось передать как можно более правдиво. Очень хочется верить, что эти воспоминания заинтересуют читателя.

\* \* \*

Аспиранты первого года обучения Московского Кредитно-экономического института напряженно готовились к сдаче кандидатского экзамена по философии. 22 июня рано утром, чтобы не мешали заниматься домашние на даче, где жила наша семья, я ушел в соседний лесок, забрав книги и конспекты. В середине дня, когда пора было идти обедать, я увидел бегущую ко мне жену, которая закричала: «Что ты тут сидишь до сих пор! Началась война!»

— Как? Какая война? Что ты такое говоришь?

— По радио сообщили, что немцы внезапно напали на нас. Объявлена всеобщая мобилизация.

Быстро схватил книги и конспекты. Скорым шагом пошли домой.

— Немедленно ехать в институт? Но ведь воскресенье. Нет. Поеду завтра утром. Сегодня буду продолжать готовиться к экзамену.

В понедельник ранним утром я выехал в институт. Он бурлил. Собрались все аспиранты нашего курса: будто по-

лучили вызов. Нас пригласили к профессору Д.С. Базанову — старому революционеру, возглавлявшему Тверской ревком в дни Октябрьской революции и многое с энтузиазмом рассказывавшему нам о событиях тех лет. Человек с большой и ярко-рыжей бородой и низким басом, он преподавал нам Диалектический и Исторический материализм. Очень взволнованно он объявил, что экзамен, время которого было назначено через несколько дней, перенесен не будет. Призвал нас его хорошо сдать и быть готовыми в ближайшее время встать на защиту Родины в армии. Выразил уверенность, что мы достойно выполним свой долг.

На общеинститутском митинге, в обстановке крайнего возмущения агрессией, нас призвали дать ей достойный отпор. Некоторые коммунисты уже тогда заявили, что пойдут на фронт добровольцами. Запомнилось выступление одной студентки, которая, рыдая, выразила желание идти на фронт добровольно и... призывала к этому других.

Через несколько дней после напряженной подготовки все аспиранты сдали на «отлично» кандидатский экзамен по философии. После объявления результатов экзамена профессор Базанов поздравил нас с окончанием первого года обучения. Сообщил, что скоро начнется формирование добровольческих дивизий Народного ополчения. Все семь аспирантов-мужчин (кроме них, на курсе были еще три женщины) выразили желание идти добровольцами. Но аспиранту, строевому командиру Каменщикову, пришла уже повестка из военкомата, и он был направлен под Смоленск.

Через несколько дней началось формирование 13-й стрелковой дивизии Народного ополчения Ростокинского района города Москвы. Говорилось, что ополченцам ставится задача обороны Москвы, а также осуществления режима военного положения и строительства оборонительных сооружений на территории Московской области. Каждый человек вносился в списки дивизии индивидуально.

Со слезами на глазах со мною беседовал секретарь парткома института. К нему присоединился член парткома доцент Егоров.

— Товарищ Васильев! В Народное ополчение направляются люди, способные носить оружие. Таким образом, контингент добровольцев более широкий, чем призываемых военкоматами годных к строевой службе. Считаете Вы себя способным носить оружие? Ведь Вы близоруки?

— Считаю способным, тем более что Народное ополчение связано с защитой Москвы и в него зачисляется более широкий контингент, чем мобилизуется в армию.

— Что зафиксировано в Вашем документе, выданном военкоматом?

— Освобожден по зрению со снятием с военного учета.

— Охотно вступаете в Ополчение или есть какие-либо колебания? Сомнения?

— Сомнений и колебаний нет.

— Какое примем решение?

— Направим в 13-ю Ростокинскую стрелковую дивизию Народного ополчения. Сегодня выдадим соответствующий документ. Завтра Вам необходимо явиться в школу, где формируется дивизия.

— Я живу за городом. Необходимо собраться. Могу явиться послезавтра?

— Конечно. Хорошенько соберитесь, но никаких лишних вещей брать не надо. Лишь смену белья. Хорошо бы найти или сшить заплечный мешок. В него положить все вещи, чтобы руки были свободны.

Утром назначенного дня я был у запертых ворот школы, где шло формирование дивизии. У открытой калитки стояли часовые. В школу мог войти любой. Из школы выйти — никто без пропуска. У ворот стояли и ходили несколько человек (в том числе доцент кафедры географии) с напряженными, испуганными лицами. Они не торопились войти в калитку, хотя имели на руках направления в дивизию. Я понял, что не каждый войдет в заветную калитку. Как позднее выяснилось, не вошли в нее и доцент кафедры географии, и один наш аспирант.

В комнате формирования военный с кубиками на воротничке гимнастерки сказал: «Сейчас формируется третий батальон первого полка. Направляю Вас в распоряжение комбата. Это недалеко отсюда, в соседней школе».

В школе меня встретил подтянутый, стройный военный, ниже среднего роста, с седыми висками и шпалой на воротничке гимнастерки. Внимательно прочитал направление. Внимательно осмотрел меня:

— Вы носите очки. Дайте их. Сильные очки. Какая диоптрия?

— Минус 14.

— Вы не пригодны к службе в армии. Что написано в Вашем военном билете?

— У меня нет военного билета. Есть освобождение от воинской обязанности.

— Мне нужны стрелки. Я не приму Вас в батальон. Возвращайтесь обратно. Скажите тем, кто Вас направил, чтобы не присылали мне людей, не годных к строевой службе.

В школе формирования дивизии командир обратился к своему соседу: «Что мы с ним (кивок в мою сторону) будем делать? «Комбат три» опять не принимает».

— Какое у Вас образование?

— Законченное высшее.

— Направим его на батарею полевой артиллерии. Там нужны образованные люди. Его быстро научат стрелять из пушки.

Получив направление, пошел искать артиллеристов, которые собирались в этой же школе. Командир-артиллерист, улыбчивый, приветливый, узнав, что у меня высшее образование, сказал:

— Нам нужны грамотные люди! Как хорошо, что Вас к нам направили. Будем жить дружно и хорошо служить. Мы собираемся в классной комнате на четвертом этаже. Идите туда.

Поднимаясь по лестнице, я услышал:

— Васильев! Ты куда идешь?

Ко мне бежал, улыбаясь, один из наших аспирантов.

— Да вот, меня в артиллеристы направили, в полевую артиллерию.

— Стой! Не ходи. наших в артиллерии никого нет. Иди к нам в связисты. Там несколько человек из института. У нас не укомплектован радиовзвод. Ты в электротехнике что-нибудь понимаешь?

— Электротехнической специальности не имею. В школьные годы радиоприемник изготовил, и он действовал.

— Так это прямо находка для нас. Пойдем к командиру роты связи лейтенанту Дризику. Он — белорус, хороший мужик. Политрук роты — доцент нашего института, старший политрук Кац. Они сразу оформят твое зачисление к нам — в роту связи. Будешь среди своих. К тому же прямая связь с командованием полка. Идем со мной!

— Неудобно. Я же направлен в артиллерию.

— Пустяки какие. Ты еще до батареи не дошел. Тебя там и не хватятся. Идем к командиру роты. Представься ему по форме. Он это любит. Обращайся да скажи, что в школе был радиолюбителем, своими руками приемник сделал.

В классе, где формировалась рота связи, приятное впечатление производил высокий, стройный лейтенант. Выслушав обращение, лейтенант приказал:

— Зачислить в радиовзвод. А теперь — отдыхать. Вы только что приехали. Делом будете заниматься завтра.

С командиром радиовзвода Чернявским сразу же установились уважительные отношения.

На второй день в коридоре мы встретились с командиром-артиллеристом.

— Куда Вы девались? Мы с ног сбились, разыскивая Вас. Хотели уж объявить пропавшим, рапортом.

— Да я своих ребят встретил из института. Они все в связистах. Зачислили в радиовзвод и меня.

— Нет, так не пойдет. Где связисты находятся? Пойду потребую, чтобы Вас вернули обратно к нам. Идемте вместе.

— Товарищ лейтенант! Зачем Вы нашего артиллериста к себе в связь сманили? Так не пойдет.

— Кого я сманил? Ах, этого, Васильева? Так он радиолюбитель. А у меня радиовзвод не укомплектован. Где их найдешь, радистов? Он мне позарез нужен.

— Он направлен к нам в артиллерию. Верните его нам. Добром не вернете — командиру полка пожалуюсь.

— Уж так и командиру полка? Давайте решим вопрос полюбовно. У меня несколько человек его знакомых из института. Мой замполит его знает. Давайте его желание окончательное спросим. Вы в связь или в артиллерию?

— В радиовзвод.

— Уважим его желание? Будем друзьями.

— Ладно, я его направление к нам порву.

Утром третьего дня службы была объявлена боевая тревога. Нас построили во дворе школы. Открылись ворота, и одетые в гражданское ополченцы отправились в неизвестном для них направлении. Конечно, ни мы, ни родственники не ожидали столь быстрой перемены.

Скоро по рядам колонны стали пробегать реплики, что идем за город на станцию Жаворонки. Шли быстро, с небольшими привалами. Те, кто захватили с собой много вещей, вынуждены были их бросить. Изредка на обочине дороги появлялись выброшенные чемоданы. Когда в конце дня мы пришли на станцию Жаворонки, одному больному сердечнику-ополченцу стало плохо, и он умер. После этого случая некоторых стали освобождать по состоянию здоровья.

Затем мы передислоцировались на станцию Нахабино. Там, в лесочке, в шалашах, затем в землянках расположились, стали вести занятия по овладению военным делом. У нас появились радиостанции. Вначале тяжелые и плохо работающие батальонные, на которых было очень трудно устанавливать надежную радиосвязь. Затем — радиостанция среднего бомбардировщика, очень хорошо работавшая и надежная, но без приборной доски и ящика для перемещения. Каждый раз при передислокации с одного места на другое такую радиостанцию приходилось разбирать и вновь монтировать, что было крайне неудобно. Устойчивую радиосвязь в ходе передислокации установить было невозможно.

Переодели нас в военное обмундирование: необычно темного защитного цвета гимнастерку и брюки, прочные тяжелые ботинки, обмотки, которые мы называли «баллонами». Они плохо держались на ногах и съезжали. Тогда мы добродушно подсмеивались друг над другом: «Эй, у тебя баллон спустил. Выходи из строя перематывать».

Выдали длинную кавалерийскую шинель, пилотку со звездочкой. Каждый пришел себе беленький подворотничок и зелененькие полоски для знаков различия на воротничок гимнастерки. Нашу гражданскую одежду собрали в кучу. Сказали, что ее отвезут на завод «Калибр», где формировался первый батальон нашего полка: «Родные пусть придут и возьмут вашу одежду. Напишите им».

Мы получили польские кавалерийские карабины, к которым не подходили патроны от русских винтовок, и можно было пользоваться только трофейными патронами, взятыми в Польше в ограниченном количестве. Штыки-ножи от такого карабина нужно было носить на поясном ремне в кожаном футляре. Когда штык был закреплён на стволе карабина, из карабина нельзя было стрелять. Каждый получил по французской гранате и запалу к ней, который надо было носить в карманчике гимнастерки, по 120 патронов. По стеклянной фляге для воды, неприкосновенному запасу сухарей и других продуктов в заплечной сумке. В дивизии и полках была французская артиллерия, к которой так же, как и к карабинам, не подходили снаряды для отечественных пушек, и нужно было пользоваться снарядами, полученными в Польше.

Первоначально каждому ополченцу или его родным выдавалась полностью заработная плата или другая форма

оплаты (например, стипендия), которую он получал перед уходом в армию. Затем стало выдаваться денежное довольствие, которое определялось в соответствии с воинской должностью и званием.

Нас предупредили, что дневники вести запрещается, делать записи — также. Наказание — вплоть до привлечения к суду Военного трибунала. Письма должны быть краткими, без указания места расположения части, в форме треугольников без марок. Они проверялись военной цензурой.

Вскоре неожиданно стало звучать (и это неоднократно повторялось) кощунственное, пародийное, издевательское церковное песнопение. Откуда оно взялось? Зачем? Выяснилось, что 22 июня после обедни в Елоховском патриаршем Богоявленском соборе было объявлено, что будет молебен о даровании победы Красной Армии. Молебен служил соборный Патриарх Московский и Всея Руси Сергей. Редакция журнала «Безбожник» от большого ума решила отреагировать на это событие и в очередном номере поместила карикатуру. Цензор, к которому был направлен журнал, схватился за голову и побежал в Центральный Комитет партии. Последовало решение: номер журнала конфисковать. Редакции же рекомендовать в полном составе вступить в Народное ополчение. Она была направлена в первый полк нашей 13-й стрелковой дивизии. Давнюю привычку заниматься кощунственными церковными песнопениями искоренить, к сожалению, не пытались. Солдаты соседних подразделений вначале недоумевали, услышав это пение, удивлялись, затем привыкли. Озорники же с постоянством, достойным лучшего применения, упорно кощунствовали.

Нас привели к присяге. Опять была объявлена боевая тревога. Узкими, длинными колоннами по четыре человека мы выходили из лесочка к станции Нахабино, на путях которой стоял состав из товарных вагонов. Быстро погрузились и поехали ранним утром в направлении к Волоколамску. Двери вагонов были широко открыты. Мы наслаждались густым запахом цветущих лугов. Редкие прохожие на дорожках останавливались, напряженно и грустно смотрели на мчащийся эшелон. У самого края луга стояло трое ребяташек: две девочки и совсем маленький мальчик. У девочек были в руках маленькие букетики полевых цветов. Они старались забросить их в открытые двери вагонов. Солдаты старались их поймать. Конечно же, девочек никто не учил



так приветствовать нас. Но даже маленькие дети понимали, что происходит что-то страшное. Стремилась вдохновить нас, ободрить, пожелать нам счастья сохранить жизнь.

Мы разгрузились вблизи Волоколамска и сразу же включились в работы по сооружению оборонного рубежа, начатые гражданскими лицами, главным образом — москвичами. Они были в старой, местами оборванной одежде, часто грязной, — усталые и истощенные. Не одну неделю они трудились здесь. Радостно встречали они нас, свою смену. Сразу же несколько аспирантов и студентов были вызваны к полковому инженеру.

— Проектно-строительная документация нашего оборонного рубежа не в порядке. Карт, где размещаются начатые сооружения, нет. Попробуйте сделать карты. Размножьте планы сооружений. Нанесите расположение в них оружия. Сделайте это быстро. Работайте до поздней ночи столько дней, сколько понадобится. Место пребывания — эта землянка. Без моего разрешения не выходить, карт и чертежей не показывать. Когда вернетесь в свои части, о том, что делали, не рассказывать. Сможете сделать карты?

— Сможем. Получатся некрасивые, но довольно точные.

На третий день вбежал какой-то высокий потный чин с тремя шпалами и бегающими серыми глазами.

— Покажите чертежи сооружений. Та-а-ак.

— Мы попытались сделать и карты местности, где расположены оборонительные сооружения. Получились некрасивые, но довольно точные.

— Кто разрешил! — раздался грубый окрик.

— Никто не разрешал. По своей инициативе.

— Уничтожить!

— Карты очень нужны. Нецелесообразно их уничтожать. Их используют несколько человек каждый день, — возразил полковой инженер.

— Я сказал: «Уничтожить».

— Васильев! Соберите и уничтожьте карты.

Я выполнил приказ.

Через несколько дней мы получили замечательно изготовленные карты данной местности. Должность и фамилию сердитого начальника, приказавшего уничтожить наши примитивные карты, я не узнал.

Шли дни, недели. Мы напряженно работали над сооружением огневого рубежа.

Одновременно велась строевая подготовка. Учились стрелять боевыми патронами. Я не видел мушку и в очках. Постоянно промахивался. После выяснения плачевных результатов моей стрельбы командир роты пытался меня ободрить, выражая надежду, что «дело поправится», но в его тоне не было уверенности. Понемногу мы научились быстро одеваться, свертывать шинель в скатку, сносно ухаживать за оружием, содержать его в порядке. Приобрели навыки строевой службы.

Однажды произошло следующее. У обочины полевой дороги, по которой мы шли, стояла легковая машина, а рядом с ней командир довольно высокого ранга. Мы подтянулись, легче стал шаг. Последовала команда петь. Командир внимательно смотрел на нас и, когда мы прошли, приказал остановиться.

— Спасибо за службу. Пели плохо, но старались.

Вечером одного из теплых летних дней в роту связи прибежал посыльный и передал мне приказ явиться к командиру полка, майору, награжденному орденом Красного Знамени за финскую кампанию. Когда я доложил о своем приходе, командир полка махнул рукой в направлении инженера полка.

— Поступаете в распоряжение инженера полка.

— Надо срочно снять копии с совершенно секретных документов. Три копии. Документы лежат на моем столе. Садитесь и напряженно работайте. К утру копии должны быть готовы.

На столе лежала карта с начерченным путем движения полка. Путь пересекал границу Московской области и углублялся далеко по территории Смоленской — к Ярцеву. Получалось, что от места нашего расположения до пункта назначения он составляет более 300 километров, и пройти его надо было за пять дней, то есть каждый суточный переход солдата с полной боевой выкладкой равнялся примерно 60 километрам. Невероятно большая нагрузка!

К рассвету следующего дня три копии были готовы. Полковой инженер, внимательно рассмотрев их, остался доволен и приказал доложить о выполненной работе командиру полка. Выслушав мое сообщение, он посмотрел пристально мне в глаза, приложил палец к губам и тихо произнес:

— Никому. Благодарю. А теперь можете идти в роту.

После бессонной ночи я медленно шел, вдыхая полной грудью ароматный воздух прохладного летнего утра, любовался ярким розовым рассветом. Доложив о своем возвращении, я лег поспать. Но это не удалось. Прозвучали команды подъема, построения. И мы пошли. О пути и времени движения знали единицы. Днем прятались в лесу от немецких самолетов. Переходы совершали ранним утром, поздним вечером и ночью. Жители населенных пунктов, через которые мы проходили, встречали нас в любое время — ночью и днем. В основном женщины — с серьезными, напряженными, тоскующими лицами, стояли они у самых наших рядов, безнадежно стараясь отыскать в проходящих фигуру знакомого человека. Но таких не оказывалось. Мы были из далекой Москвы.

Впереди маячило свернутое знамя полка. Перед входом в крупные населенные пункты его развевали, и оно колыхалось ярким всплеском красного пламени.

Меня невзлюбил старшина-сверхсрочник, окончивший лишь начальную школу, малокультурный человек. Он делал обидные замечания, придирался, показывая свою власть. Однажды в ответ на его реплику я сказал, что если бы он знал меня, то не делал бы таких выкриков.

— Я знаю Вас. Вы научный сотрудник, но плохой солдат.

— Вот и выходит, что Вы ничего не знаете.

Однажды грубая реплика в мой адрес прозвучала на марше в присутствии старшего политрука.

— Товарищ старшина! Зачем Вы без толку придираетесь, особенно на марше, когда люди сильно утомлены. Не делайте этого.

А утомление сказалось уже на второй день. Некоторые стерли ноги, за что получили строгие замечания. На третий день солдаты стали падать, не могли встать. Их подвозили на машине до конечного пункта дневного перехода. На четвертый день я почувствовал, что гимнастерка под ремнем, на котором было навешано много предметов, прилипает к животу. Стало больно. На привале я ослабил ремень, сдвинул его и увидел, что через весь живот поперек проходит красный, кровоточащий в нескольких местах рубец, к которому прилипла гимнастерка. На пятый день примерно каждый третий уже не мог идти. Одних подвозили. Другие оставались и полулежали сбоку колонн. Несмотря на сильную боль в ногах и стертом животе, я продолжал идти. Мимо нас проезжали

пушки, на которых сидели артиллеристы. Проезжали машины, нагруженные снарядами. Я жалел, что ушел из артиллерии в связь, не предполагая, что этот переход спас мне жизнь (почти все артиллеристы погибли, а пушки были захвачены немцами).

Необходимость столь напряженного марша появилась в связи с высадкой немецкого десанта в тылу нашего фронта около Ярцева, где поблизости не было наших войск. Ко времени подхода нашего полка десант был уничтожен другими, ближе расположенными к нему частями армии. Полк остался вблизи Ярцева. Шла напряженная работа по строительству землянок, блиндажей, сооружению оборонительного рубежа, совершенствованию боевой подготовки. Работа на радиостанциях. Было установлено круглосуточное дежурство, обеспечивающее надежную связь полка с дивизией и батальонами. Радистам не разрешалось во время дежурства снимать наушники, телефонистам — отходить от трубок телефонных аппаратов. Ежедневно сменялось дежурство связистов полка в батальонах. Наступила моя очередь дежурства, и я получил направление в третий батальон. Там мне встретилась знакомая подтянутая, стройная фигура усталого «комбата три». Выслушав мой рапорт о прибытии на дежурство, он спросил:

— Вы что-нибудь ели? (Было время обеда.)

— Я завтракал.

— Сухой паек получили?

— Нет.

— Опять одно и то же! Соедините меня с ротой связи.

— Вас слушает замполит Кац. Товарищ комбат, приветствую Вас. Как работает связь?

— Плохо работает.

— В чем недостатки работы связи?

— Разве Вы сами не понимаете? Для того чтобы Вы хорошо меня слышали, я должен почти кричать. А если бой? Стрельба? Мы услышим друг друга? Надо повышать силу звука, ясность дикции, не допускать хрипов.

— Будем стараться улучшить работу связи.

— Вы плохо относитесь к своим представителям в батальонах. Сейчас обеденное время. Пришедший ко мне Ваш представитель Васильев не пообедал, не получил сухого пайка. Почему?

— Так накормите его.

— Конечно, накормим. Дадим ему и обед, и ужин, и завтрак. Должны же все это делать вы. Вы получаете соответствующее пищевое довольствие и не исполняете своих обязанностей.

Да! «Комбат три», как всегда, был прям. Резко критиковал недостатки. Был далек от показухи, которая была принята тогда на каждом шагу, особенно в тыловых частях армии и «на гражданке». Не терпел лживых молодецких рапортов. За это его не любило вышестоящее начальство, не продвигало. В полку все время происходило перемещение людей. Вливались мобилизованные военкоматами солдаты, годные к строевой службе. Зачисленные первоначально рядовыми, строевые командиры и политработники перемещались на соответствующие их званию должности в других подразделениях.

Велись разговоры о вступлении в партию. Первый разговор об этом со мной начал старший политрук Кац. Я ответил ему, что дело партии — родное мне дело, я охотно подаю заявление, но что я был судим Военным трибуналом МВО по статье 58, пункт 12: о «недоносительстве». Осужден на год исправительно-трудовых работ. Отбыл наказание с зачетом предварительного заключения. Подал заявление в Верховный Совет о снятии судимости (вместе с положительной производственной характеристикой), но ответа еще не получил. Следует ли подавать заявление о приеме в партию? Ведь положительный ответ более чем проблематичен.

— Решим этот вопрос так. Вы напишете письмо в партийную организацию или одному-двум партийцам предприятия, где Вы работали заведующим Плановым отделом, с просьбой выслать рекомендацию через райком партии. Я в Ваше письмо вложу коротенькую положительную характеристику как политрук. По получении ответа вернемся к этому делу. Я Вам дам рекомендацию как член партийной организации института. Переговорите с секретарем нашей партийной организации, рядовым роты, по званию — батальонным комиссаром Шейнманом.

Мнение Шейнмана совпало с советом политрука. Письмо в партийную организацию предприятия, где я работал, ушло. Как выяснилось позже, письмо пришло на фабрику. Заверенная рекомендация через Люберецкий райком партии была выслана в Действующую армию, и там она затерялась.

Вскоре произошло событие, которое чуть было не перевернуло мою жизнь. На митинге штабных подразделений полка политработник высокого ранга, авантюрист, призвал нас к годовщине Октябрьской революции выгнать немцев за пределы нашей страны.

Я понимал, что война будет долгой и очень трудной, этот призыв невыполним. Поэтому попросил разрешения у политрука роты переговорить с ним конфиденциально.

— Слушаю Вас.

— Как Политуправление разрешает обращаться к нам с такими авантюристическими призывами? Они принесут огромный вред. Надо по-другому, правдиво вести агитационно-пропагандистскую работу в армии.

— Вы кому-нибудь, кроме меня, высказывали это мнение?

— Нет, никому не высказывал.

— Хорошо. Очень хорошо. Теперь внимательно слушайте меня. Если бы Вы аналогичным сказанному мне поделились еще с кем-нибудь, я должен был бы сообщить об этом в политдонесении. Вас бы немедленно отдали под суд Военного трибунала, который в закрытом заседании вынес бы суровый приговор. Теперь запомните. Вы у меня не были. Мне ничего не говорили. Я Вас не видел. Ни о чем с Вами не разговаривал. По существу же дела я понимаю, что Вы правы. Политработу в армии надо коренным образом перестраивать. Но не Вам и не мне поднимать этот вопрос. Лучшее, что нам остается в этой обстановке, — промолчать. Вам же необходимо продумывать каждый свой шаг. Все мы теперь идем по лезвию ножа. Каждый неверный шаг может стать роковым, особенно для Вас, уже побывавшего под судом Военного трибунала. При этом надо иметь в виду, что иногда кажущиеся с первого взгляда неправильными призывы, поступки, особенно в боевой обстановке, приводят к неожиданным положительным результатам. Все.

Через несколько дней у молоденького солдата шестнадцати лет, идеалиста по складу, очень просившегося в Ополчение и принятого в стрелковую роту в порядке исключения, пропала винтовка. Он очень тяжело переносил непосильную для него нагрузку строевого солдата. На одном из переходов на привале он заснул, положив рядом с собой винтовку. Когда проснулся, ее не оказалось, и найти не удалось. Паренька отдали под суд Военного трибунала и осудили на семь лет заключения, но

исполнение приговора отложили на неопределенное время, поскольку осужденный был в Действующей армии. Предоставили командованию части право ходатайствовать — при хорошем несении службы — о снятии судимости. Командир батальона направил его из строевой роты на кухню, которая кормила нас. Там он без ремня служил с большим старанием.

Скоро меня вызвал командир роты.

— Из штаба фронта пришло требование направить во фронтовой 553-й Особый учебный батальон связи одного радиста для переподготовки. Решили направить Вас. Сегодня же отправляйтесь в село Пречистое к новому месту назначения.

Тепло попрощался с радистами, особенно с командиром взвода Чернявским, рекомендовавшим меня на новое место.

Учебный батальон разместили в бывших животноводческих помещениях совхоза. Застелили полы свежими белыми тесинами, построили ряды двухэтажных нар. Контингент обучающихся был очень пестрым, начиная с побывавших в боях фронтовиков, пожилых ополченцев, и кончая молоденькими солдатами, полными сил, мобилизованными военкоматами. Ребята эти выкидывали разные коленца, были непривычны к строгой воинской дисциплине. У некоторых бывших фронтовиков обнаружили вши. Срочно стали мыться, пропаривать одежду в «вошебойках». Комбат громко орал на построениях о «позоре вшивому батальону».

Преподавали опытные радисты, прошедшие тяжелую школу кратковременных боев. Занятия шли очень напряженно. Личного времени у учащихся не было. Готовили в ротах связистов разных специальностей: радистов, телефонистов, телеграфистов, работников на аппаратах Бодо, которые были на крупных узлах связи. Главное внимание при подготовке отводилось привитию навыков передач и приема радиogramм по азбуке Морзе на слух. Такие тренировки велись ежедневно по несколько часов. Ежедневная физическая и строевая подготовка при более скудном питании по сравнению с фронтовыми частями Действующей армии приводила к потере жирка, укреплению мускулов, стройности солдат.

Такая наша жизнь длилась недели две. В начале октября, числа четвертого-пятого, в Пречистом стала слышна канонада. Ее звуки быстро перемещались. Вначале они слабо

долетали откуда-то спереди, перемещались влево, наконец, отчетливо стали слышны сбоку и даже сзади. Офицеры батальона стали бегать в разных направлениях. Начались соби́рание и погрузка аппаратуры связи. В батальоне нарастали напряжение, нервозность. Была объявлена боевая тревога. Поздно вечером батальон был построен и двинулся в тыл, откуда уже ясно была слышна пушечная стрельба. На марше из строя было вызвано несколько опытных радистов, которые побежали обратно. Позади вспыхнуло яркое пламя. Горели подожженные помещения сохроза, где только что располагался наш батальон. Напряженно лесными, полузаросшими дорогами шли всю ночь. Постепенно канонада все больше оказывалась сбоку. Впереди ее уже совсем не было слышно. Батальон выходил из полуокружения. На рассвете очень усталые в строй нашей роты встали двое из опытных радистов, вызванных на марше. Они сбивчиво рассказали, что на автомашине с радиоаппаратурой они были направлены в полуокруженные части для установления радиосвязи. Напоролись на немецкие разьезды, взорвали машину и с трудом догнали батальон. Им предстояло объясняться в особом отделе о причинах невыполнения приказа.

После нескольких тяжелейших переходов (один из них был равен семидесяти километрам в сутки) батальон был остановлен и расформирован. Часть, в которую входил и я, была направлена в 17-ю стрелковую дивизию Народного ополчения. Крайне усталые, грязные, мокрые, морально подавленные, мы остановились дождливым осенним днем на привал в Тарутине у памятника павшим в Отечественной войне 1812 года. На вершине памятника тускло поблескивал позолоченный орел. В то время и до рядовых солдат фронта доходили смутные, неясные сведения о талантливом генерале армии Г.К. Жукове, которому сопутствовал успех. Позднее стало ясно, что это искуснейший, выдающийся полководец.

И в студенческие годы, и в аспирантуре по временам у меня отрывочно иногда складывались стихи. Многие из них были порождены тяжелыми, даже трагическими событиями моей жизни, проникнуты тоской. Критичны. При прочтении недоброжелательными людьми они могли принести мне много вреда. Поэтому я их почти никогда не записывал, даже абсолютно безвредные с официальной точки зрения. Удачные же старался запомнить.



Вот что сложилось в моей голове в октябре 1941 года у памятника в Тарутине.

Шинели намокли. О, как далека  
Дорога разбитых остатков полка.  
Я голову поднял. Смотрю, предо мной  
На шпиле сияет орел золотой.  
Могучий, спокойный, он смотрит вперед:  
Когда-то свершался далекий поход.  
И будто он шепчет: «В пучине веков  
Я видел немало, как ваши, полков.  
Как вы, отступали они. Но потом,  
Оправившись, в битву вступали с врагом  
За землю родную, за славу и честь.  
И воля, и смелость у честного есть».

И будто я вижу, что есть, но другой,  
Могучий, как этот, орел, но — живой.  
Он мыслит глубоко и смотрит вперед.  
Я знаю, задуман великий поход.  
Да! Трудностей много. Не счесть и потерь.  
Но, друг мой, в победу ты искренне верь!  
Немного из нас к той победе придет,  
Но подвиг бессмертный  
Народ воспоет.

Сочиненное стихотворение я читал своим однополчанам. Они его внимательно слушали. Некоторым, видимо, содержание стихотворения, его пафос были по душе. Никто из слушавших — усталых, намокших, подавленных — мне ничего не сказал.

На следующий день меня направили в роту связи сильно поредевшего полка 17-й стрелковой дивизии, расположенной на территории Угодскозаводского района Калужской области. Вечером следующего дня стали поговаривать, что поставлена задача ночью отбить Белоусово, захваченное немцами. Это было мое дежурство на телефонной станции. Долгое время от Белоусова, куда вышла штурмовая группа, не долетало ни звука. Проволочная (телефонная) связь с атакующими была постоянной. Наконец, в телефонной трубке послышалось: «Примите рапорт. К Белоусову подошел. Белоусово окружил. Белоусово взял. Немцев в Белоусове не оказалось. Обнаружен поваленный забор. Остались следы гусениц немецких танков».

Немецкое наступление продолжалось, но замедленными темпами. Обе стороны несли большие потери. Отсту-

пая, 17-я дивизия многократно наносила встречные удары. Ее части просачивались в порядки наступающих немецких частей, наносили фланговые удары, иногда заходили в тыл небольших наступающих немецких частей.

На четвертый день боев после нашего прибытия поредевший полк был соединен с другими подразделениями дивизии и получил название «сводного полка». Из разросшейся роты связи несколько человек, в том числе и я, были направлены в ослабленную стрелковую роту. Мы получили металлические каски, теплые шапки, рукавицы с отдельно сделанными указательными пальцами, удобные для стрельбы в морозное время. Польские карабины были заменены отечественным оружием.

Командиром отделения стрелковой роты, в которое меня направили, был Прошкин — очень меткий стрелок, но туповатый, туго соображающий и плохо понимающий команды человек. Большинство солдат взвода состояло из молоденьких пареньков-ополченцев, еще не прошедших первоначальную службу по призыву. Они тяжело переносили тяготы службы в Действующей армии. Отделение было размещено у подножия возвышенности, на которой расположилась маленькая деревушка, в окопах полного профиля. Отдельные ячейки, где солдат помещался стоя и виднелась только его голова, не были связаны между собой ходами сообщения, что было очень неудобно, когда надо было передать горячую пищу, ежедневные «сто грамм», приказы командира. Боец чувствовал себя одиноким и незащищенным. На дне окопа скапливалась вода, ее приходилось вычерпывать котелками для пищи и выплескивать наружу. Солдаты оставались в окопах и ночью, спали полусидя.

Ни днем, ни ночью я не снимал ни очков, ни каски. Проснувшись в первую же ночь, я почувствовал, что ступни ног потеряли чувствительность. Вода в окопе поднялась выше щиколоток. Ботинки и низ обмоток были в воде. Стал черпать и выплескивать воду наружу, зная, что она скоро вернется в окоп. Полы длинной кавалерийской шинели были мокры и желты от налипшей глины.

Командиром сводного полка был весьма пожилой, полный, медлительный военный, редко покидавший командный пункт. Мы его почти не знали. Фактически полком командовал начальник штаба — сухопарый, подтянутый, быстрый в движениях. Казалось, он не спал: то на лошадке, то пешком появляясь в низовых подразделениях полка на самой передовой линии, отдавал четкие приказания. Полк был мобилен.

В середине третьего хмурого осеннего дня моего пребывания в полку связной потребовал командира отделения к ротному.

— Пойдем со мной. Хорошенько слушай и запоминай приказания, — кивнул взводный в мою сторону.

Часовой не пустил меня в землянку ротного.

— Только командиров взводов. Кому сказано?

Из землянки ротного командир отделения выскочил обозленным:

— Ни черта не понял, что надо делать!

— Переспросить у ротного, чтобы растолковал?

— Иди ты к... За мной!

Взвод был поднят.

— По одному за мной!

Шли цепочкой, молча, скорым шагом меж редких кустов, без дороги.

Вдруг последний в цепочке закричал:

— Прошкин, стой!

— Что там?

— Бежит ротный. Стреляет из автомата.

Прошкин, а за ним и весь взвод цепочкой пошли навстречу ротному, который, запыхавшись, подбегая, кричал:

— Куда ты, сукин сын, ведешь отделение? Ты к немцам ведешь! Вот там за поворотом их передовая. Прямо под их огонь ведешь! Тебе что было приказано? Идти в боевом охранении в прямой видимости слева от роты! А ты куда свернул? Застрелю! — и тыкал автоматом в грудь Прошкину.

— Не понял!

— Приказ я отдал ясно. Надо было спросить разъяснения, если не понял! Быстро нагоняйте роту и идите слева от нее на расстоянии прямой видимости как боевое охранение!

Вскоре показались строения окраины Угодского Завода. Когда мы подошли к его центру, то увидели, что двери магазинов и складов были открыты. Мы стали заходить и набирать продукты. Я набрал в котелок хрустящих, душистых соленых огурцов. Вошли в отведенное нам на ночлег здание школы. В одном из классов в углу почти до самого потолка валялись в беспорядке книги из школьной библиотеки. На полу в разных местах были разбросаны удостоверения об окончании школы — заполненные, подписанные, с приложенными печатями. Ученики и их родители были так по-

давлены быстрым наступлением немцев, что не получили эти важные документы.

В ворохе книг верхней была «Война и мир» Л.Н. Толстого, первый том. Я поднял и наугад раскрыл его: «Пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дороги, по горам, в бурную ночь сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голлабрун на венско-цнаймскую дорогу несколькими часами прежде французов, подходивших к Голлабруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат удерживать в продолжение суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что было, очевидно, невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным»<sup>1</sup>.

Я вспомнил недалекое прошлое: как мы прошли к Ярцеву за пять суток около трехсот километров, потеряв отсталыми каждого третьего, и еще позже за сутки прошли около семидесяти километров с полной боевой выкладкой. Читая гениальные строки Толстого, я не мог и приблизительно представить меру усталости солдат Багратиона, их выносливости и мужества. Для того чтобы ощутить степень страданий и мужество солдата, надо побывать в его шкуре, самому пережить то, что пережил он. Томик «Войны и мира» я положил в заплечный мешок и долго носил с собой.

Ранним утром следующего дня мы были опять в походе. Шли лесной дорогой, заросшей местами пожелтевшей некошеной травой и мелким кустарником. Низкое осеннее солнышко ласково пригревало нас. Пожелтевшие осенние листья начинали опадать и что-то неразборчиво шептали, покачиваясь под слабенькими порывами ленивого осеннего ветерка. Иноходью по обочине дороги проехал неутомимый начальник штаба полка. Из коротких солдатских реплик, пробежавших по рядам, стало известно, что идем мы в тыл к немцам освобождать занятую ими деревушку Грачевку. На одном из коротких привалов, сидя под кленом с ярко-желтыми осенними листьями, наблюдая их редкое медленное падение, думал, что многие из нас скоро уйдут в небытие, как эти красивые листья.

---

<sup>1</sup> Толстой Л.Н. Собр. соч. в 12 томах. Т. IV, М., «Худож. лит.», 1958. С. 217.

К вечеру дорога привела нас к узкой речушке, на берегу которой притулилась Грачевка. Неслышно мы стали накапливаться между частыми кустами лесной опушки, совсем близко от крайних домиков. Даже мне, близорукому, были ясно видны минометы размещившейся батареи и ничего не подозревавшие немногочисленные немецкие солдаты. Казалось, один-два неожиданных броска — и минометы и деревушка будут наши. Это понимал каждый и с нетерпением ожидал команды.

Вдруг позади нас в лесу раздались пулеметные очереди. Немцы прытко выскакивали из крестьянских избышек, бросались к минометам, нацеливая их на лес и опушку, на которой залегли мы. Они вскидывали автоматы на изготовку, плюхались на землю, образуя реденькую цепочку для обороны. В наших рядах стали раздаваться выкрики: «Измена. Бежим».

Ни командира отделения, ни взводного, ни ротного поблизости не оказалось. Напрасно мы звали командира отделения Прошкина. Никто не отзывался. Когда близко от меня кто-либо вскакивал, бежал, я кричал: «Стой! Ложись! Держись вместе, кучнее!»

Позади нас по окраине деревушки начали стрелять длинными очередями два-три пулемета. Мои призывы к отдельно бегущим не остались тщетными, особенно для молоденьких солдатиков. Они стремительно падали. Медленно, с остановками ползли в мою сторону. У каждого в руках было личное оружие. Из деревни прозвучало несколько минометных выстрелов. Осколками разорвавшихся мин срезались сучья и стволы сосен. Я понял, что надо отходить организованно, хотя бы небольшой группкой. Моя команда: «Отходить! Короткими перебежками! Группой! К дороге, по которой пришли!» — выполнялась.

Близко справа очередями бил пулемет. Приказав продолжать движение к дороге, я побежал к пулемету. Один пожилой пулеметчик упорно бил по верхушкам сосен. Упав рядом с ним, я закричал:

— Куда бьешь? Зачем?

— Кукушка!

— Сам ты кукушка! Какие кукушки? Где они? Отходи вместе с нами к дороге, по которой пришли. Ведь ты один. Тащи свой пулемет и патроны.

Впереди завиднелась небольшая полянка. На ней полусидело-полулежало около десятка солдат, которые под-

жидали нас. Валялось несколько пулеметов Дегтярева, несколько дисков патронов и металлических коробок с патронами.

— Товарищ командир! — обратился ко мне солдатик. — Видите, побросали пулеметы и патроны к ним. Надо бы все это взять, но мы не сможем унести.

— Каждому, кроме личного оружия, взять по пулемету Дегтярева. Остальным взять патроны, кто сколько может унести. Медленно пойдём к дороге, по которой пришли сюда, и далее по ней. Ведь нас никто не преследует. Там наверняка найдем своих.

Потные, крайне усталые, мы медленно брели, пока не натолкнулись на группу солдат во главе с командиром с двумя кубарями. Решили остановиться на ночлег. В сумерках появился очень худой и бледный, как бумага, военный, назвавшийся «комбатом один». Он выяснял, откуда у нас пулеметы, и требовал возвращения их. Очень усталые и злые молоденькие солдатики наотрез отказались вернуть собранное. Когда комбат, повысив голос, приступил к одному из солдат, тот, вскинув карабин, крикнул: «Отойди. Застрелю».

Очень расстроенный, комбат ушел. На следующий день он был смещен с должности и разжалован.

После выяснились причины неудачи освобождения Грачевки. Кроме лесной дороги, по которой мы подходили с тылу к этой деревушке, была еще одна лесная дорога из другой деревушки. Командир, готовивший операцию, приказал роте солдат оседлать эту дорогу с пулеметами и выслать по ней разведку, чтобы в случае появления немцев своевременно предупредить засаду. Разведка вовремя обнаружила идущий в Грачевку обоз примерно из двадцати подвод с минами и другим имуществом. Были направлены связные к засаде на дороге, которые успешно, скрытно и вовремя предупредили о приближении обоза. Вторая группа связных, направленная к готовящимся атаковать Грачевку, решила спрямить свой путь, запуталась в лесу и не нашла нас. Засада же открыла пулеметный огонь по обозу, перебила охрану, захватила обоз. Эта успешная операция была воспринята нами как нападение с тыла и вызвала панику.

На следующий день отошедшие части батальона были приведены в относительный порядок: восстановлено командование рот, взводов и отделений, собрана большая часть солдат, рассыпавшихся по лесу. Нас никто не преследовал. В

нашем отделении сохранилось большинство солдат. Были назначены новый «отделенный», «взводный» командиры. Мы дня два стояли в обороне, заняв линию окопов. На третий день рядом с нами послышалась оживленная стрельба. Немцы опять перешли в наступление. Чувствовалось нарастание напряженности боя. Казалось, что вот-вот... и мы в него включимся. После обеда позади нас послышались странные, раньше мне незнакомые звуки: «Ууу... ууу... ууу.» Затем уже впереди и сбоку: «Бах-бах-бах-бах» — будто часто-часто рвались снаряды.

— Что такое?

— Катюши. К нам переброшены. Новое страшное, очень сильное оружие. Перебрасывается с одного места на другое. Где жарко, тяжелый бой. Даст залп-другой по немцам — и на новое место, — сказал мой сосед, пожилой солдат.

Сводный полк нес тяжелые потери и постоянно отходил. Но нашу роту щадила судьба. Удары наносились где-то рядом. Немцы продвигались совсем близко. Угрожали по временам нашему флангу и тылу. Мы отходили, но в тяжелых рукопашных боях не участвовали. Отступили на территорию Наро-Фоминского района. Где-то недалеко находилась Каменка.

В один из холодных, ветреных, дождливых дней после обеда связной передал мне приказ явиться к новому комбату. В тускло освещенной землянке военный среднего возраста с усталым, типично русским лицом на мое сообщение о явке по его приказанию сказал:

— Товарищ Васильев! Мне передали, что Вы из аспирантуры пришли в армию, знаете немецкий язык. У нас много документов на немецком языке. Можете в них разобраться?

— Способен был самостоятельно пользоваться немецкой экономической литературой по сбору материалов для диссертации. Военную терминологию почти не знаю. Перевожу медленно, со словарем. Немецкую устную речь понимаю с трудом при медленном темпе разговора. Так что переводчик из меня получится весьма посредственный.

— Вот Вам полевая сумка с документами, снятыми с убитых и отобранными у пленных. Давайте попробуем вместе разобраться. Не имеющие значения бумаги сожжем в печурке. Имеющие значение пошлем в полк или в дивизию. Вначале отберем письма.

Отобрали. Получилась порядочная пачка.

— Знаешь что, Васильев? Давай говорить друг другу «ты». Ведь ты — интеллигент. По уровню знаний ты выше меня. Надо, чтобы мы были как один человек. Вещи надо называть своими именами. В письме немец обругал нас. Надо доподлинно так и сказать, как он обругал. Он — фашист, враг, что от него ожидать? Давай?

— Спасибо, товарищ комбат, за добрые слова и предложение. Обещаю Вам говорить всегда чистую правду как хорошему человеку, доброму начальнику. Постараюсь быть с Вами как один человек. Вы мне говорите «ты», а я Вам буду — «Вы». Так будет лучше для пользы дела. Вы — большой начальник, комбат, я — рядовой солдат. Ни у кого не должно быть ни малейшей мысли о том, что здесь какой-то элемент панибратства допускается. Люди ведь разные. Могут быть и недоброжелатели. Не надо давать им повода.

— Может, ты и прав. Давай поступим по твоему совету. Есть ли смысл переводить все солдатские письма и дневниковые записи? Просмотри их все внимательно. Если в них будут упомянуты немецкие воинские части, их размещение — отложи эти документы. Вместе потом посмотрим. Остальные — сожги.

— Товарищ комбат, здесь два интересных документа. Один — видите, на какой роскошной, бело-коричневатой бумаге. В нем написано: «Именем вооруженных сил обер-лейтенант такой-то награжден Железным крестом третьей степени за дело от 12 октября 1941 года на Восточном фронте». Совсем недавно, и как быстро оформлены документы, и вручена награда. Что будем делать с документом?

— Убит обер-лейтенант. Документ — в печурку.

— Может, сохраним интересный документ?

— Где хранить? В кармане? Зачем? Донесут в особый отдел. Заведут дело. Не развяжешься. В печурку. А второй документ?

— Видите? На папиросной бумаге. Значит, в считанном количестве экземпляров. Точно перевести не могу. Но, видимо, инструкция по зарядке и стрельбе из какого-то оружия. Возможно, из нового?

— Может быть, важный документ! Надо срочно направить вверх. Куда? В полк? В дивизию? Может, в полку переводчик хуже тебя сидит? Как думаешь?

— Наверное, лучше прямо в дивизию. Конечно, разведчики полка могут обидеться. Но ведь для быстроты, для пользы дела надо бы послать в дивизию.



— Пошлем прямо в дивизию. Я сейчас пройду по ротам, а ты оставайся здесь у меня. Разберись в письмах. Отбери, если встретишь, нужное. Когда вернусь, ерунду вместе сожжем. Заслуживающее внимания пустим в дело. Ночевать, наверное, будешь у меня.

Наступали сумерки. За дверью послышалась возня.

— В землянке комбата есть кто-нибудь? — прозвучал вопрос к часовому.

— Есть неизвестный мне солдат, вызванный комбатом.

— Несите сюда! Срочно врача. Вы кто такой? Что делаете? — обратился ко мне запыхавшийся вбежавший военный.

— Рядовой такой-то роты, отделения, взвода. По поручению комбата разбираюсь в захваченных письмах немцев.

— Вы переводчик?

— Нет. Солдат, немного знающий немецкий язык.

— Что-нибудь срочное и нужное нашли?

— Важное, по приказанию комбата, отправили. Из писем немецких солдат и из их дневников важного пока не обнаружено.

— Идите в штаб батальона. Узнайте, что Вам следует делать. Комбат тяжело ранен.

Я сдал документы начальнику штаба батальона и по его приказанию вернулся в свою роту.

Почти совсем смерклось, когда в роту поступил приказ срочно направить два взвода в помощь артиллеристам. Надо срочно помочь им перевезти снаряды и оборудовать огневые рубежи для перемещаемых орудий. В кромешной тьме несколько человек нашего взвода, и я в их числе, нагрузили трехтонную машину артиллерийскими снарядами и по разъезженной, в колдобинах, грунтовой дороге поехали к новому месту размещения батареи. Машина буксовала. Мы выскакивали, помогали ей выбраться из колдобин. Вдруг дорога раздвоилась.

— По какой дороге ехать? Я лягу. Поплотней загороди меня шинелью. Фонариком освещу карту. Ведь здесь где-то недалеко немцы. Нельзя, чтобы огонек засветил. Ударят из пушек, хоть и наугад, а своих не соберешь.

От накрытого шинелью лейтенанта послышалось:

— Надо ехать левой.

Из-за неловко сдернутой шинели сверкнул огонек. Тут же ударили пушки... Одна, другая. Снаряды разрывались недалеко от нас.

— Отъезжай! Быстрее.

Колеса буксовали. Вцепившись в борта машины, мы старались помочь машине выбраться из колдобины. Близкий, сильный разрыв снаряда. Я упал. В то же мгновение машина выскочила из колдобины, и заднее колесо ее переехало полусогнутую мою левую ногу, вдавив коленный сустав в мягкую, размокшую от дождя землю. Соседи подняли меня. Встал на ноги. Почувствовал сильную боль в коленном суставе, но на ногах удержался. Очевидно, кость ноги не была сломана. С трудом довели до медсанбата. Хирург ощупал сильно распухший коленный сустав.

— Чудом уцелела Ваша левая нога. Этому помогло то, что коленный сустав был вдавлен в мягкую, размокшую землю.

Через несколько дней я был доставлен в кузове грузовой автомашины в Подольск. Но там уже не было Передвижного Полевого Госпиталя. На ногу было больно наступать. На коленном суставе появилась сине-багровая опухоль. Особенно по ночам чувствовалась мозжащая боль. В здании, где помещался госпиталь, сказали, что не знают, куда он передислоцировался.

— Куда его девать? — кивок в мою сторону. — Госпиталь-то передислоцировался, а куда — нам еще не сообщили.

— Сдадим его в Подольскую комендатуру. Там должны знать, куда передислоцировался госпиталь. Когда с ним установят связь, больного туда переправят.

В комендатуре долго не хотели меня принимать. Наконец, решили принять и поместить в камеру для задержанных патрульными. Когда меня туда доставили, потребовали, чтобы я сдал карабин и патроны.

Я категорически отказался, так как не считал себя в чем-то виновным. Потребовал политрука. Политрук, внимательно просмотрев мои медицинские документы, сказал:

— Пес с ним. Поместим его вместе с карабином и патронами в камеру для задержанных. Накормим ужином. Завтра разберемся.

На следующий день после завтрака мне сообщили о включении в маршевую роту для отправки на фронт. После моей жалобы с делом разбирался батальонный комиссар Чушин. Меня до приезда машины из госпиталя включили в число дежурных солдат по комендатуре.

Вечером меня направили к приехавшему из госпиталя врачу с одной шпалой. Вместе с ним на машине мы были а ППГ.

— Может быть, Вы согласитесь остаться у нас в госпитале санитаром? Переговорю с главным врачом.

На одном из врачебных обходов, который проводил начальник госпиталя, военврач с тремя шпалами, он сказал:

— Вы можете передвигаться самостоятельно. Нога будет болеть долго. В стационарном госпитальном лечении не нуждаетесь. Но у Вас сильные головные боли, подергивание головы, большая близорукость. Направим Вас на врачебную комиссию, которая будет здесь же, в госпитале, для решения вопроса о дальнейшем лечении и пребывании в Действующей армии.

На врачебной комиссии меня направили прежде всего к главному, очень пожилому врачу с тремя шпалами. Он внимательно и долго смотрел меня и затем обратился к председателю комиссии — главному врачу госпиталя:

— Больной — инвалид по зрению. Сильная близорукость, которая не компенсируется очками с диоптрией — 14. Астигматизм. Косоглазие обоих глаз. Надо увольнять из армии со снятием с военного учета.

— Вы совершенно уверены в своем диагнозе? — спросил начальник госпиталя, председатель.

— Никаких сомнений.

— Тогда пишите свое заключение.

— Так нельзя, — сказал начальник госпиталя, прочитав внимательно заключение. — Надо подробно изложить жалобы. Например, Вы видите мушку на автомате, когда целитесь? — обратился он ко мне.

— Совсем не вижу.

— И в очках не видите?

— И в очках не вижу.

— Так надо и написать в заключении. Перепишите его. Подробнее сформулируйте диагноз. На основании нашего заключения Подольский райвоенкомат выдаст Вам удостоверение об освобождении от воинской обязанности со снятием с военного учета.

На следующий день госпитальная машина привезла меня в Подольский райвоенкомат вместе с заключением врачебной комиссии и сухим пайком.

Молоденький подольский райвоенком, прочитав мои документы, обратился к весьма ушлому писарьку:

— У нас нет его документов. Запросим Ростокинский райвоенкомат города Москвы?

— Зачем? Где мы его поместим? Чем будем кормить? Напишем ему направление в Ростокинский райвоенкомат Москвы. Хоть электрички в Москву не ходят, он на попутном транспорте доберется. Согласны попробовать на попутном транспорте?

— Согласен.

— Так ведь сейчас запрещено выдавать направления в Москву.

— А мы выдадим. Кто станет теперь разбираться?

— Так ведь его могут задержать.

— А это уж его дело. Согласны получить направление в Ростокинский райвоенкомат Москвы?

— Конечно, согласен.

В считанные минуты писарек сочинил направление. Райвоенком подмахнул его.

Я доковылял до шоссе и под мелким осенним, холодным дождичком на пустынном перекрестке шоссе на Москву стал ждать попутного транспорта.

Ждал долго. Промок. Озяб. Начало смеркаться. Вдруг сквозь пелену дождя появились неясные контуры, а затем и четкие очертания мчащейся легковой автомашины ЗИС. Недалеко от меня шофер резко затормозил. Быстро открылась дверца, и высунулась фигура полковника авиации.

— Какая дорога ведет в Москву?

— Правая.

— А Вы что здесь делаете?

— Я из госпиталя. Дожидаюсь попутной машины до Москвы, чтобы явиться в военкомат Ростокинского района.

— Документы!

Внимательно просмотрел документы, затем оглядел меня.

— Садитесь на заднее сиденье рядом с лейтенантом.

Дверца захлопнулась. Машина понеслась. Уже в темноте последовали еще две проверки документов.

В затемненной Москве недалеко от Спасских ворот Кремля полковник сказал лейтенанту и мне, что дальше мы должны следовать по назначению самостоятельно. Так закончилось мое пребывание в Народном ополчении Действующей армии.

После получения документов в райвоенкомате о демобилизации и снятии с военного учета я явился в Кредитно-экономический институт, откуда ушел в армию. По представлению института в ВКВШ меня назначили начальником Межвузовской колонны по эвакуации студентов в Саратов. Только там я смог серьезно полечиться. О труднейшей же поездке студенческой колонны, со множеством пересадок, я рассказал в своих «Записках», которые набросал в 1942 году в Боровске. «Записки» чудом сохранились, и мне хотелось бы, чтобы с ними познакомились читатели. Надеюсь, что читателя заинтересуют и эти «Воспоминания», написанные мною в 1994 году, в канун 50-летия Великой Победы.

Май 1994 / Васильев

Московский митинг

29.06.86 Наша

Губерния



*Автограф П.Г. Васильева на вырезке из газеты, где был помещен снимок однополчан на митинге (фотография А. Володина).*



Мемориал в Волгограде.

Дарственная надпись  
на книге.

Проф. В.Т. Кротков  
«Очерки по денежному  
обращению и кредиту  
иностранных  
государств».

Госфиниздат, М., 1947.

Каждого нашего  
встреча на тысячу  
ми пути Сталин.  
Трагическую Часовню.  
От автора  
В. Кротков



*П.Г. Васильев в Волгограде в 1982 году.*

*«Я хочу знать прошедшее для того, чтобы понять настоящее и читать будущее» П.Г. Васильев.*



---

---

## ПРОЗА

### Тени

Это не были живые люди. Никого из них он не видел, не знал. Но они жили. Когда он закрывал глаза, они становились близкими, даже, пожалуй, родными. Тогда он забывал о том, что с ним теперь. Он жил давно прошедшей жизнью, он был вместе с ними, но — стоял в стороне. И картины жизни проносились перед ним.

Маленький уездный городишко. Центральные улицы, мощенные булыжником, и окраины тонут в густой желтой, глинистой грязи. Серо, зябко, холодно. Город разрезают на две части причудливые извилины реки, над которой склонились мокрые ветви ив. В свинцовой воде не отражаются живописные церковки, домики, холмы. Она течет, грязная и серая, такая же неприветливая, как и серое осеннее небо.

Чуть выше города, ныряя среди окраинных домов его, течет ручей желтой, мутной болотной воды.

Старики рассказывают, что когда-то, очень давно, когда и городишка-то не было, а была маленькая деревушка в глухом сосновом бору, здесь поселился отшельник. Он любил бродить один по лесам и однажды зашел к болотам, что расположились выше городишка и своим дыханием несли сырость, лихорадку, комаров. И вот отшельник, обратясь к стоячей болотной воде, сказал: «Теки же!» — взмахнул посохом по направлению к реке. И ручеек грязной болотной воды пробил себе дорогу и образовал речушку, которая называется «Текижа».

Так говорит седая легенда. А потом люди стали звать речку «Кикижа». Называли ее так почти все обитатели окраин города.

В этот ненастный осенний день по тряской, мощенной булыгой дороге от станции к городу ехал только что окончивший Университет врач. Он смотрел на склоненные над большаком унылые ветви берез с пожелтевшей листвой, на серое, унылое небо и думал. В памяти его проносились последние экзамены, а потом... потом его работа. О ней он уже говорил со своим любимым профессором, и через год-два она, безусловно, будет окончена. И тогда вновь в Москву, в любимый Университет.



## Поездка

В середине рабочего дня военного времени в кабинет заместителя главного инженера военного завода вошел почтальон: «Вам телеграмма. Распишитесь».

«Умоляю, приезжай. Привези сульфидин. Сын вторично болен воспалением легких. Факт болезни заверяет врач... Телеграф заверяет». Его рука чуть-чуть задрожала. Он сказал своему сотруднику: «Я иду к директору».

В кабинете он молча протянул директору телеграмму. Тот прочел ее и вернул. Задумался.

— Что же Вы думаете делать? — спросил он.

— Ехать.

— Но дадут ли Вам пропуск?

— Я сейчас пойду к начальнику милиции и очень прошу Вас позвонить ему и попросить дать мне пропуск.

— Сколько дней Вы предполагаете пробыть там?

— Я думаю, что вся поездка займет дней пять.

— Но как же Ваша работа? Вы должны кончить ее через месяц. Вы понимаете, время военное, и она не может быть отложена. Без Вас ее не смогут закончить.

— Я ее закончу в срок.

— Хорошо, я дам Вам шесть дней.

Начальник милиции через несколько минут принял его.

«Ай, ай, ай! — совершенно равнодушно, как показалось инженеру, сказал он. — Какой случай, какой случай! Но выдать Вам пропуск не могу. — Вам хотел позвонить директор завода. — Он не звонил. — Но поймите, что мальчик, возможно, умирает. Ему нужен сульфидин. Если бы не крайность, я бы не просил Вас. — Нет, не могу. Не могу. Раньше мы давали пропуска только самым близким родственникам. А кем Вам доводится этот мальчик? — спросил

начальник, уже, казалось, позабыв или не вникнув в содержание телеграммы. — Это мой сын. — Наступило молчание. — Нет, не могу. Теперь не могу. Вы понимаете, выдача пропусков запрещена даже самым близким родственникам. И знаете, почему? — И вопросительно посмотрел на инженера, поправляя портупею. — Потому что при задержках телеграмм, которые бывают в военное время, и при нерегулярном движении поездов и переполненности их помощь приходит слишком поздно.

— Но я через сутки буду уже там.

— Куда Ваша жена эвакуирована?

— В Куйбышевскую область.

— Ну вот, видите! Не могу. Теперь Куйбышевская область — столичная.

— Но наша область тоже столичная — Московская, и у меня постоянный пропуск в Москву.

— Москва — близко, а Куйбышевская область — далеко. — И начальник нетерпеливо начал поправлять портупею.

Николаев вновь пошел к директору.

«Хорошо, я позвоню», — сказал директор. Через несколько минут инженера позвали в кабинет директора. «Начальник милиции ответил мне, что не может дать Вам пропуск», — сказал директор, и Николаеву показалось, что директор даже как будто немного рад, что ему, заместителю главного инженера завода, не нужно ехать, и он будет продолжать работать. Чувство неприязни шевельнулось у инженера, ему стало как-то горько и обидно. Неестественно резко он сказал: «Хорошо. Тогда я иду к начальнику НКВД».

По дороге он думал: «Неужели у вас, у начальника милиции, у директора, не было ребят! Неужели вы никогда не переживали тягостных, мучительно длинных минут, проведенных у постели больного ребенка? Неужели, глядя на маленькое, раскрасневшееся личико, на размазавшиеся горячие ручонки, у Вас не сжималось сердце, не приходило на мысль: «Лучше бы мне болеть». И ему чудилось, что сквозь удаляющийся шум заводских станков, сквозь уличный шум он слышит хриплое дыхание своего мальчика. «Но, может быть, я не прав. Ведь я должен работать для фронта, ведь...»

И он вспомнил поле, мокрую зеленую траву, скользкие кочки, мокрые шинели, промозглый, сырой и прони-

зывающий ветер. Они, солдаты, долго лежали, они продрогли. В их окопах накапливалась желтая вода, и они ее вычерпывали своими касками. Над головой проносились мины и совсем близко рвались. Он помнил, как они ползли. Как... Он помнил, как упал его друг, как он поднял и понес товарища, как по его рукам текла липкая, теплая кровь, как...

И вот после фронта, куда ушел добровольцем, из госпиталя он снова вернулся на завод. Работа... Она почти всего захватила его. Он думал о ней, когда просыпался утром, когда усталый приходил и ложился в постель. И засыпал с мыслью о ней. А теперь... Теперь он уже не мог ни о чем думать, кроме поездки. Щеки его горели, и он чувствовал удары своего сердца.

У дверей НКВД стоял часовой. Инженеру дали пропуск к начальнику. Он поднялся на второй этаж. Другой часовой сказал ему, что начальник занят.

Спускались сумерки. В приемной стоял полумрак. «Неужели опять дурит электростанция, и в городе нет света?» — пронеслось в голове инженера. К нему подошел часовой: «Начальник освобожден».

В громадном кабинете был полумрак. За большим письменным столом сидел маленький рябой человек. Инженер вспомнил последнюю встречу с ним, когда он рассказывал этому человеку о своей работе, которая теперь уже почти закончена. Он взглянул на усталое лицо человека, пристально посмотревшего на него, и у него появилась надежда.

— Что случилось? — спросил начальник.

Инженер молча подал телеграмму и ходатайство завода о выдаче пропуска. Начальник НКВД взял их, подошел к самому окну, чтобы можно было разобрать, что там написано, внимательно прочитал и сказал:

— Так Вы не сюда попали. Вам надо к начальнику милиции.

— Я был у него.

— Ну и что же он?

— Отказался дать пропуск.

— Почему?

— Он сказал, что не имеет права.

— Почему не имеет права? Тут что-то не так.

— Вы позвоните ему и поговорите с ним.

Начальник снял трубку. «Товарищ Симонов, у тебя был инженер Николаев? Почему ты отказал ему в выдаче

пропуска? Так. Я этого не знал. Так. Ну, знаешь, мы ведь все-таки должны разбираться, кому мы даем. Знаешь, давай мы ему дадим пропуск. Так. Давай дадим».

— Видите, он говорит, что недавно был в Москве, и ему указали, что на поездки по личным вопросам пропусков на дальние расстояния выдавать нельзя. Но я думаю, что мы можем сделать исключение. На сколько дней дать Вам пропуск? На пять дней?

— Я думаю, что этого будет мало.

— Я дам Вам пропуск на семь суток.

На бланке телеграммы появилась подпись красными чернилами: «Выдать пропуск на 7 суток».

Инженер крепко пожал руку начальника.

Вот он снова на улице. Машинально зашел на квартиру за рюкзаком. И — снова в пути. Идет быстро, не обращая внимания на встречных прохожих. Он, кажется, кого-то толкнул и даже не извинился. Если бы у него спросили, о чем он думает, он не сумел бы ответить. Всем своим существом он был в движении. Он старался скорее добраться до станции, а там была ленточка дороги — длинная, длинная. В конце этой ленточки был маленький домишко. Там был мальчик. Николаев видел только эту точку и ближайшую станцию, где надо было взять билет, а остальной путь представлялся какой-то ровной линией. Даже тогда, когда он получал билет и ждал поезда, ему казалось, что он движется. Он нервно прохаживался по перрону.

Москва. Главная забота: достать сульфидин. Потом пересадка на поезд на другом вокзале. Вагон почти целиком полон военными, которые возвращаются с фронта, из госпиталя, перебрасываются в другую часть. Вновь повеяло таким знакомым фронтом. Большинство военных ждут встречи со своей семьей, которую так давно никто из них не видел. Они оживленно переговариваются между собой.

Николаев забился в угол и не принимает участия в беседе. Иногда он выходит из состояния оцепенения и начинает машинально следить за разговором соседей.

— Вы думаете, что теперь на фронте такая же обстановка, как в 1941 году? — говорил толстый подполковник, обращаясь к своему соседу-капитану, который имел ранение в позвоночник и почти восемь месяцев пролежал в госпитале. Сейчас он с большим вниманием слушает подполковника. — Прежде всего мы теперь хорошо организовались и с фрицами познакомились. Вначале они казались

красноармейцам какими-то загадочными и потому страшными, а теперь мы знаем, что фрица можно бить, да еще и очень здорово. Насмотрелись мы на всякие гадости, на жестокость и коварство их, и наши бойцы стали прямо-таки лютыми. После тех издевательств над мирным населением, которые пришлось видеть, у нас не осталось чувства жалости. Случалось и так... Можно живьем немца взять, а боец возьмет его и пристрелит. А потом... наши хозяйственные дела. Теперь каждая часть своим хозяйством обзавелась. Вот в нашем полку и коровы были, и автомашины, и тракторы. И все это трофейное. Правда, такое имущество нам иметь не полагается. Но у нас командир полка — молодец. Он как захватит трофеи, так сейчас же осмотрит их и прикажет о некоторых в дивизию не сообщать. Ну, там и не знают. Только как-то приехал начальник штаба дивизии и видит: у нас три прекрасных тягача-трактора. «Это что у вас такое? — спрашивает он у командира полка. — Сейчас же передать в дивизию». Ну что же, пришлось передать. Так мы теперь умнее стали, стараемся куда-нибудь подальше свое имущество припрятать.

Колеса стучали. Разговор становился вялым, и инженер задремал.

Утром выяснилось, что поезд опаздывает на добрых четыре часа. К вечеру он опаздывал уже на шесть часов. Вместо того чтобы приехать на станцию вечером, Николаев попал туда только глубокой ночью.

Когда он вышел из вагона, ему в лицо пахнул резкий, пронзительный ветер, который так и ожег его. Светила яркая полная луна. Звезды поэтому казались какими-то тусклыми. Порывы ветра несли мелкие крупки поземки. Дорога была полузаметена. Николаев был здесь второй раз и плохо помнил дорогу. Он был в пальто и шапке. Но сильный ветер при двадцатипятиградусном морозе был страшным, тем более что надо было идти двадцать шесть километров. Дорога лежала большей частью по голой степи и кое-где лишь ныряла в холмах и перелесках.

Сбиться с дороги он не боялся: вдоль нее шла телеграфная линия, и, если не выпускать из вида телеграфных столбов, можно было не заблудиться.

И он решил идти. Достал из своего дорожного мешка полотенце и два носовых платка. Полотенцем обвязал себе щеки, подбородок, а носовыми платками — руки под рукавицами. И пошел.

Как только он вышел за околицу, где дорога повернула, ветер, дувший справа, ударил в упор. Здесь его не задерживали постройки. Порывы усилились, и лицо немилосердно жгло. На очках образовалась ледяная корка, и они начали примерзать к переносице. Пришлось их снять и положить в карман. Лицо нужно было все время тереть, и оно начало болеть еще сильнее. Полотенце покрылось ледяной коркой и прилипало к шапке и воротнику пальто.

Он шел бодро. Правда, ремни рюкзака резали плечи, и болело лицо, но было не очень холодно. Но, когда он прошел пятнадцать километров, почувствовал, что силы оставляют его, и он не может идти быстро. Как только он замедлил шаг, руки начали мерзнуть, и порывы ветра, отбрасывая полы пальто, леденили колени и бедра. Пришлось вновь ускорить шаг. Когда он прошел двадцать километров, почувствовал озноб не только в груди, но даже и под вещевую сумку забегали волны холода. Но он все шел и шел вперед. В одном месте, защищенном высоким бугром от порывов ветра, прилег на снег, и его стало клонить ко сну. Озноб усилился. Николаев поднялся и снова пошел.

Показались домики села. Стало тише. С трудом, медленно шел он по улице. Вот и дом. Сквозь плохо задернутую занавеску был виден слабый свет ночника.

Николаев постучал. Ему открыла жена. Она порывисто хотела поцеловать его, но наткнулась на ледяную кору полотенца. «Что это у тебя?» — с испугом спросила она. «Полотенце обледенело, — равнодушно, устало ответил он. — Как сын?»

— Все так же. Он спит.

— Я привез сульфидин.

Он снял рукавицы, и они со стуком упали на пол. Затем он постарался освободиться от шапки и полотенца, но заочевшие пальцы не слушались. Жена помогла ему, но не могла понять, как было завязано полотенце. Вот он разделся, разулся, выпил стопку водки и подошел к сыну.

Мальчик лежал, раскинув ручонки по одеяльцу, и дышал часто, тяжело и порывисто. Отец тихо поцеловал его в горячий лобик. Лег в постель. Но до утра они с женой не спали и все говорили и говорили.

Через несколько дней сыну стало лучше, и Николаев собрался в обратный путь. Он чувствовал себя плохо. Его знобило. Мучил кашель, болели голова и горло. И все-таки



он решил ехать — его ждала работа. Он мог затормозить то, что было так важно: работу завода.

Ему дали тулуп и устроили на лошадь. Но на санях возницы было много поклажи, и всю дорогу пришлось идти пешком. Теперь ветер дул сзади. В громадном овчинном тулупе было тепло, и резкие порывы ветра подгоняли и как бы подталкивали вперед. Было приятно идти даже и там, где ветер наметал на дороге небольшие сугробики снега. И инженер шел молча. Шел и думал. А думал он постоянно. Мысленно он был уже не позади — не там, где остались его выздоравливающий мальчик и жена, — а впереди. Он не думал о дороге, о ветре, о необходимости с боем садиться в переполненный поезд. Он думал о том, о чем думал почти все время — и когда шел на завод, и когда был в столовой, и во время производственного совещания, и тогда, когда усталым приходил домой или ложился спать и засыпал особенно быстро и легко, совершенно незаметно для самого себя. Он обдумывал детали своего проекта и сейчас, мысленно на белой пелене снега писал формулы высшей математики. Они возникали стройными закономерными рядами — то рельефные и ясные, то исчезающие и туманные. Он выписывал и в воздухе причудливые математические формулы.

Несколько раз его выводил из состояния сосредоточенности возница, спрашивая зажигалку, чтобы закурить. Но мысль сейчас же возвращалась в знакомое русло.

Вечерело. Дорога была чуть приметна. Ветер гнал облака, закрывшие луну и звезды. Он то жестко шуршал по снегу, крутя мелкую крупу поземки, то глухо и жалобно шумел в кустарнике, то шелестел редкими уцелевшими листьями на ветвях дуба.

Впереди замелькали огни станции. Инженер снял тулуп, отдал его вознице, поблагодарил. И пошел к станционному зданию. В зале для пассажиров было совершенно темно и так же холодно, как на улице. Печки не топились. «Есть здесь кто-нибудь?» — окликнул он. Никто не отозвался.

Он пошел в кабинет начальника станции. Там было тепло, и горела лампа. Резко и быстро начальник сказал, что два дня тому назад, по телеграмме наркома, поезда на Москву отменены. Один раз в двое суток будет проходить поезд до узловой станции Рузаевка. Поезд этот пройдет завтра днем, если не опоздает.

Николаев отправился к одному из знакомых, адрес которого ему дала жена. Переночевал там. Рано утром пошел на станцию. Его немного знобило. Побаливало горло.

На станции он узнал, что поезд опаздывает и будет только к вечеру. У кассы очереди не было. Инженер встал первым и решил никуда не отходить и ждать. Он должен был во что бы то ни стало уехать на этом поезде.

Скоро он уже не мог думать о своих кривых, по которым двигались детали его механизмов. Какое-то усталое оцепенение и сонливость овладели им. Ноги озябли: валенки были сырыми. Начало темнеть, когда кассир открыл окошечко и выдал несколько билетов. Громадный хвост очереди остался стоять.

В темноте подошел поезд. На штурм вагонов бросились все: и имеющие билеты и безбилетные пассажиры. Николаев с трудом влез в вагон. Все лавочки были заняты. В проходах между ними на полу сидели люди. Было совсем темно. Спотыкаясь о вытянутые ноги и с трудом перелезая через сидящих, инженер, наконец, нашел свободный уголок и уселся на полу. Вдыхая удушливый, мажорочный дым и покачиваясь под монотонный стук колес, задремал.

Ранним утром он проснулся на узловой станции. Началась общая суматошная возня.

Он быстро прошел на станцию и увидел, что она буквально забита пассажирами. Все залы были завалены вещами и заполнены полулежачими и полусидящими людьми в самых разнообразных позах. Между сидящими извивались узенькие коридорчики, в которых с большим трудом могли разойтись двое встречных.

На Москву шел через день один поезд, и попасть на него было почти невозможно. Николаева записали под номером 293, а билетов выдавалось не более десятка. Ждать надо было неделю. Николаева охватил ужас. Он вышел со станции и принялся нервно расхаживать по перрону. Столкнулся с железнодорожником и заговорил с ним. Тот тоже стоял в очереди на московский поезд. Он тоже очень торопился, но... Он был у начальника станции и из разговора с ним сделал вывод, что уехать почти невозможно.

— Я имею право проезда на порожняке. Попытаюсь поехать. Поедете вместе?

— Но ведь я не имею права ездить на порожняке.

— Ну, Вы поедете со мной, и я думаю, что все уладится. Ведь и я имею право проезда только на своей Калининской дороге. Поедемте?

— А что может быть за то, что поедешь на товарникс?

— Год.

— Ну что же, поедемте, — сказал инженер.

— Вечером пойдет пригородный поезд, и мы проедем километров сорок, а потом поедем на товарнике.

Из пригородного поезда они вышли ярким зимним утром. Солнце только что взошло. Снег блестел и был бледно-розовым. Громко скрипели шаги прохожих, и звякали буфера вагонов.

Железнодорожник пошел справляться, когда пойдут поезда на Москву и как они пойдут. Вскоре он вернулся. «Через двадцать минут пойдет порожняк резерва НКПС. Он идет, почти не останавливаясь. Мы поедем на этом поезде».

Действительно, через несколько минут к станции подкатил поезд, состоявший исключительно из пустых открытых платформ.

Надо было сесть так, чтобы не обратить на себя внимания железнодорожников и милиционеров. Два приятеля быстро шагали вдоль состава, прицеливаясь на закрытую тормозами площадку. Но такой не попадалось. Наконец, она показалась, но на ней маячила фигура кондуктора.

— Вот незадача! — сказал железнодорожник.

— Пройдемте еще немного, — отозвался инженер.

Но вот на одной из платформ оказалась перегородка. Моментально приятели погрузили вещи и отошли несколько в сторону. Вещей на платформе было совсем не видно, значит, можно было спокойно ждать свистка кондуктора и с первым же рывком садиться на поезд. Друзья повеселели. Можно было уехать.

Заверещал свисток, лязгнули буфера, и поезд после двух рывков тронулся. Приятели вскочили на платформу, прислонились спинами к передней стенке площадки, а боками друг к другу и стали внимательно всматриваться в фигуры людей, мелькавшие на станции. Только бы не милиционер и не сейчас, а тогда, когда поезд пойдет полным ходом. И действительно, когда их платформа подлетела к стрелкам на станции, появилась фигура милиционера. Он внимательно посмотрел на людей на платформе проносащегося поезда, но не предпринял никаких враждебных действий по отношению к ним.

Состав вылетел в поле. Ветер засвистел в ушах. Заискрился снег справа и слева от полотна, полетели в лицо и стали покалывать резкие броски мелких крупок снега, поднятые ветром и колесами поезда. А солнце, такое яркое, сияло низко на голубом безоблачном небе, и чуть заметные «уши» были видны с двух сторон от него. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук» — монотонно стучали вагоны, потряхивая двух пассажиров. А ветер, будто любопытный, озорной мальчишка, так и старался то отвернуть полу, то пробраться за воротник пальто, то подпустить в рукав тоненькую струйку холода, от которой побегут по спине неприятные мурашки.

Пролетели один разъезд, второй. Паровоз салютовал им отрывистым громким гуденьем и, почти не замедляя хода, несся вперед.

Но скоро все это стало нестерпимо раздражающим. Ноги и руки заостенели. Щеки и нос то и дело приходилось оттирать, потому что они белели и теряли чувствительность. Охота к движению прошла, и хотелось задремать, тесно прижавшись друг к другу. Но они и не думали о том, чтобы слезть и отогреться на какой-нибудь станции. Оба не забывали о том, что нужно возможно скорее попасть туда, где их ждала работа.

Когда поезд остановился на одной станции, где бригада женщин грузила целую гору дров, они с удовольствием соскочили и принялись изо всех сил помогать им грузить. Это их и немного согрело.

Вечерело. В сумерках на одной из станций к ним на платформу вскочил мальчик лет двенадцати-четырнадцати. На нем был тоненький ватный пиджачишко, дырявые валенки и на голове — тоненький вязаный шлем. В руках он держал тощий мешок. Он постоянно шмыгал красным носом. Николаева поразила легкость его одежды. В таком одеянии и осенью замерзнуть можно, а не то что на открытой платформе мчащегося в лютый мороз поезда!

— Мальчик! Ты куда едешь? — спросил инженер.

— В Москву.

— Да как же ты туда доедешь? Ведь ты простудишься!

— Нет. Я уже третий раз зимой еду и... ничего.

— Куда же и откуда ты едешь?

— За хлебом из Москвы в Ковылкино и обратно. В Ковылкино продукты дешевые. Вот я наберу из Москвы разных вещей и еду.

— А кто же тебя пускает ездить за хлебом?

— А кто меня не пустит? Отец на фронте. А мать больная лежит, теперь почти и не встает. Больше родных у меня нет. Вот еще две сестренки и братишка, но они меньше меня. Надо им еды привезти.

— И пропуск тебе милиция дает?

— Нет! Я без пропуска. Зайцем. Залезу под лавочку вагона и сажу. Найдут — выгонят, а я на следующий поезд сяду и доеду. Вот раньше у нас хорошо было, кое-какие вещи были, а теперь плохо. Почти все променял. Сегодня вот шапку свою на муку променял.

— Ведь ты же не доедешь в этом шлемике паршивом — простудишься.

— Ничего, доеду. Вот я станции две проеду, а потом пойду куда-нибудь греться искать. Может быть, станция какая-нибудь теплая попадется.

— Пускают тебя греться?

— Пускают. Я что-нибудь за это делаю: воды принесу, дров напилю. Иной раз и пожалеет кто — хлебом накормит и шей похлебать даст.

Николаев со страхом и жалостью смотрел на этого мальчика. Разговор оборвался.

Железнодорожник достал хлеб. «Дядя! — сказал мальчик. — ты, может, сменяешь мне хлеб на ножик? Смотри, у меня хороший ножик папин остался. Острый! Смотри». Он достал красивый складной нож с несколькими лезвиями. «Хороший нож», — сказал железнодорожник, рассматривая лезвия. — Сколько ты за него хочешь?» — «Сменяю на один хлебец», — сказал мальчик.

Инженер быстро развязал свой рюкзак и протянул мальчику несколько лепешек. «Убери свой нож, мальчуган. Ты его сменяешь в другой раз». Железнодорожник тоже отрезал ломоть и протянул его вместе с ножом мальчику: «Ешь!»

«Спасибо», — поблагодарил мальчик, засовывая красными, «гусиными» ручонками хлеб и лепешки в карманы.

Поезд мчался вперед. Вот он проскочил какой-то полустанок, громко прогудев. Солнце зашло, и на горизонте осталась яркая, багровая полоса, которая постепенно меркла. По снегу побежали синеватые, темные тени. Мороз основательно пробирал. Николаев посмотрел на мальчика. Тот плотно прижался к деревянному щиту и старался поглубже засунуть руки в рукава своего пиджачишка. Его посинелые губы дрожали.

— Тебе пора слезать, мальчуган, — сказал инженер. — Ты совсем замерз.

— На следующей остановке слезу.

Поезд замедлил ход и остановился на небольшом разъезде. Мальчик прыгнул и быстро побежал по направлению к станции. У самой двери вокзала он остановился и помахал рукой.

Скоро они опять поехали. Стало совсем темно. Поезд больше не останавливался. Он с громким свистом проносился мимо станций и полустанков. Два приятеля по несчастью обнялись, прижавшись друг к другу. Накрылись сверху пальто, которое вез инженер.

Через несколько часов, отмахав более сотни километров и имея лишь одну остановку, состав подкатил к станции Сасово. Здесь меняли паровоз. Инженер сказал железнодорожнику: «Вы в осеннем пальто. Идите погрейтесь и узнайте, когда отправится эшелон, а я побуду здесь. Только смотрите, не прозевайте поезд. — Хорошо», — ответил железнодорожник и ушел.

Прошло десять-пятнадцать минут. Николаев заметил, что с двух сторон состава, от хвоста к голове, движется несколько фонариков. «Вероятно, осматривают состав, — подумал он. — Слезу, чтобы здесь не было чего-нибудь подозрительного». Скоро до него стали долетать звуки постукивания молоточка о колеса вагонов. Огоньки то останавливались, то двигались вперед. Один фонарик поднимался, освещал платформы и подножки. Николаев прошел несколько вперед. Когда огоньки поровнялись с платформой, где лежали их вещи, он пошел навстречу, намереваясь пройти к хвосту и там дожидаться, когда осматривающие закончат свое дело, а он сможет вновь забраться на платформу. Но как только он поровнялся со вторым огоньком, тот поднял фонарь и осветил ему лицо.

— Товарищ! Вы откуда?

— Со станции.

— Что Вы здесь делаете?

— Вышел прогуляться и посмотреть, что за поезд пришел и нельзя ли с ним уехать.

— Куда едете?

— В Москву.

— Вы знаете, что по путям ходить не разрешается, да еще так поздно?

— Но ведь я хожу по станции, а не по путям.

— Следуйте за мной, — заявил постовой.

— Почему я должен следовать за Вами? Возьмите мои документы и проверьте их. И Вы увидите, что они в полном порядке.

— Здесь темно. И потом вообще — следуйте за мной.

Инженер Николаев готовился привести еще целый ворох возражений, но блюститель порядка грозно на него посмотрел и, повысив голос, сказал: «А если не пойдете, буду свистеть и звать патруль».

Делать было нечего. Если идти на станцию, вещи могут утащить или они уедут черт знает куда — или одни или вместе с железнодорожником, и тогда ищи их! Если же сказать о том, что на платформе лежат вещи, — значит, можно было подвергнуться большим неприятностям по обвинению в проезде на порожняке. И инженер решился.

— Тогда нам придется захватить наши вещи.

— Какие?

— Которые лежат вот на этой платформе.

— Значит, Вы приехали на этом поезде?

— Мы собирались уехать на этом поезде.

— Кто это «мы»?

— Я и мой товарищ, с которым мы едем.

— Почему же вы едете с товарными вагонами? Разве вы не знаете, что за это год дают?

— Мы имеем право проезда на товарных поездах.

— Ну, берите Ваши вещи.

— Я не могу их взять, потому что их много и они тяжелые.

— Снимайте их с платформы.

Инженер, кряхтя, снял вещи. Взял свой рюкзак и одну вещь железнодорожника, а громадный тюк с добром железнодорожника вместе с чемоданом передал милиционеру. Тот смачно крякнул и, взвалив эту увесистую поклажу себе на плечи, приказал инженеру идти впереди себя. «Не убегу, не убегу», — с иронией сказал Николаев. Они два раза остановились, отдыхая, и, наконец, ввалились в дежурку, впустив туда громадные клубы пара.

Инженер тут же остановился и, сняв обледеневшие очки с заиндеветыми стеклами, начал старательно протирать их, стараясь в то же время ориентироваться близорукими глазами в обстановке дежурки. В это время милиционер, брякнув чемоданами и отдуваясь, с торжеством объявил:

— Вот! С порожняка снял.

— Интересно! — сказал маленький человек с нахмуренными бровями и глубокой вертикальной морщиной над переносицей, одетый в военное. — Товарищ дежурный, начинайте расследование.

— Товарищ начальник! — ответил дежурный. — По старшинству это право принадлежит Вам.

— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, выполняйте Ваши обязанности.

— Нет, товарищ начальник, прошу Вас, начинайте. Раз Вы уже здесь — распоряжайтесь.

— Ваше документы! — обратился к инженеру маленький человек в военном. Инженер предъявил пропуск, паспорт и военный билет.

— Документы в порядке, — промычал начальник. — Почему Вы ехали на порожняке?

— Мы только собирались... Да и разрешение на проезд в товарных поездах у нас есть.

— Предъявите.

— Разрешение у моего товарища.

— А где он?

— Пошел к начальнику станции справляться, когда порожняк пойдет, на который мы сели.

— А в чем одет Ваш товарищ?

Инженер рассказал. «Два человека! Найдите второго и приведите сюда его», — обратился начальник к двум милиционерам. Те лихо козырнули и поспешно вышли.

— Я думаю, что отыскивать моего приятеля не нужно, — заметил инженер. — Он скоро, вероятно, сюда придет.

— Почему Вы думаете, что он придет?

— Потому, что он подойдет к платформе и будет меня искать и уж, конечно, будет справляться в дежурной части милиции, не случилось ли что-нибудь со мной.

— Так. Вы утверждаете, что приехали сюда другим поездом, — продолжал начальник. — А вот приведший Вас постовой утверждает, что Вы приехали на порожняке.

— Постовой ошибается, — возразил инженер. — Сами посудите, возможно ли проехать на открытой платформе двести километров при таком морозе? А у моего приятеля — одна тоненькая железнодорожная шинель.

— Покажите Ваш билет. — Инженер предъявил билет. — Вот видите, на Вашем билете нет компостера стан-



ции Рузаевка. Значит, Вы не могли попасть на пассажирский поезд. Как же Вы доехали?

В это время отворилась дверь, и на пороге появился железнодорожник.

— Вот и мой товарищ, — улыбнулся инженер и продолжал — Николай Петрович! Вот видите, меня задержали, требуют билет на право проезда в товарных поездах и не хотят верить, что мы приехали сюда с теплушкой. Говорят, что мы приехали на порожняке, куда мы с Вами хотели сесть на этой станции. — Все это инженер решил немедленно высказать вслух, чтобы в словах его и железнодорожника не было расхождений.

— Действительно, с какой же теплушкой вы приехали сюда? Я не помню, чтобы за это время приходили сюда какие-нибудь составы с теплушками.

— Предъявите документы на право проезда на товарнике, — обратился начальник к железнодорожнику. Тот немедленно предъявил документы.

— Так! Но ведь Вы знаете, товарищ железнодорожник, что не можете везти такой большой багаж, как у Вас?

— Я был в том месте, где эвакуировано много членов семей с нашей дороги, и мне надавали много посылок. Правда, очень маленьких, но я не мог не взять их с собой. Я могу предъявить письма и документы на каждую из этих посылок. — Железнодорожник вынул из бокового кармана шинели связку писем. — Развязывать вещи? — спросил он после продолжительной паузы.

— Не надо. Гм! Так, значит... Два друга, заместитель главного инженера оборонного завода и ответственный сотрудник Калининской железной дороги, едут зайцами на порожняке. Хорошо, нечего сказать...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку. «Товарищ дежурный! Этих двух товарищей никуда отсюда не выпускать. Я приду через час».

Два друга по несчастью уселись в дальний угол дежурки и начали шепотом разговаривать между собой. «Я как только вернулся к платформе и не нашел ни Вас, ни вещей, — начал железнодорожник, — то я прибежал сюда, подумав, что Вас, вероятно, зацапали. Теперь скверно, если он начнет смотреть мои вещи: у меня порядочно махорки. А у Вас нет права проезда на товарных поездах. Да и к самому начальнику мы угодили. А он по физиономии, кажется, злой. Заметили, какая у него глубокая складка между бровями? — Не думаю, чтобы

он очень к нам придирался, — сказал инженер. — Мне кажется, что даже хорошо, что мы попали к самому начальнику. Обычно из разговора с начальством бывает больше толка, чем когда имеешь дело с другими лицами.

— Ну, это далеко не всегда так бывает.

— Поживем — увидим.

Они долго сидели молча. Разговаривать не хотелось. В дежурке было тепло, и они постепенно стали отогреваться, с удовольствием растирали окоченевшие руки.

Через некоторое время вошел маленький милиционер с красным носом, задержавший Николаева. «Порожняк ваш ушел», — торжественно, расплывшись в улыбке, заявил он. Дежурный из-за стола бросил реплику: «Вы нас благодарить должны, что мы спасли вас от простуды».

Инженер подумал, что они уж давно вышли из того возраста, когда строгая мамаша за него решала, можно ли ему идти гулять и надо ли ему надеть шарфик и какую шапочку. Но он ничего не сказал. Сравнение это живо напомнило ему картины детства, и он погрузился в воспоминания.

Резкий телефонный звонок прервал его мысли. «Я Вас слушаю, товарищ начальник, — сказал в телефонную трубку дежурный. — Так. Так. Хорошо. Так что с теми двумя делать? Отпустить? И протокола составлять не нужно?»

— Товарищи! — сказал он, положив телефонную трубку, — начальник распорядился вас освободить и даже не составлять протокола. Только смотрите. Больше нам не попадайтесь! Тогда уж мы наверняка и протокол составим и в суд дело передадим.

Приятели быстро собрали свои сумочки и вышли из дежурки.

Вокзал был забит пассажирами. Были заняты не только все места у стен, но и посередине зала беспорядочными кучами лежали вещи, и на них полусидели, полулежали самые разнообразные фигуры людей. Между ними были узкие и извилистые проходы. Друзья выбрали себе место у двери — там было холоднее и потому никто не сидел. Прижались друг к другу и устроились так, чтобы чувствовать каждую вещь — иначе можно было оказаться без багажа. Многочисленным воришкам часто удавалось утащить у беззаботных пассажиров узел или мешок целиком, или разрезать упаковку и вытащить содержимое.

Приятели решили остаться на вокзале до утра, немного отдохнуть и пытаться уехать на следующий день. Под утро

они вновь увидели начальника, который с нарядом милиции проверял документы. «А, старые знакомые! — кивнул он головой. — Не пытались опять уехать на порожняке? Ну и хорошо. Часов в двенадцать будет поезд. Попробуйте на нем уехать. Да только энергичней действуйте и уедете. — И, наклонившись к самому уху инженера, сказал: «Вы нахалом лезьте, нахалом! Тогда уедете. Нахалом!» — и, подмигнув, он пошел дальше.

С трудом железнодорожнику удалось закомпостировать билеты. Причем было объявлено, что все, чьи билеты закомпостированы, должны обязательно уехать на этом поезде. Если кто-либо не уедет, билет пропадет, и этот человек лишится права проезда «транзитного пассажира».

Когда подошел поезд, платформа сплошь была покрыта пассажирами. На подножках висели громадные гроздья людей; на эти гроздья пытались прицепиться новые пассажиры. Так были облеплены почти все вагоны со всех сторон.

— Что же делать? — спросил инженер железнодорожника.

— Я ехать на подножке при таком морозе и багаже не могу, — сказал он. — Я остаюсь на станции. — «А я поеду на крыше вагона», — ответил инженер. Он решил, что больше не может ни в каком случае оставаться. Его ждет завод. Он должен вернуться во что бы то ни стало. «Прощайте, Николай Петрович».

Николаев забрался по металлической лесенке на крышу одного из задних вагонов и лег там к вентиляционной трубе. Из нее шел теплый воздух и клубился белым парком. Инженер опасался, что его снимет милиция, но вскоре он заметил, что почти на всех крышах вагонов примостились такие же, как и он, пассажиры. Милиция бездействовала. Ей, вероятно, так надоели пассажиры, забившие станцию, что она была рада отъезду их любым способом.

Инженер вытащил из мешка свое осеннее пальто, накрылся им с головой, свернувшись калачиком и подложив под голову мешок. Лежать было удобно и даже тепло. Но, как только поезд тронулся и свирепые вихри начали срывать пальто, трепать полы, забираться в рукава и за шиворот, стало вновь холодно. Ноги начали коченеть, и незаметно подкралась дремота. Под мерный стук колес инженер забылся.

Проснулся он поздней ночью в Рязани. Поезд был окружен густой цепью милиции, и на многих крышах вагонов уже стояли милиционеры и сгоняли пассажиров. Инже-

нер быстро завязал рюкзак и спустился с крыши вагона. И тут же к нему подскочил милиционер, потребовав следовать за цепь милиции в вокзал. Но, рассмотрев интеллигентную физиономию в очках и в военной шапке, он несколько поубавил решимости.

— Товарищ милиционер! — сказал Николаев. — Я еду несколько станций на крыше вагона с закомпостированным билетом. Не могу войти в вагон, так как проводники меня не пускают. Говорят, мест нет. Вместо того чтобы тащить меня за собой, Вам следовало бы помочь мне сесть на поезд.

— Ну что же. Попробуйте сесть.

Николаев подошел к одной из приоткрытых дверей вагона и встал на подножку. Кондуктор закричал: «Гражданин! В вагоне нет мест!» — Но у меня закомпостирован билет! — Мне какое дело — слезайте! — кричал кондуктор, пытаясь захлопнуть дверь. Обозленный инженер не дал ему закрыть дверь и уже совсем было влез в тамбур, как вдруг из-за спины кондуктора появилась фигура милиционера. «Немедленно сойдите, гражданин, — крикнул он, — вагон переполнен» — и начал выталкивать инженера. Тогда вмешался и милиционер, который стоял на платформе и молча наблюдал борьбу: «Гражданин, Вас же просят сойти!»

Пришлось сойти. Николаев обратился к милиционеру на платформе: «Прикажете мне теперь опять на крышу лезть? — Ждите другого поезда». Инженер плюнул с досады и выругался про себя. «Когда поезд пойдет — вскочу на подножку», — думал он. Сказано — сделано. Когда поезд уже несколько разошелся, Николаев вскочил на подножку, где не было кондуктора. Провисев некоторое время, он начал стучать в дверь, вначале — тихо и с большими паузами. Но постепенно молчание внутри вагона разозлило его, и он начал неистово барабанить в дверь. «Кто там?» — услышал он женский голос и увидел белое пятно сквозь замерзшее вагонное стекло.

— Откройте! Дайте погреться! — крикнул Николаев.

— Куда Вы лезете! Ведь это вагон-ресторан.

— Все равно — пустите! Я очень озяб.

— Вот, садитесь, не знаете куда. А документы у Вас в порядке?

— Конечно!

— И билет есть?

— Конечно, есть!

— Ну, я пойду за ключом, а то Вам долго висеть придется — здесь большой перегон. Только смотрите, если у

Вас нет билета или пропуска, на следующей остановке Вас высадим и оштрафуем!

— Хорошо! — отозвался инженер.

Через несколько минут дверь отперли и инженера впустили в тамбур вагона-ресторана. Он сейчас же почувствовал, что шлепает своими валенками по воде. «Осторожно! — слишком поздно предупредила его открывшая дверь официантка в белом халате. — У нас лопнула водопроводная труба, и вот весь коридор залило. Держитесь правее — там доска лежит».

Пока инженер нащупал ногой доску, валенки его совершенно промокли, и, когда он встал на доску, они смачно шмякали. Он долго выбирал место, куда бы повесить рюкзак, но поблизости не было ни одного крюка.

В вагон официантка категорически отказалась пустить, так как работа закончена: «В буфете ничего нет, и идет уборка».

В чавкающих мокрых валенках инженер в Москве перебрался на другой вокзал. Когда пригородный поезд подкатил к знакомой станции, где виднелись трубы завода, по дыму Николаев определил, что завод работает с полной нагрузкой. Не заходя на квартиру, инженер направился на завод. Когда он там вытащил из мешка свое пальто, из него выпал кусок льда.

— Как и где же Вы ехали? — с испугом на лице спросила увидевшая это сотрудница.

— По-разному. Даже на крыше вагона.

— В такой мороз? Не простудились?

— Кажется, нет. Помогите мне, пожалуйста. Мне нужно переодеть мокрые валенки.

— Где же Вы их намочили в такой мороз?

— В тамбуре вагона из лопнувшей водопроводной трубы.

— Ну и ну!

Так закончилась поездка.

---

---

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

### Служение науке и просвещению. Эскизы прозы. Лирические мемуары.

Жизнь наша — бурное море,  
Труден, но верен наш путь.

*Из стихотворения П.Г. Васильева «Рыбаку»*

В архиве Павла Григорьевича сохранилась запись: «Основа моего воспитания была построена на одном принципе моим отцом: оставить как можно больше пользы после себя... Не придавать большой цены хорошей одежде, обстановке, комфорту... чтобы не отвлекали от жизненной задачи: развернуть свои способности и дать максимум того, что можно дать». К этой многозначительной записи можно присоединить сказанное в 1989 году в «Автобиографии»: «Отец завещал мне неукоснительно следовать девизу семьи Васильевых: «Ни из школы, ни из больницы, ни из тюрьмы, ни с кладбища — ни крошки» («папе пришлось служить в остроге счетоводом» — еще одна поясняющая запись).

«Ни крошки...» — слова отца навсегда стали жизненным принципом честнейшего, благороднейшего человека. Но с какими проявлениями нечестности, хищничества, вероломства пришлось ему столкнуться в жизни, особенно в последние годы. И как это ранило его душу! Всегда и во всем проявлялся его нравственный максимализм.

Целеустремленной, целенаправленной, временами героической была жизнь этого человека, подчиненная самым высоким идеалам служения Отечеству, науке и просвещению. «Автобиография», написанная в восьмидесятые годы, — зеркало деятельности его в самых разных сферах. Творческая одаренность автора имела много граней: аналитический склад ученого, талант педагога, перо вдохновенного летописателя и лирика.

Серьезность в отношении к труду, чувство ответственности за порученное дело проявились уже при прохождении шестнадцатилетним учеником девятого класса Боровской средней школы «с педагогическим уклоном» первой

практики в Теплоогаревском районе Тульской области. Сохранился «Отзыв о работе педпрактиканта Васильева», выданный 2 марта 1931 года и подписанный председателем Сельского Совета С. Проклюшиным: «В школе занимался хорошо, с ребятами обращался негрубо и давал понятные объяснения, не делал пропусков занятий, которые шли в две смены, чего раньше не было. Население работой практиканта довольно и приносит благодарность... просит Васильева закрепиться до конца пятилетки на занимаемой им работе».

О практике во «введенской» школе впечатляюще рассказано автором в очерке, написанном в последние годы. На расстоянии времени была особенно ясно видна присутствующая молодости нетерпимость к невыполнению официальными лицами обещанного. Сколько лирического пафоса в завершающих очерк строках: «Юность, порывистость, быстрая и бескомпромиссная реакция на несправедливость, даже кажущуюся, и красива и очень, очень опасна. Как важно, чтобы отвага, сила, энергия юности были направлены на высокую цель, несли людям добро и правду».

После окончания средней школы — твердое намерение во что бы то ни стало попасть в вуз. А так как для этого нужно было иметь производственный стаж — работа инструментальщиком. Бытовая неустроенность — по натуре скромного, застенчивого человека.

И вот, наконец, осенью 1932 года студент Московского Кредитно-экономического института приступает к занятиям на вечернем отделении. Совмещать работу с учебой в течение года было трудно. Но добросовестность в отношении к своему делу, пунктуальность были чертами, унаследованными от отца, воспитанными с детства.

В сохранившемся удостоверении, выданном «Боровским Уездным Финансовым отделом Заведующему Сметно-кассовым отделом Григорию Григорьевичу Васильеву», говорится, что он «отличался добросовестным и честным исполнением возложенных на него обязанностей, энергией и большой опытностью в деле». А в «Аттестате, выданном Калужским Губфинотделом Заведующему Сметно-кассовым отделом Боровского Уфинотдела Васильеву Григорию Григорьевичу», сказано, что «он проявил себя как честный работник Комиссариата финансов, а посему за отличную и усердную службу выдвинут Героем труда и награжден в день чествования героев... 9 сентября 1923 года».

Столь высокочтимый им отец — уважаемый на службе, начитанный, принципиальный — и мама — чуткая, душевная, глубоко религиозный человек — были безмерно рады тому, что их сын поступил в институт, гордились сыном, хотя видели его лишь изредка, в каникулярное время. Но сына подстерегал страшный удар: в 1934 году он теряет родителей. 23 марта скончалась Мария Павловна, 30 июня — Григорий Григорьевич. «Трагедии» — назовет спустя годы автор главу своих мемуаров об этих скорбных событиях. А дневниковые записи в тетради появятся сразу же.

Когда на человека обрушивается огромное горе, произвольно возникает стремление к уединению, сосредоточенности, часто — молитвенной. У поэтически одаренного человека его эмоциональное состояние произвольно выливается в стихотворные строки: «Зачем я срываю тебя, мой цветок? Я думаю сделать надгробный венок. Ты будешь лежать, увядая, один. «Не рвите, не рвите меня, господин!» — В молчанье прекрасный цветок говорит. Но стебель уж гнется, ломаясь, дрожит... Оборвана жизнь. И прекрасный цветок Лежит на могиле, а желтый песок И солнце безжалостно зноем томят. А темные сосны угрюмо молчат». Так звучит начало стихотворения «Цветок». И далее:

Цветок, умирая, вспомнил о том,  
Как было когда-то прекрасно кругом:  
Над влажной травой ветер летал,  
Цветы, как детей, он с любовью качал.  
Купаясь в солнечных теплых лучах,  
Летал мотылек в этих чудных садах.  
«Прости и летай по цветам, мотылек,  
Уже не увижу тебя я, дружок,  
Простите и вы меня, братья-цветы.  
А я?!» И от зноя увяли листья.

Под стихотворением дата: «27/VII 34 г.» Через несколько дней «30/VII 34 г.» был сделан набросок в прозе «Василий Кузьмич» — о соседе, который потерял жену и не находит себе места от горя. «И высокий седой старик сжался, съежился и стал таким маленьким и жалким. И было в нем одно общее с ребенком — беззащитность. Только ребенок начинал жить, а этот старик... Рыдания подступили ему к горлу, и он отвернулся от меня. Я взял его за руку и, наклонясь, сказал: «Василь Кузьмич! Как можете — боритесь



с печалью, а невоюготу станет — приходите ко мне — вместе горе размыкаем».

Год спустя племянника пригласил в гости Дмитрий Григорьевич Васильев, и под впечатлением поездки в Карсун и «чувства родственной любви» была написана небольшая поэма «Былое». На обратной стороне фотографии того времени, запечатлевшей автора в группе молодежи, запись: «Память о моем пребывании в Карсуне и об одном из самых счастливых периодов в моей жизни (август 1935)» — и далее пояснение: «В центре — Ия Дмитриевна Васильева». Двоюродная сестра, которой посвящены поэтические строки: «Фиалка милая моя...» Автор поэмы мечтает побывать в Карсуне «в дни лета в будущем году». Но этому не суждено было осуществиться. Лишь спустя годы появилось продолжение стихотворных строк: «Тогда не снились дни Лубянки...»

Беда обрушилась на студента четвертого курса. Да, именно так: «Лубянка», Бутырки, Военный трибунал, чудовищное обвинение в контрреволюционном заговоре и прочих нелепостях — позже они были сняты. На фотографии, которую прислали родные из Карсуна, запись: «Получил в день освобождения из Бутырок 15/III 36».

Трогательно рассказано автором мемуаров об участии в его дальнейшей студенческой судьбе заведующей Бюро жалоб Совнаркома Марии Ильиничны Ульяновой, ее принципиальности. Строго пунктуально — о самодисциплине студента-заочника; подготовке и сдаче экзаменов; об ответственном отношении к работе в должности старшего экономиста в Плавске.

Склонность и способность студента к исследовательской работе, отмеченная педагогами, ощущаемая и осознаваемая им самим, привели его в 1940 году в аспирантуру Московского Кредитно-экономического института. Осуществилась еще одна жизненная мечта, которая казалась «почти несбыточной».

Через год — испытание, выпавшее на долю всего народа: Великая Отечественная война. Жизненный и нравственный максимализм человека проявился в том, что освобожденный по состоянию зрения от военной службы, аспирант добровольцем вступает в Народное ополчение Ростокинского района Москвы, которое сливается потом с Действующей армией. Ополченцы оказываются на полях сражений в составе 13-й стрелковой дивизии, затем — 17-й.

Четыре месяца спустя — контузия. Демобилизация (все-таки не из-за травмы ноги, а из-за зрения).

Вести дневниковые записи на фронте было категорически запрещено. Но после возвращения из армии автор без конца обращается к военной теме и в «Записках ополченца», и в «Набросках из записок ополченца», и в «Воспоминаниях». Одна из записей тех лет: «Войны — великие общенародные бедствия — приводят к быстрому росту преступности в каждой воюющей стране, в каждом ее уголке. При длительной войне преступность разлагает армию...»

Работая в 1942 году в Боровске в Отделении Госбанка по финансированию штаба партизанского движения Западного фронта, Павел Григорьевич писал по вечерам, с какими невероятными трудностями и как долго проходила порученная ему эвакуация студентов из Москвы в Саратов. Тетрадь с записями сохранилась. В 1994 году автор внес в текст дополнения: эпизод о беседе в поезде со студенткой, которая оказалась племянницей его научного руководителя Василия Тихоновича Кроткова; воспоминания о волнующей встрече с этим дорогим ему человеком. Когда-то руководитель подарил ему свою книгу «Очерки по денежному обращению и кредиту иностранных государств» (М., 1947) с надписью: «На добрую память о встречах на жизненном пути»<sup>1</sup>.

Жизнь Павла Григорьевича оказалась подчиненной высочайшей цели — служению науке и просвещению в той области, которая была и остается одной из самых актуальных: проблемы экономики. Человека аналитического склада, больше всего его увлекал теоретический аспект проблем. Составленная автором библиография включает более ста названий его работ — исследовательских, научно-популярных, методических. Спектр интересов ученого был широк, но средоточием исследования в течение ряда лет была проблема общегосударственного финансирования

---

<sup>1</sup> *Примечание.* Фрагменты из «Записок» и «Воспоминаний ополченца» — в кн.: *Васильев П.Г.* «Из записок ополченца». М.: «Звонница», 1996. Полностью опубликованы «Записки начальника Межвузовской студенческой колонны (ноябрь 1941 — январь 1942)». М.: «Звонница», 1997. Мемуары *Васильев П.Г.* «Как бабушка Александра, тетушка Клавдия и тетушка Ольга с немцами воевали» — в кн.: «Боровский край в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945». // Боровский краевед. Выпуск 6. (Боровский филиал Калужского областного краеведческого музея. 1995).

нашей страны. Этой теме была посвящена его докторская диссертация.

Доцент кафедры «Международных Финансовых отношений», а затем в течение ряда лет — заведующий кафедрой «Экономики отраслей народного хозяйства», он был одним из организаторов и непременным участником научных конференций. Читаем пригласительный билет на конференцию, где 20 марта 1967 года на секции «Учет, статистика и высшая математика» доцент П.Г. Васильев выступил с докладом: «Определение социалистических общегосударственных финансов». 3 апреля 1970 года на семинаре «Научно-технический прогресс и ленинские принципы управления хозяйством» доклад: «В.И. Ленин и принципы управления хозяйством». 17 марта 1981 года: «Вопросы перспективного и финансового планирования в торговле». Акценты делались ученым всегда на том, что в жизни страны и в науке было наиболее значительным и актуальным.

Глубоко исторически и теоретически мыслящий ученый в процессе чтения курса увлекал своим живым анализом студенческую аудиторию. В разные годы лекции читались в Московском Финансовом институте, в Московском государственном университете, в Заочном Институте советской торговли, в Военной академии. Слово талантливого ученого-педагога звучало в аудиториях разных городов, свидетельство чему — выразительная запись в «Автобиографии»: «В командировках читал публичные и учебные лекции в вузах следующих городов: Саратов, Ярославль, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Белгород, Курск, Орел, Симферополь, Донецк, Вильнюс, Смоленск, Днепропетровск». «Вел занятия с иностранными студентами»; «руководил научной работой студентов и аспирантов».

Склонность к сочинительству и стихотворству проявилась у автора уже в юные годы. Можно с уверенностью сказать, что «писательство» было для него столь же органично, как и исследовательская деятельность. Но своим автобиографическим запискам и стихам он не придавал особенного значения. Писал чаще всего во время каникул, отпуска, последние годы — в больнице: если позволяло самочувствие, час-два проводил в каком-нибудь холле, склонившись над журнальным столиком. Лишь в самое последнее время стал думать о публикации мемуаров. «Очень хо-

чется верить, что эти воспоминания заинтересуют читателя», — писал он в 1994 году в «Предисловии» к «Воспоминаниям ополченца».

Характерный для научных трудов Павла Григорьевича аналитический подход к выявлению закономерностей в развитии общества присущ и его документальной прозе. В освещении любых жизненных ситуаций автор всегда — со своим взглядом на вещи. Философское осмысление явлений человеческой жизни в сочетании с их образным воплощением, найденными для этого неповторимыми красками — стиль его прозы и лирики.

Как появляется внезапно порыв «записать», немедленно зафиксировать увиденное и воображаемое, поэтически воспроизведено в юношеском стихотворении «Случается»: «Случается со мною иногда: Возьмешь перо, засучишь рукава, Подумаешь, о чем же мне писать...» Вдохновение приходит неожиданно. «О чем» «писать» — подсказывается реальной действительностью, ее эмоциональным осмыслением.

... Иду туда, где свежую волною плещет ключ...  
И мнится мне: здесь жизнь текла.  
Когда-то здесь дитя, играя,  
Цветы весенние срывая,  
Росло. А песня удалая  
Неслась навстречу солнцу мая.  
А я один; и лишь воды журчанье  
Ночной нарушило покой.  
И образы опять передо мной.  
И я скорей бегу домой,  
Ищу тетрадь и начинаю...

Как это значительно по смыслу: «И начинаю...», выразительное многоточие.

В небольшом прозаическом наброске «Тени» автор словно бы приоткрывает свою творческую лабораторию, рассказывая, как являются в воображении того, кто назван «он», образы незнакомых ему людей — являются как знакомые и живые: «И картины жизни пронеслись перед ним». Герой повествования — врач. Сначала в рукописи было: «студент», потом слово зачеркнуто. Совершенно очевидно, что это лицо вымышленное. Но в основе того, что наблюдает герой, — увиденное и пережитое автором в его родном городе, рассказана, в частности, «седая легенда» о происхождении названия реки. Реальное и воображае-

мое соединились в единое целое: «Тени» — это как бы эскизы прозы.

Под впечатлением реально пережитого в годы войны на фронте — и в окопах, где солдаты оказывались иногда стоящими в воде, и на железных дорогах, когда невозможно было попасть в вагон, даже имея на руках билет, и приходилось ехать на крыше, — было написано произведение «Поездка». Повествование ведется не от первого лица, как в документальных очерках, — автор рассказывает об «инженере» («заместителе главного инженера военного завода»), который, получив телеграмму жены с просьбой срочно привезти лекарство для сына, совершает эту поездку со множеством злоключений в условиях военного времени. Имя героя не названо. Лишь однажды во время телефонного разговора появляется необходимость назвать его фамилию. А далее опять: «инженер», «инженер»... Что это — конспирация военного времени? Скорее все-таки еще не вполне уверенное в себе перо начинающего прозаика, пишущего не только о том, что происходило с ним самим, хотя в основе — пережитое автором, но и имеющего право на домысел и вымысел (в соответствии с возможной реальностью) — законы художественного творчества.

Написана «Поездка», вероятно, примерно в то же время, что и «Записки начальника Межвузовской студенческой колонны», то есть в 1942 году. Но если «Записки» — документальный жанр, то «Поездка» — это уже художественное произведение. Повесть. Именно таким и в таких обстоятельствах «увидел» автор своего героя. Как и сам автор, это человек интеллектуального склада, недаром так часто повторяется в повести глагол «думать». Когда «инженер» спешит скорее вернуться на завод, потому что его «ждала работа» («он должен вернуться во что бы то ни стало») — читателями воспринимается это не как риторика, а как реальный жизненный порыв человека, ответственного за свой труд, человека долга. Такими были подлинными патриоты-труженики. Таким был и сам автор, всю жизнь бесконечно преданный своему делу.

Перо талантливого прозаика — в документальных очерках и воспоминаниях о событиях, свидетелями которых он был, в исповедальных строках о самом себе. В меткости жизненных наблюдений, пронизательности умозаключений. В мастерстве воспроизведения живой разговорной речи, ее интонации, лексики, особенно — колоритного просторе-

чия. Тонкость стилистических красок в изображении «вихрей» метели или красоты восхода солнца или заката. О чем бы ни писал автор, это всегда «размышляющая» проза. Поэзия мысли — и в прозе и в стихах — писательский почерк П.Г. Васильева.

Всю жизнь душа поэтически воспринимающего мир человека тянулась к искусству стиха. Из поэтов Павел Григорьевич особенно любил М.Ю. Лермонтова. Неторопливо, вдумчиво распевно декламировал он «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»:

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!  
Про тебя нашу песню сложили мы,  
Про твое любимого опричника,  
Да про смелого купца, про Калашникова;  
Мы сложили ее на старинный лад,  
Мы певали ее под гуслирный звон  
И причитывали да присказывали...

Многие лично знавшие Павла Григорьевича слышали его великолепное чтение. Может быть, это было и одно из поэтических произведений, которое в юности готовилось им для чтения на конкурсе.

Почти год продолжались занятия студентов в драматическом кружке, которым руководил замечательный артист Московского Художественного театра Яков Иванович Лакшин. В своих мемуарах Павел Григорьевич очень тепло отзывается об этом человеке. Заметив артистическую одаренность студента, Яков Иванович занимался с ним и индивидуально: репетировали, в частности, «Дары Терека» М.Ю. Лермонтова: «Терек воеет, дик и злобен, Меж утесистых громад, Буре плач его подобен, Слезы брызгами летят. Но, по степи разбегаясь, Он лукавый принял вид И, приветливо ласкаясь, Морю Каспию журчит: «Расступись, о старец-море, дай приют моей волне! Погулял я на просторе, Отдохнуть пора бы мне...»

Декламировал студент и лирику А.К. Толстого. Изобретательно читал сказку П.П.Ершова «Конек-Горбунок». Но на конкурсе исполнялись, вероятно, все-таки произведения М.Ю. Лермонтова. В жюри конкурса были А.П. Зюева, Н.П. Хмелев. После выступления конкурсанта Н.П. Хмелев — художественный руководитель Московского драма-

тического театра имени М.Н. Ермоловой — предложил молодому человеку подготовить роль для театра. Сразу зачислить в труппу театра не могли, так как у приглашенного не было специального актерского образования: приняли бы в штат позже. Но, несмотря на искреннюю увлеченность искусством художественного чтения и театра, Павел Григорьевич не решился на такой шаг. Остался верен призванию исследователя и педагога. Однако школа, пройденная в студии под руководством искусного мастера, очень помогла ему при чтении лекций. Так он сам говорил не однажды. И студенты вузов и слушатели его лекций, с которыми он выступал в разных аудиториях и в разных городах, с благодарностью вспоминали, а коллеги по кафедре уверенно говорили, что лекции читались им не только высоко профессионально, но в какой-то мере и артистично. И рассказчиком он был завораживающим. Многие помнят его вдохновенные импровизации.

Пытливо ищущий истину ученый, блестящий лектор, всю душу вкладывающий в свои писания мемуарист-лирик. Вместе с тем человек со сложным характером. Твердость духа, настойчивость в достижении важных целей, связанных с наукой, педагогикой, службой в Народном ополчении и Действующей армии в годы войны. Столь дорогими ему многие годы пчеловодством и садоводством: о себе он говорил, что «посадил три сада». С другой стороны, в некоторых житейских делах иногда — чрезмерная мягкость характера. К несчастью, этим злоупотребляли недостойные люди.

А друзья любили за душевность, отзывчивость, истинное благородство. «Береги себя и помни, что ты у меня единственный друг», — писал ему в 1978 году его бывший однокурсник Борис Константинович Щуров. Отец же его, Константин Алексеевич Щуров, коллеги которого по кафедре Первого Московского Медицинского института отмечали «особую мягкость» врача и педагога, очень заботливо отнесся к товарищу сына, обнаружив у него гипертоническую болезнь. Поместил в свою клинику, где пациент видел перед собой врача «с внимательными, очень добрыми глазами, тихим, приветливым голосом». «Великие врачи», — многозначительно назвал Павел Григорьевич спустя годы главу своих воспоминаний.

Коллеги Павла Григорьевича по кафедре ценили неординарность личности педагога-ученого. Некоторым он ка-

зался даже несколько загадочным — настолько необычайным было соединение глубочайшего интеллекта с экспансивностью, романтичностью натуры, способностью так непосредственно радоваться жизни в неожиданных ее проявлениях, любоваться красотой природы. Столь органичное для этого человека поэтическое мироощущение естественно выливалось иногда в стихотворные строки. «Я пою про то, как стонет жизни океан...» — излюбленное автором уподобление жизни морю, океану. Но ассоциация жизни и со «стоном». Реальная действительность наносила и раны, посылала тяжелейшие испытания. Сталкивала его и с «очень плохими людьми», как сказал он однажды, сокрушенно опустив голову. «Мародерство» (много раз повторял он это слово) было совершено в его московской квартире вскоре после кончины супруги: сам он находился в это время в больнице. С гневом писал он о «подлом и преступном» в письмах родным, рассказывал коллегам по работе, принимавшим деятельное участие в судьбе оказавшегося беспомощным в горе, больного человека. Бесконечна была его признательность товарищам по кафедре, безгранична — так высокочтимому им лечащему врачу. «Каждый врач, если он действительно настоящий врач, — великий подвижник» — еще одно мудрое изречение автора.

\* \* \*

После потрясений начала девяностых годов, сопровождавшихся болезнями, неоднократной госпитализацией, вынужденным прекращением лекционной работы, в последние годы жизни Павел Григорьевич, казалось, душевно отдохнул, окруженный вниманием и заботой, занимаясь совершенствованием своих исследований и любимым литературным трудом.

Склонившись по обыкновению низко-низко над письменным столом, увлеченно работал он над мемуарами, писал новые главы, дополнял написанное ранее.

Время от времени обращался к поэтическим произведениям М.Ю. Лермонтова: четырехтомное академическое Собрание сочинений стояло рядом. С восхищением отзывался о книге «Тарханская пора» С.А. Андреева-Кривича, талантливого исследователя, писавшего о поэте проникновенно и просто. Вновь и вновь перечитывал главы этой книги.

Несколько раз совершенствовал текст вводной теоретической лекции, адресованной студенческой аудитории.



Общетеоретический аспект проблем сочетался с анализом животрепещущих вопросов экономики последних лет.

Прочитаем начало первой главы «Финансы и финансовая система». «Термин «финансы» происходит от латинского слова *finantio* (*financia*), употреблявшегося в XIII и XIV веках в значении обязательной уплаты и срока уплаты. В XVI веке во Франции этот термин стал широко использоваться в смысле совокупности материальных и денежных ресурсов для удовлетворения нужд государства и различных общественных организаций и предприятий, а затем перешел во многие национальные государства Европы и, наконец, получил распространение на других континентах. Превращение натурального хозяйства в товарно-денежное приводило к превращению финансовых ресурсов преимущественно в денежные. Временное нарушение денежных платежей, возвращение к натуральному обмену и натуральным платежам (в какой-то части) или полностью стало свидетельствовать о подрыве хозяйственной жизни в стране и самих финансов...»

В разделе «Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства», анализируя хозяйственную деятельность нашей страны в 1993 году, ученый-экономист писал о том, что остается жизненно актуальным и в последующие годы. «Должна быть срочно восстановлена научно обоснованная система народнохозяйственного планирования; система сбалансированных, правильно, научно обоснованных и твердо регулируемых государственных цен; четко и аргументированно обоснован баланс денежных доходов и расходов населения; введен научно обоснованный финансовый механизм, обеспечивающий безубыточную работу предприятий».

Перед нами взволнованное обращение ученого к экономистам будущего, к нашим современникам; выстраданное годами исследований убеждение.

Глубина и ясность мысли, четкость аргументации, строгость стиля изложения отличали научные труды П.Г. Васильева. Над тем, что писал, продолжал он думать неустанно: психологический склад настоящего ученого, талантливого человека.

В последнее время нездоровому человеку был предписан строгий режим дня. И такая милая улыбка была на его лице, когда он возвращался после дневной прогулки, столь любимых им философских раздумий. «В конце жизни мне

выпало огромное счастье», — столько раз повторял он эти слова в московском доме, под окнами которого — сад, напротив — лес-сказка: березы, сосны, ели. Самые прекрасные поэтические строки начинают звучать в душе, когда вспоминаешь об этом признании.

Несколько раз, направляясь в поликлинику, проходили мы с Павлом Григорьевичем мимо «Музея-квартиры А.С. Пушкина» на Арбате. Так хотелось, чтобы этот талантливый, живо всем интересовавшийся человек познакомился с экспозицией музея. Но останавливала мысль о том, что после посещения поликлиники все-таки это будет утомительно для нездорового человека. Лучше — отложить, лучше — когда-нибудь в другое время... А Павел Григорьевич всякий раз вспоминал, что в этом здании помещался когда-то Военный трибунал, который судил его. Судил ни за что! За придуманное «недоносительство». Такая нелепость! О нелепейшей и трагичнейшей странице в жизни страны автор рассказал в главах «Хожение по тюрьмам» и «Военный трибунал», над которыми работал в последнее время (в конце одного из разделов дата: «декабрь 1994»). Автор мемуаров считал своим долгом поведать людям о нравственных страданиях безвинно осужденных. «Жизнь приоткрылась мне как необозримо незнакомое море, беспощадно пожирающее людей, калечащее их судьбы и приносящее им нестерпимую боль».

Репрессии тридцатых годов, унесшие и искалечившие множество человеческих жизней, — страшная патология в обществе, задуманном и строившемся в основе своей по принципу социальной справедливости, воспитывавшем в человеке уважительное отношение к труду. Несмотря на каверзы репрессий, тяжелейшие испытания и потери во время Великой Отечественной войны, страна следовала по пути прогресса в развитии экономики и культуры: принцип государственного регулирования был основополагающим и определяющим. Достижения в индустриализации производства, координации деятельности научных учреждений, успехи в сфере образования — среднего и высшего — были общепризнаны. Люди привыкли гордиться своей страной, в духе любви к родине воспитывали подрастающее поколение, хотя и не могли, конечно, не ощущать «каверзы», упущения в чем-то.

С тревогой наблюдая в последние годы за разрушением в стране многих сфер хозяйственной деятельности, смяте-

нием сознания людей, ученый-экономист твердо настаивал на принципе взвешенной оценки происходящего, поисков объективно, научно обоснованных путей выхода из кризиса.

Имея обыкновение профессионально вдумчиво читать газеты (подчеркивая целые абзацы, ставя на полях обращенную к самому себе помету «Сохранить!»), Павел Григорьевич писал в марте 1995 года в отклике на одну из газетных публикаций (предназначавшемся для печати, но оставшемся неопубликованным) принципиально важное для понимания закономерностей исторического процесса. «...Такая огромнейшая страна, как Китайская Народная Республика, успешно идет по пути строительства социализма. Данные о развитии народного хозяйства в этой стране не только сопоставимы с темпами роста самых передовых капиталистических стран, но и превосходят их. Кроме Китая, есть еще несколько стран бывшей и в большей части распавшейся социалистической системы хозяйства, в которых эта система не потерпела крушения. Перестала та или иная группа стран идти по пути строительства социализма и коммунизма — необязательно означает неверность теоретических положений марксизма-ленинизма. Это означает лишь, что отдельные положения устарели, а практическое применение теории дефектно. И теоретические положения марксизма и люди, убежденные в их истинности, сохранились...

Нельзя согласиться с противопоставлением науки и идеологии... прежде всего потому, что эти понятия несопоставимы по своему объему. Наука включает познание живой и неживой природы в целом и учение о человеческом обществе. Идеология же сопоставима лишь с явлениями и процессами, происходящими только в человеческом обществе. Правильнее рассматривать науку о человеческом обществе как определение закономерностей в его истории. Идеология неразрывно связана с механизмом проведения в жизнь интересов класса, группы людей, объединенных в партию, имеющих в своем распоряжении часть государственного аппарата насилия (полицию, армию)...

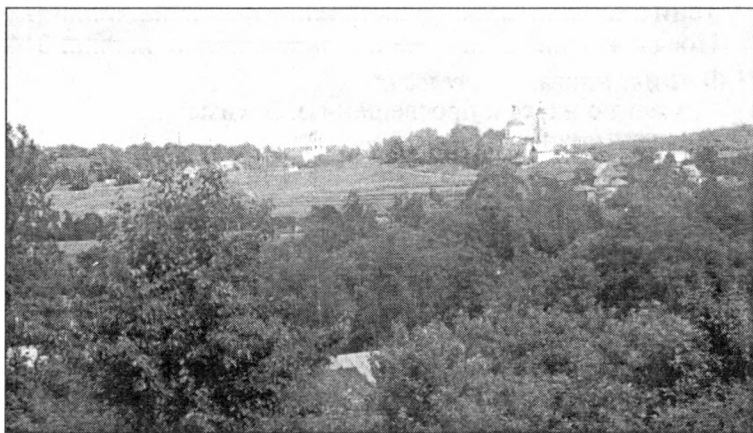
Нельзя отрицать возможность появления новых общественных формаций в развитии человеческого общества, о которых мы не можем иметь представление...»

Последнее теоретическое предположение принципиально важно. Ученый-аналитик думал о будущем — человек, посвятивший свою жизнь служению науке и просветительству, столько души и таланта отдавший людям.

Трагично оборвалась жизнь этого необыкновенного человека 13 мая 1995 года в его родном городе Боровске, куда он так упрямо стремился во что бы то ни стало попасть в День 50-летия Победы. Праздником для него был сам приезд в этот город. Но поездка обернулась трагедией. Пронизывающий насквозь ветер... Коварно подкравшееся воспаление легких. Осложнение на и без того ослабленное сердце. Непредвиденное, роковое стечение обстоятельств и, к несчастью, оказавшаяся роковой — на расстоянии времени кажется ошеломляющей — наша доверчивость к людям в медицинском халате. А ведь сколько раз медики спасали ему жизнь!

Похоронен Павел Григорьевич на старинном боровском кладбище (по его воле, выраженной ранее), рядом с гранитными надгробиями предков и могилами родителей. Справа от входа на «Записное» кладбище, расположенное на холме (оно «охраняется государством», но все еще в запущенном состоянии) — «простор раскинутых полей», как писал когда-то автор в юношеской поэме. За ширью полей, по ту сторону реки Протвы, осененной плакучими ивами, — необъятные боровские дали. Холмы и сосновый бор слева на горизонте. Силуэты церквей. И колокольный звон, доносящийся сюда в праздничные дни даже из Пафнутаева монастыря, о котором автор так прекрасно написал в историческом «Введении».

*Н.Ф. Филиппова*



*Боровские дали.*

## СОДЕРЖАНИЕ

НЕЧТО ИЗ ИСТОРИИ .....	5
I. Родословная отца .....	9
II. Родословная мамы .....	17
III. Служба отца в казначействе и житье в Большом доме .....	35
IV. Жизнь семьи в маленьком доме .....	52
V. Учение .....	72
Первая педагогическая практика .....	81
Переезд в Москву и работа .....	112
Поступление в институт и учеба на первых двух курсах .....	134
Трагедии .....	148
Годы учебы в институте на последних курсах .....	158
Хождение по тюрьмам .....	172
Военный трибунал .....	199
Назначение и поездка в Плавск .....	217
Работа с новым управляющим .....	251
ВОСПОМИНАНИЯ ОПОЛЧЕНЦА .....	279
ПРОЗА .....	312
Тени .....	312
Поездка .....	314
Н.Ф. Филиппова. <i>Послесловие.</i> Служение науке и просвещению. Эскизы прозы. Лирические мемуары .....	333

**Павел Григорьевич Васильев**

**Не сломлены крылья мои**

Редактор  
***Н. Ф. Филиппова***

Художественный редактор  
***Е. А. Ененко***

Дизайн, цветоделение  
и компьютерная верстка  
***А. О. Муравенко***

В заглавие книги процитирована  
строка стихотворения П. Г. Васильева:

*Я хочу, чтоб пришли ко мне вести,  
Что не сломлены крылья мои»*

Изд. лиц. № 071025

Подписано в печать 22.11.2000. Бумага офсетная.

Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл.-печ. л. 18,7.

Тираж 3 000 экз.

Заказ № 2431.

Издательский дом «Звонница».  
101503, Москва, ул. Сущевская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУ ИПП «Курск»  
305007, Курск, ул. Энгельса, 109.

Качество печати соответствует  
качеству представленных заказчиком диапозитивов

---

# **ОДИН ВМЕСТО ДВАДЦАТИ!**

С июля 1999 года вместо журнала  
«Домашняя энциклопедия»  
Издательский дом «Звонница»  
издает журнал

## **«ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС»**

Универсальный журнал-дайджест  
заменит вам два-три десятка  
иных изданий:

сотни оздоровительных, кулинарных,  
косметических рецептов, мода, красота,  
рукотворчество, психологические тесты,  
имидж и этикет, советы юристов,  
проблемы молодой семьи, детство, дом,  
дача, огород, флора и фауна, новинки  
бытовой, компьютерной и автотехники,  
культура России, святцы, месяцеслов,  
тексты песен с нотами, гороскопы,  
кроссворды, сканворды, календари  
и многое другое.

---

---

С 1997 года выходит  
иллюстрированное приложение  
к «ДЭ для вас»

# «ВЕСЕЛЫЙ ЗАТЕЙНИК»

оригинальный красочный журнал  
для детей  
с развивающими играми, шарадами,  
ребусами, загадками, фокусами,  
головоломками, сказками, комиксами,  
потешками, подвижными играми,  
викторинами —  
то есть с тем, что делает  
детство светлым,  
а ребенка умным.

---



**Издательский дом «Звонница»  
приглашает к партнерскому участию  
в совместных изданиях, а также  
в реализации книжной продукции.**

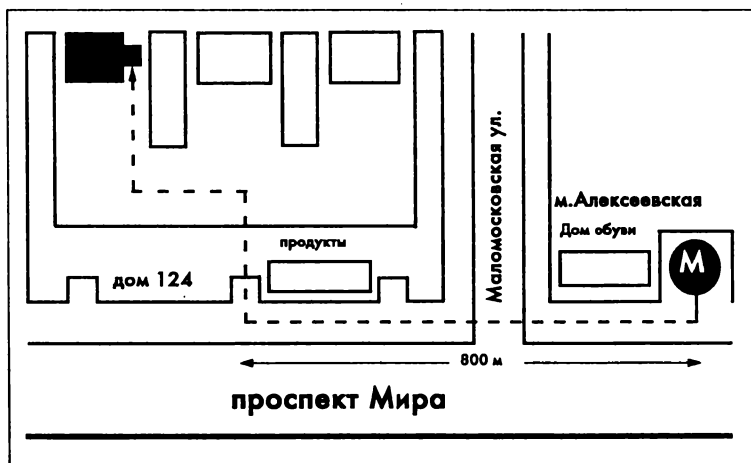
• На складе издательства вы можете приобрести  
оптом и в розницу около 200 наименований книг.

**Адрес склада: Москва, проспект Мира, дом 124,  
корпус 14.**

**Телефон склада: (095) 282-97-54.**

• Компьютерный центр издательского дома  
«Звонница» квалифицировано подготовит оригинал-  
макеты изданий на русском, английском, других  
европейских языках, выполнит весь спектр  
полноцветных работ и сделает вывод на пленки.

Место расположения склада издательского дома  
«Звонница»: корпус 14, подвал (вход с торца).



СССР  
ИМЫ  
КЛАДЫ  
БЕРКАСЫ

ИДУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
**СОЦИАЛИЗМА**

УЛУЧШЕНИЕ  
АГОСОСТОЯНИЯ  
РУДЯЩИХСЯ

КАПИТАЛИСТОВ  
— НА  
ВОЙНЫ



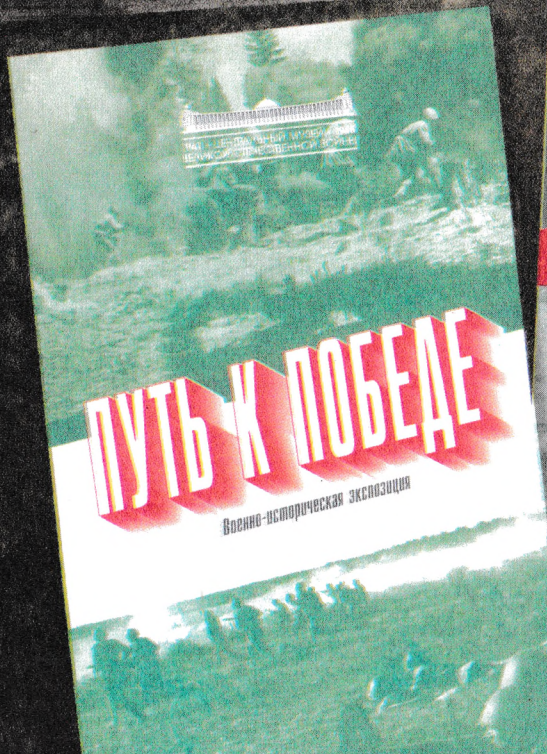
ПОЧТОВЫЕ  
КАРТЫ



*Борис*  
Письмо в адрес, где находится почта, и области для края,  
для станции — назначения железной дороги.  
Город, село или деревня.  
*Московской обл.*  
*Московская ул. д. № 146*  
Улица, № дома и квартиры.  
*Васильеву*  
Подпись и наименование адреса.  
*Тимофеев Тимофеевичу*



ДЕДУШКА ИЗ КАПИТАЛИСТОВ



*Документально выписан в архиве. Так, первоначально название мемориального комплекса "Зубовка" можно было бы назвать "Мемориальный комплекс "Зубовка" Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Таврической улице, посвященный событиям, которые произошли в 1941-1945 гг."*

*14 февраля состоялось и заседание жюри конкурса на лучший вариант названия и авторского оформления. Из предложенных вариантов победила идея "Зубовка". В наше время за победу fought и люди, война выжила и выжила, отстояли свой путь к Победе.*

Новый музей построен на народные средства и призван увековечить память о защитниках Отечества. Под эгидой российского Министерства государственное учреждение здесь организуется и духовных памятников, документальных материалов, связанных со историей мировой войны. При участии научных и общественных организаций, создается информационный центр исследований и документации.

# 1941 1945



**«Хочу, чтоб труд мой вдохновенный  
Когда-нибудь увидел свет»...**

**Строками любимого П.Г. Васильевым поэта М.Ю. Лермонтова можно было бы сказать о желании автора поделиться своими размышлениями с читателями.**

**Известный ученый-экономист, наделенный литературным дарованием и чуткостью в восприятии нравственных проблем, осмысливает происходившее с ним и современниками.**

**Годы учебы, трагедии в жизни семьи и общества, народное ополчение, куда добровольно вступил аспирант**

**Кредитно-экономического института Павел Васильев, Великая Отечественная война, работа инженером военного завода — все это описано в книге «Не сломлены крылья мои».**